

| Серия «Политучеба»

| *Зигмунт БАУМАН*

# **АКТУАЛЬНОСТЬ ХОЛОКОСТА**

| Москва  
Издательство «Европа»  
2010



УДК 316.4.051  
ББК 87.6  
Б 61

**Zygmunt Bauman**  
**Modernity and the Holocaust**  
Copyright © Zygmunt Bauman, 1989  
New material copyright © Zygmunt Bauman, 2000

*Публикуется с разрешения Polity Press Ltd., Cambridge*

Научный редактор – кандидат философских наук, доцент кафедры истории и теории культуры РГГУ А. А. Олейников  
Перевод с английского *Сергея Кастальского* и *Михаила Рудакова*

### **Зигмунт Бауман**

Б 61 Актуальность холокоста. – М.: Издательство «Европа», 2010. – 316 с.

В ряду исследователей Холокоста – уникально страшной трагедии XX века – Зигмунт Бауман занял особое место. Крупнейший социолог Европы, Бауман отказался свести Холокост к «немецкой вине» и «катастрофе евреев», или к (несомненной для него) преступности гитлеризма. Уже одно это вызвало мировой скандал. Бауман вскрывает механику Холокоста внутри самой modernity – нашей современной цивилизации. Холокост, равно как ГУЛАГ и Хиросима, вполне возможен в рамках модернизации. В условиях технократического общества, где средства подменяют ценности и цели, где «эффективные менеджеры» абстрагируются от социальной цены реформ и управленческих действий. Холокост – не история, он актуален и может вернуться в мир в новом образе. Концепция Баумана обосновывает связь между политической теорией и политической этикой.

УДК 316.4.051  
ББК 87.6

ISBN 978-5-9739-0193-6

© Zygmunt Bauman, 1989, 2000  
© Кастальский С., Рудаков М., перевод, 2010  
© Издательство «Европа», издание на русском языке, 2010

*Посвящается Янине и всем остальным, кто выжил,  
чтобы рассказать правду.*

*«Пока я пишу эти строки, высоко цивилизованные человеческие существа пролетают надо мной в небе, пытаются убить меня. Лично ко мне они не испытывают никакой враждебности, равно как и я к ним. Они, как гласит пословица, “просто делают свое дело”. Вне всякого сомнения, большинство из них – добросердечные законопослушные люди, которым в обыденной жизни и в голову не могла бы прийти мысль совершить убийство.*

*С другой стороны, если одному из них удастся разнести меня в клочья удачно сброшенной бомбой, он не лишится сна, поскольку он служит своей стране, которая имеет власть отпустить ему грехи».*

*Джордж Оруэлл  
«Англия, ваша Англия» (1941)*

*«Нет ничего более печального, чем тишина».*

*Лео Бек,  
президент Имперского представительства  
немецких евреев (1933–1943)*

*«В наших интересах, чтобы великий исторический и социальный вопрос, “как такое могло произойти”, сохранил бы весь свой вес, абсолютную обнаженность и всю свою остроту».*

*Гершом Шолем  
Речь против казни Эйхмана*

# ОТ АВТОРА

Написав историю о своей жизни в гетто и подполье, Янина выразила благодарность мне – ее мужу – за то, что я два года мирился с ее затянувшимся отсутствием, ибо пока она писала, она принадлежала тому миру, который «не был его миром», то есть, моим. Это верно. Я пытался спасти себя от того мира ужаса и бесчеловечности, достигшего самых отдаленных уголков Европы. И, как и многие мои современники, я никогда не делал попыток его исследовать после того, как он исчез с лица земли, оставшись, однако, глубоко в памяти и незаживающих шрамах тех, кого он ранил или лишил надежды.

Конечно, я знал о холокосте. И мое представление о нем было таким же, как и у многих людей моего возраста и младшего поколения: чудовищное преступление, когда злодеи ополчились против невинных, и мир разделился на безумных убийц и беспомощных жертв. Многие по возможности пытались помочь жертвам, но в большинстве случаев ничем помочь не могли. Убийцы убивали потому, что были безумны, озлоблены и одержимы отвратительной бесчеловечной идеей. Жертвы брели на бойню, ибо ничего не могли противопоставить сильному и хорошо вооруженному врагу. Остальному миру оставалось только в отчаянии наблюдать: было понятно, что только окончательная победа союзников по антифашистской коалиции положит конец страданиям людей. Зная и понимая это, я все равно видел холокост как некую картину на стене: аккуратно вставленную в раму, чтобы полотно выделялось на фоне обоев и подчеркивало, насколько оно отличается от остальных предметов домашнего обихода.

Прочитав книгу Янины, я задумался: как мало я знал, и насколько неверным было мое представление о том, о чем, каза-

лось, я знаю! Я осознал, что действительно не понимал того, что происходило в «том мире, который не был моим». Ибо произошедшее там нельзя объяснить тем простым и доступным образом, который я по своей наивности считал достаточным. Я понял, что холокост не просто зловец и ужасен. Это событие абсолютно непостижимо в привычных «нормальных» понятиях. Оно зашифровано особым образом, и чтобы понять его, требуется взломать шифр.

Я подумал, что специалисты по истории, социологии и психологии могли бы помочь мне в этом. Я рыскал по библиотечным полкам, на которые прежде никогда не заглядывал, тесно заставленным подробнейшими историческими исследованиями и солидными теологическими трактатами. Я нашел там и несколько превосходных социологических исследований, написанных точно и остро. Свидетельства, собранные историками, поражали объемом и содержанием, глубоким и убедительным анализом. Знакомство с ними развеяло все сомнения в том, что холокост – не картина на стене, а скорее окно в мир. Когда смотришь в это окно, видишь отблеск многих вещей, которых прежде не замечал. И самые важные из них касаются не только преступников, их жертв и свидетелей преступления, а тех, кто живет сегодня и надеется жить завтра. То, что я увидел, не доставило мне никакого удовольствия. Но чем более угнетающим делалось зрелище, тем более я укреплялся во мнении, что не смотреть в это окно означало бы подвергнуться большой опасности.

То, что я не заглядывал в это окно прежде, не отличало меня от моих коллег-социологов. Как и большинство из них, я допускал, что холокост, в лучшем случае, это нечто, в чем должны просвещать нас социальные науки, но он определенно не имеет никакого отношения к нашим текущим заботам. Я полагал (скорее по умолчанию, а не по зрелому размышлению), что холокост – это разрыв в нормальном течении истории, раковое образование на теле цивилизованного общества, кратковременное безумие на фоне общего здоровья. Имея такие взгляды, я легко мог описывать моим ученикам картину нормального, здорового общества, оставляя историю о холокосте профессиональным исследователям патологий.

Мое самодовольство и самодовольство моих коллег-социологов (которое нельзя оправдать) в значительной степени определяется теми способами, какими происходили присвоение и эксплуатация памяти о холокосте. В общественном сознании холокост слишком часто представляется трагедией, которая произошла с евреями, и только с евреями, – поэтому всех прочих призывают к сочувствию, состраданию, быть может, к по-

кажущую, но не более того. Снова и снова евреи и неевреи рассказывают о холокосте как коллективной (и исключительной) собственности евреев, как о чем-то, что остается в ведении тех или ревниво охраняется теми, кто избежал расстрелов и газовых камер, – а также потомками тех, кто не миновал этой участи. В результате обе точки зрения – «взгляд извне» и «взгляд изнутри» – дополняют друг друга. Некоторые из тех, кто присвоил себе право говорить от имени мертвых, доходят до того, что говорят о «краже» холокоста у евреев, о «христианизации» холокоста, о растворении его уникального еврейского характера в обезличенном «гуманизме». Еврейское государство не раз пыталось использовать трагическую память как сертификат своей политической законности, индульгенцию своей прошлой и будущей политики и, помимо всего прочего, как аванс будущей несправедливости, которую может учинить государство. Так каждый в собственных целях укреплял в общественном сознании представление о холокосте как об исключительно еврейском деле, не имеющем почти никакого значения для всех тех (включая сюда и евреев как обычных людей), кто обязан жить в нынешнее время и быть членом современного общества. Насколько рискованно значение холокоста было низведено до уровня частной трагедии и горя одной нации, я понял лишь недавно, и к такому заключению меня подтолкнул один мой вдумчивый и просвещенный приятель. Я пожаловался ему, что так и не сумел найти в социологии свидетельств о важности и всеобщей значимости тех уроков, которые были вынесены из опыта холокоста. «Неудивительно, – заметил мой приятель, – учитывая, сколько евреев подвизаются в социологии».

Речи о холокосте звучат главным образом для самих евреев, когда отмечаются памятные даты, и он преподносится как событие из жизни еврейских общин. Университетами были организованы специальные курсы лекций по истории холокоста, которые читались в отрыве от лекций по общей истории. Многие определяют холокост как специальную тему по еврейской истории. Этой темой занимаются специалисты – профессионалы, регулярно встречающиеся на особых конференциях и симпозиумах. Однако их серьезные работы, производящие столь сильное впечатление, редко вливаются в общий поток учебных курсов и не просачиваются в культурную жизнь всего общества – подобно большинству других специальных тем в нашем мире специалистов и специализаций.

Когда такие работы все же становятся достоянием общности, публика получает их в сильно отредактированном виде. Трагедия приобретает благостную и удобоваримую форму. Находясь на одной волне с устоявшейся мифологией, холо-

кост может легко заставить публику сопереживать настоящей человеческой трагедии, но он вряд ли поколеблет ее самоуспокоенность. Как не поколебала ее американская «мыльная опера» под названием «Холокост», в которой упитанные и отменно воспитанные доктора и их семьи (в точности как ваши соседи по Бруклину), гордые и несломленные, с высоко поднятыми головами шествуют в газовые камеры под присмотром нацистских дегенератов и неотесанных, жаждущих крови славянских крестьян. Давид Дж. Роскис, глубокий и вдумчивый исследователь еврейской реакции на Апокалипсис, отметил, как работает безмолвная и беспощадная машина самоцензуры, когда «голова, склоненные к земле» (строчка из поэзии гетто) в более поздней редакции либретто оказываются заменены на «голова, гордо поднятые и исполненные веры». «Чем больше вымарывается мрачное, – заключает Роскис, – тем сильнее холокост как архетип приобретает свое особое очертание. Погибшие евреи все были праведниками, нацисты и их пособники – абсолютным злом»<sup>1</sup>. Когда Ханна Арендт осмелилась заметить, что жертвы бесчеловечного режима, должно быть, по пути на эшафот тоже растеряли свои человеческие качества, ее едва не проклинали.

Холокост действительно был *еврейской трагедией*. Хотя не одни лишь евреи оказались объектами «особой обработки» нацистского режима (6 миллионов евреев были среди более чем 20 миллионов других людей, уничтоженных по приказу Гитлера) – но одни лишь евреи оказались избраны для полного уничтожения: при «новом порядке», который намеревался установить Гитлер, им места не оставалось. Даже учитывая это, холокост был не просто *еврейской проблемой* и не просто одним из событий одной лишь *еврейской истории*. *Холокост возник и случился в нашем современном обществе, на высшей стадии нашей цивилизации, на пике культурных достижений человечества, и по этой причине это проблема общества, цивилизации и культуры*. Самозаживание исторической памяти, которое происходит в сознании современного общества, по этой самой причине гораздо больше, чем просто оскорбление жертв геноцида. Это еще и знак опасной и самоубийственной слепоты.

Процесс самозаживания, однако, не обязательно означает, что холокост исчезает из памяти. Есть множество признаков, свидетельствующих об обратном. Не считая немногих ревизионистов, отрицающих сам факт этого события (что, пусть и непреднамеренно, только добавляет к холокосту общественного интереса благодаря сенсационным заголовкам, которые провоцируют ревизионисты), чудовищность холокоста и то воздействие, которое он оказал на своих жертв (в особенности на тех,



кто его пережил), начинает все больше привлекать общественное внимание. Темы такого рода становятся почти обязательными – хотя и не всегда ведущими – в качестве сюжетных ходов в кино, романах и телефильмах. И тем не менее, практически нет сомнений в том, что самооживление действительно происходит – за счет двух взаимосвязанных процессов.

Один процесс – это переход истории холокоста в статус особой индустрии, располагающей своими научными институтами, фондами и устраивающей постоянные конференции. Нередкий и хорошо известный эффект разветвления научных дисциплин заключается в том, что новая ветвь специализации, срастаясь с основной, становится малозаметной; выводы и открытия специалистов новой ветви почти не оказывают влияния на главное направление исследований, рано или поздно они переплетаются друг с другом, образуя особый язык и систему образов. Довольно часто такое разветвление означает, что научные интересы, делегированные специальным институтам, пропадают из ядра главной научной дисциплины; они, так сказать, становятся более партикулярными и маргинальными, лишеными практического, если не всегда теоретического, значения; таким образом научный мейнстрим избавляет себя от дальнейшей заботы о них. И мы видим, что в то время, когда объем, глубина и научное качество работ, посвященных холокосту, постоянно возрастают, уровень внимания к нему в рамках изучения общей современной истории не меняется; сейчас становится все легче не заниматься серьезным анализом холокоста, предоставив в свое оправдание длинный список уважаемых научных работ на эту тему.

Другой процесс – это уже отмеченная стерилизация образа холокоста в массовом сознании. Информация о холокосте слишком часто ассоциировалась с мемориальными церемониями и торжественными проповедями, которые эти церемонии предполагают. События такого рода, сколь важными они ни были бы, оставляют мало места для глубокого анализа опыта холокоста, и в особенности – для анализа его наиболее уродливых и тревожных аспектов. Общественное сознание продолжают обслуживать неспециалисты и доступные всем СМИ.

Когда публику призывают задуматься над самыми серьезными вопросами – «Как подобный кошмар стал возможным? Как такое могло случиться в сердце самой цивилизованной части света?», – эти вопросы, как правило, не тревожат сознание и разум. Бесконечные разговоры о вине выдаются за анализ причин; нам говорят, что корни кошмара необходимо искать – и мы находим их там – в одержимости Гитлера, в подбострастии его приспешников, в жестокости его последователей и мо-

ральной коррупции, возвращенной на его идеях; возможно, если мы копнем чуть глубже, говорят нам, корни найдутся в необычных поворотах немецкой истории, в частности, в моральном безразличии обычных немцев – в поведении, которое объяснимо только с точки зрения характерного для них откровенного или скрытого антисемитизма. Затем в большинстве случаев за призывом «попытаться понять, как такое могло случиться», следует долгий перечень разоблачений, касающихся одиозного государства под названием Третий рейх, дьявольской сути нацизма и других аспектов «германского заболевания», которые, как мы понимаем и как нас пытаются заставить понять, указывают на нечто, что «противоречит здравому смыслу нашей планеты»<sup>2</sup>. Также нам говорят, что, как только мы по-настоящему поймем зверства нацизма и их причины, «можно будет если не излечить, то по крайней мере прижечь рану, которую оставил нацизм на теле западной цивилизации»<sup>3</sup>. Одна из возможных интерпретаций (не обязательно подразумеваемых авторами этих исследований) подобных взглядов заключается в том, что, поскольку моральная и материальная ответственность возлагается на Германию, немцев и нацистов, поиски первопричин трагедии можно считать завершенными. И сам холокост, и его причины заключены внутри ограниченного пространства и (теперь уже, к счастью, прошедшего) времени.

Очевидно, что сосредоточенность на «немецкости» преступления как на той его стороне, где должно находиться объяснение этому преступлению, – это одновременно способ оправдания всех остальных, и в частности *всего остального*. Мысль о том, что преступники, повинные в холокосте, были своего рода язвой или болезнью цивилизации – а не ее ужасающим и, тем не менее, законным порождением, – ведет не только к морально комфортному самооправданию, но и к страшной угрозе морального и политического разоружения. Все это случилось «там» – в другое время и в другой стране. Чем больше «виноваты они», тем в большей безопасности «мы» – остальные, тем меньше нам приходится защищать свою безопасность. Когда распределение вины приравнивается к выяснению причин, чистота и здравомыслие образа жизни, которым мы так гордимся, не вызывают никаких сомнений.

В конечном итоге, как это ни парадоксально, память о холокосте ослабевает. То послание, которое несет в себе холокост о нашем сегодняшнем образе жизни – о качестве институтов, на которые мы полагаемся ради своей безопасности, о надежности критериев, по которым мы судим о правомерности нашего поведения и о поступках, воспринимаемых нами как нормальные, – замалчивается, к нему не прислушиваются, оно не дохо-

дит по назначению. О нем спорят специалисты, о нем продолжают говорить на конференциях, но нигде больше о нем не услышишь, оно остается загадкой для посторонних. Холокост еще не вошел (всерьез, во всяком случае) в современное сознание. Но гораздо хуже то, что он так и не оказал влияния на современную практику.

Данное исследование замысливалось как небольшой и скромный вклад в то, что в сложившихся условиях представляется давно назревшей задачей громадной культурной и политической важности; задачей по переводу социологических, психологических и политических уроков холокоста в самосознание и институциональную практику современного общества. Эта работа не предлагает нового описания истории холокоста; в этом отношении она полностью основывается на поразительных достижениях недавних специальных исследований, которые я всеми силами старался привлекать и которым я безгранично обязан. В большей степени данное исследование имеет отношение к пересмотру различных и достаточно важных областей социальных наук (и, возможно, социальных практик), который оказался необходимым с точки зрения процессов, тенденций и скрытого потенциала, обнаруживших себя в ходе холокоста. *Цель данного исследования состоит не в том, чтобы преумножить специальное знание и удобрить почву для некоторых маргинальных занятий, которыми увлечены специалисты в области социальных наук, но в том, чтобы сделать работы специалистов полезными для социальной науки, чтобы продемонстрировать их релевантность главным темам социологического исследования, чтобы установить обратную связь между ними и основным направлением нашей науки и таким образом лишить их сегодняшнего маргинального статуса и открыть для них центральную область социальной теории и социологической практики.*

Глава I представляет собой общий обзор социологических откликов (или скорее ничтожно малого количества таких откликов) на некоторые теоретически значимые и практически животрепещущие проблемы, поднятые в исследованиях холокоста. Некоторые из этих проблем будут проанализированы отдельно и более подробно в последующих главах. Во II и III главах исследуются напряженные состояния, вызванные пограничными тенденциями в новых условиях модернизации, распадом традиционного порядка, укреплением современных национальных государств, связями между некоторыми атрибутами современной цивилизации (роль, которую играет научная риторика в легитимации социально-инженерных амбиций, здесь особенно примечательна), возникновением расистской

формы коллективного антагонизма, сближением расизма и геноцида. Предложив считать холокост характерным явлением современности, которое невозможно понять вне контекста культурных тенденций и технических достижений, в главе IV я пытался осмыслить проблему поистине диалектического сочетания уникальности и заурядности применительно к тому положению, которое холокост занимает среди других современных явлений; я пришел к выводу, что *холокост стал итогом уникального столкновения факторов, которые сами по себе были совершенно банальными и обычными; и что вину за такое столкновение в значительной степени следует возложить на освободившееся от общественного контроля политическое государство с его монополией на средства насилия и его дерзкой инженерией, завершивших демонтаж всех неполитических ресурсов власти и институтов общественного самоуправления.*

В главе V предпринимается неблагодарная и трудоемкая попытка проанализировать одну из тех сторон нашей жизни, о которых мы «предпочитаем не говорить»<sup>4</sup>; речь пойдет о современных механизмах, которые допускают сотрудничество жертв в период их виктимизации с теми, кто, вопреки восхваляемым облагораживающим и воспитательным эффектам цивилизационного процесса, способствует дегуманизирующему распространению принудительной власти. Одно из таких «современных подключений» холокоста, его тесная связь с моделью власти, доведенной до совершенства современной бюрократией, является предметом главы VI, представляющей собой развернутый комментарий к социально-психологическим экспериментам, проведенным Милгрэмом и Зимбардо. В главе VII, выступающей в качестве теоретического синтеза и заключения, рассматривается вопрос о том, какое место занимает тема морали в главенствующих направлениях социальной теории, и выдвигается аргумент в пользу его радикального пересмотра, который потребовал бы большего внимания к открывшимся возможностям манипулирования социальной (физической и духовной) дистанцией.

Несмотря на многообразие тем, я надеюсь, что все главы указывают на одно и то же направление и работают на единый замысел. *Все они являются аргументами в пользу того, чтобы уроки холокоста были усвоены основным течением нашей теории современности (modernity), а также теорией цивилизационного процесса и его последствий.* Все они происходят из убеждения, что опыт холокоста содержит ключевую информацию об обществе, членами которого мы являемся.

Холокост был уникальным столкновением старых противоречий, которые современность не замечала, презирала или не могла разрешить, с мощными инструментами рационального и

## I ОТ АВТОРА

эффективного действия, вызванными к жизни самим современным развитием. Даже если это столкновение было уникальным и потребовало редкой комбинации обстоятельств, факторы, которые сошлись вместе, чтобы оно состоялось, были и продолжают оставаться обычными и «нормальными». После холокоста страшный потенциал этих факторов почти не исследовался. Еще меньше было сделано для того, чтобы парализовать их потенциально чудовищные последствия. Я убежден, что и в том и в другом отношении можно и нужно сделать намного больше.

Работая над этой книгой, я получал полезные, иногда критические советы, за которые я очень благодарен Брайану Чейтту, Шмуэлю Эйзенштадту, Ференцу Фехеру, Агнесс Хеллер, Лукашу Гиршовичу и Виктору Заславскому. Надеюсь, что на этих страницах они обнаружат больше, чем просто случайные следы влияния их идей на меня. Я особо благодарю Энтони Гидденса за внимательное чтение этой книги в процессе ее создания, за его вдумчивые, критические и очень ценные советы. Моя благодарность – Дэвиду Робертсу за его редакторский труд и терпение.

# Глава 1 |

## Социология после холокоста

*«Теперь в материальные  
и духовные ценности цивилизации включены  
лагеря смерти и мусульманство».*

Ричард Рубинштейн и Джон Рот  
«На пути в Освенцим»

Для социологии как теории цивилизации, современности и современной цивилизации существуют два способа преуменьшить, недооценить или сбросить со счетов значение холокоста.

Первый способ – это представить холокост как нечто, что случилось с евреями, как событие в *еврейской* истории. Это делает холокост уникальным, удобно нехарактерным и как бы неуместным для социологического анализа. Самый распространенный пример – представление холокоста как кульминационной точки европейско-христианского антисемитизма. В огромном перечне этнических и религиозных предрассудков и оскорблений это явление не с чем будет сопоставить. Среди других примеров коллективного антагонизма антисемитизм стоит обособленно в силу его беспрецедентной систематичности, идеологической напряженности, наднационального и надтерриториального распространения, в силу сложного взаимопроникновения и взаимодействия подпитывающих его локальных и мировых источников. В той мере, в какой он определяется как, условно говоря, продолжение антисемитизма другими средствами, холокост предстает «штучным товаром», единичным эпизодом, который в состоянии, быть может, пролить некоторый свет на *патологию* общества, где он имел место, однако вряд ли способен добавить какие-то детали к пониманию

*нормального* состояния этого общества. Еще меньше он призывает к сколько-нибудь значительному переосмыслению традиционного понимания исторической тенденции современности, процесса цивилизации, основополагающих тем социологического исследования.

Другой способ – на первый взгляд, он ведет нас в противоположном направлении, но в действительности приводит к тому же результату – представить холокост как экстремальный случай распространенного и привычного для нас социального явления; это явление, безусловно, отвратительное и мерзкое, но, увы, с ним мы можем (и должны) уживаться. Мы должны, потому что это явление устойчиво и повсеместно распространено, но главным образом потому, что современное общество было, есть и будет организацией, созданной, чтобы вновь и вновь сталкиваться с этим явлением и, возможно, в конце концов полностью его искоренить. Понятно, что в данном случае холокост классифицируется как всего лишь один случай (правда, весьма примечательный) в ряду других «подобных» конфликтов, предрассудков или проявлений агрессии. При худшем сценарии холокост объясняют первобытной, перманентно присутствующей в разных культурах «естественной» предрасположенностью человека. У Лоренца эта предрасположенность названа инстинктивной агрессией, у Артура Кёстлера – неспособностью коры головного мозга управлять древними центрами, вызывающими эмоции<sup>1</sup>. Так, будучи досоциальными и невосприимчивыми к культурной манипуляции, факторы, ответственные за холокост, эффективно перемещаются за пределы области социологического интереса. В лучшем случае холокост относится к наиболее страшной и зловещей – хотя все еще теоретически приемлемой – категории геноцида; или же он просто растворяется в обширном и всем хорошо известном классе явлений этнического, культурного или расового угнетения и преследования<sup>2</sup>.

Какой бы из этих двух способов мы ни взяли, эффект, по сути, будет одним и тем же. Холокост будет рассматриваться в русле хорошо известных исторических событий:

Когда холокост рассматривают таким образом в контексте других исторических ужасов (крестовых походов, резни альбигойцев, истребления армян турками и даже концентрационных лагерей, изобретенных британцами во время англо-бурской войны), становится слишком удобно объявить его «уникальным», но, в конечном итоге, нормальным явлением<sup>3</sup>.

Или же холокост сводят к истории гетто, которая насчитывает сотни лет, к узаконенной дискриминации, погромам и пресле-

дованиям евреев в христианской Европе – в этом случае он предстает «уникально ужасным», но тем не менее абсолютно логичным следствием этнической и религиозной ненависти. Так или иначе, но бомба обезвреживается; нашей социальной теории не требуется серьезного пересмотра; наше видение современности, ее скрытого, но хорошо известного всем потенциала, ее исторической тенденции более не нуждается в пристальном внимании, поскольку методы и концепции, имеющиеся у социологии, вполне годятся для «объяснения этого», для «придания этому смысла», а значит, и для его понимания. В результате возникает теоретическая самоуспокоенность. Ведь на самом деле ничего не произошло, чтобы можно было обосновать другой критический подход к модели современного общества, которая играет роль теоретической рамки и прагматического оправдания социологической практики.

До сих пор несогласие с этим благодушным и самодовольным отношением высказывали главным образом историки и теологи. Социологи уделили их высказываниям мало внимания. Если сопоставить грандиозную работу, проделанную историками, число работ христианских и иудейских теологов, с одной стороны, и вклад профессиональных социологов в исследование холокоста – с другой, то последний представляется ничтожным, и им можно легко пренебречь. До сих пор подобные социологические исследования демонстрировали со всей наглядностью, что *холокост может намного больше сказать о состоянии социологии, нежели социология в ее нынешнем виде может добавить к нашему знанию о холокосте*. Этот тревожный факт социологи пока не обнаружили (или не отреагировали на него).

Каким образом социология исследует событие под названием «холокост», очень точно сформулировал один из самых известных представителей профессии Эверетт Ч. Хьюз:

Национал-социалистическое правительство Германии выполнило «грязную работу» колоссального объема в истории евреев. Важнейшими проблемами в данном контексте являются следующие: (1) – что это за люди, которые выполняют такую работу? и (2) – каковы условия, при которых другие «добрые люди» позволяют им делать это? Мы должны лучше знать о том, как они добиваются власти, и о том, как не допускать их к власти<sup>4</sup>.

В лучших традициях социологической практики Хьюз определяет эту проблему как проблему выявления особого сочетания психосоциальных факторов, которые, по-видимому, могли бы быть связаны (в качестве определяющих) с особыми поведен-



ческими наклонностями, которые демонстрировали преступники, выполнявшие «грязную работу». Он также определяет другой набор факторов, которые уменьшают (ожидаемое, но отнюдь не неизбежное) сопротивление таким наклонностям со стороны других индивидов. В результате Хьюз получает некий объем объяснимого и предсказуемого знания, которое в нашем рационально организованном мире, управляемом законами причинности и статистической вероятностью, позволит его носителям препятствовать осуществлению «грязных» тенденций, проявлению их в актуальном поведении и производству вредоносных «грязных» эффектов. Последнюю задачу, по-видимому, можно решить за счет применения той же модели, которая сделала наш мир рационально организованным, легко поддающимся манипуляции и контролю. Что нам необходимо, так это лучшая технология для старой – и отнюдь не дискредитировавшей себя – социальной инженерии.

Среди других заметных социологических вкладов в исследование холокоста – работа Хелен Фейн<sup>5</sup>, которая добросовестно следовала советам Хьюза. Фейн поставила перед собой задачу сформулировать ряд психологических, идеологических и структурных переменных, наиболее точно соответствующих проценту погибших или выживших евреев в разных государственно-национальных образованиях покоренной нацистами Европы. Согласно всем традиционным стандартам, Фейн провела впечатляющее исследование. Она тщательно и точно проиндексировала особенности национальных образований, степень местного антисемитизма, уровни адаптации евреев к чужой культуре и их ассимиляции, следствия межнациональной солидарности, чтобы эти соотношения можно было легко ввести в компьютер и проверить. Некоторые гипотетические связи у нее показаны как несуществующие или по крайней мере как статистически незначимые; некоторые другие закономерности, напротив, получают статистическое подтверждение, как, например, корреляция между отсутствием солидарности и вероятностью того, что «люди освободились от моральных обязательств». Но именно в силу безупречных социологических навыков автора и той компетентности, с которой они были продемонстрированы, книга Фейн непреднамеренно обнаружила слабость классической социологии. Без пересмотра некоторых существенных и не проговоренных положений социологического дискурса нельзя сделать ничего, кроме того, что уже сделала Фейн; представьте себе холокост как уникальный и совершенно предопределенный продукт сцепления социальных и психологических факторов, приведший к приостановке законов цивилизации, которые обычно контролируют человеческое по-

ведение, – с этой точки зрения весь положительный урок, который можно извлечь из истории холокоста, сводится к гуманизирующему, или рационализирующему (эти понятия используются как синонимы), влиянию социальной организации на бесчеловечные побуждения, движущие поведением до- или антисоциальных индивидов. Какие бы моральные инстинкты ни были обнаружены в поведении человека, их производит общество. Если общество прекращает свою работу, они исчезают. «В стихийных условиях – свободных от социального регулирования – люди могут действовать, не боясь навредить другим»<sup>6</sup>. Следовательно, наличие эффективного социального регулирования делает такую опасность маловероятной. Суть социального регулирования – и, следовательно, современной цивилизации, непревзойденной по своим масштабам регулирования, – это наложение моральных ограничений на безудержный эгоизм и животную сущность человека. Пропустив факты, касающиеся холокоста, через жернова методологии, рассматривающей его как предмет научной дисциплины, классическая социология может больше сказать о своих собственных предпосылках, нежели об «обстоятельствах дела»: холокост был ошибкой, а не порождением современности.

В другом известном социологическом исследовании холокоста Нехам Тек попробовала изучить другую сторону социального спектра, а именно – спасателей, то есть людей, которые в мире абсолютного эгоизма не позволяли свершаться «грязным делам» и посвящали свою жизнь спасению других. Иначе говоря, людям, которые оставались моральными в совершенно аморальных условиях. В лучших традициях социологической мудрости Тек очень старалась обнаружить социальные детерминанты того, что в то время, по всем критериям, считалось девиантным поведением. Она поочередно проверила все гипотезы, которые любой уважаемый и квалифицированный социолог непременно включил бы в свой исследовательский проект. Она просчитала на компьютере корреляции между готовностью человека помочь и различными факторами классовой, образовательной, конфессиональной и политической ангажированности только для того, чтобы обнаружить отсутствие между ними всякой связи. Вопреки своим собственным ожиданиям – и ожиданиям своих социологически подкованных читателей – Тек вынуждена была сделать вывод, единственно возможный в данной ситуации: «Эти спасатели поступали естественным для себя образом – они были способны добровольно бороться с ужасами своего времени»<sup>7</sup>. Иными словами, спасатели желали спасать, потому что такова была их природа. Они приходили из совершенно разных углов и секторов «социальной структуры»,

а это значит, что такое понятие, как «социальные детерминанты» морального поведения, не более чем блеф. Во всяком случае, роль этих факторов говорит сама за себя: они не в состоянии объяснить неискоренимое желание спасателей помогать другим в их беде. Тек ближе всех других социологов подошла к открытию, что дело не в том, что «мы, социологи, можем сказать о холокосте», а в том, «что холокост может сказать о нас, социологах, и о нашем занятии».

До тех пор пока необходимость задавать этот вопрос выглядит одновременно самой важной и самой постыдно замалчиваемой частью наследия холокоста, стоит задуматься о его следствиях. Сокрушаться по поводу очевидного банкротства сложившихся социологических представлений было бы слишком просто. Поскольку надежда вместить опыт холокоста в теоретические рамки некоего функционального сбоя (современность неспособна подавлять чуждые ей и в высшей степени иррациональные проявления; цивилизация не в состоянии подавить агрессивные инстинкты; социализация проходит неэффективно и не может производить моральную мотивацию в нужном объеме) потерпела сокрушительное фиаско, легко поддаться искушению и попробовать найти «очевидный» выход из теоретического тупика, объявив холокост «парадигмой» современной цивилизации, ее «естественным», «нормальным» (кто знает, возможно, также и *обычным*) продуктом, ее «исторической тенденцией». В такой версии холокост мог бы приобрести статус *истины* современности (нежели просто содержащейся в ней *возможности*) – то есть истины, которую лишь отчасти скрывают за фасадом идеологии те, кому выгодна эта «большая ложь». В своем извращенном варианте такая точка зрения (более подробно мы рассмотрим ее в четвертой главе), превознося историческую и теоретическую значимость холокоста, может только умалить его важность, поскольку ужасы геноцида, по сути, нельзя будет отличить от множества других страданий, порождаемых современным обществом ежедневно и в изобилии.

## | **Холокост** **как испытание современности**

Несколько лет назад журналист *Le Monde* проинтервьюировал группу людей, которых однажды взяли в заложники. Весьма интересным оказался тот факт, что среди пар, переживших этот ужасный опыт, необычайно высок уровень разводов. Заинтригованный, журналист решил узнать о причинах, заставив-

ших их развестись. И большинство опрошенных заявили, что до того, как оказаться в заложниках, они и не помышляли о разводе. Однако во время кошмарной ситуации «их глаза открылись», и «они увидели своего партнера в новом свете». Обычные добрые мужья «на деле» оказались эгоистами, заботящимися исключительно о собственной безопасности, рискованные бизнесмены вели себя как трусы, а находчивые «светские львы» растерялись и покорно ожидали смерти. Журналист задал себе вопрос: какая из двух ипостасей каждого из этих «двуликих Янусов» была настоящей, а какая – маской? И сделал вывод, что неправильно поставил вопрос: ни одно из этих лиц не было «подлиннее» другого. Оба несли в себе возможности, которые всегда сопровождали этих людей, но только проявлялись в разные времена и при разных обстоятельствах. «Хорошее» лицо казалось привычным только потому, что ему сопутствовали привычные условия. Другое лицо тоже всегда присутствовало, но обычно оставалось невидимым. Однако самый любопытный аспект этого открытия состоял в том, что если бы не состоялось этого похищения, «другое лицо», скорее всего, никогда не проявило себя. Супруги продолжали бы жить в счастливом браке и понятия не имели бы о непривлекательных чертах, которые при внезапной смене декораций вдруг проступили на знакомых и любимых лицах.

Параграф из работы Нехамы Тек, на который мы ссылались выше, заканчивается наблюдением, что «если бы не холокост, большинство этих спасателей, вероятно, шли бы своей дорогой – кто-то бы занимался благотворительностью, кто-то вел простую и скромную жизнь. То были “дремлющие герои”, часто ничем не отличающиеся от окружающих». Один из самых значимых и аргументированных выводов этого исследования говорит о невозможности «разглядеть заранее» приметы, симптомы или знаки, свидетельствующие о готовности личности принести себя в жертву или совершить подлость перед лицом бедствия. Иначе говоря, вне контекста, который заставил их действовать или попросту «пробудил», невозможно делать выводы об их последующем поведении.

Джон Рот также рассматривает сложный вопрос об отношении потенциального и реального (где первое выступает в качестве еще не открытой модальности второго, в то время как второе является уже реализованной – эмпирически допустимой – модальностью первого) непосредственно в связи с нашей проблемой:

Если бы нацисты одержали верх в войне, власть, которая призвана определять, что следует делать, вероятно, обнаружила бы, что никакие естественные законы

не были поправлены, и что никаких преступлений против Бога и человечности не было совершенно во время холокоста. Возможно, возник бы другой вопрос: как быть с рабским трудом? Следует ли продолжать его практику в уже существующем виде, расширять или, напротив, свернуть? На этот счет были бы приняты вполне рациональные решения<sup>8</sup>.

Невыразимый ужас, пронизывающий нашу коллективную память о холокосте (совсем не случайно связанный с огромным нежеланием смотреть этой памяти прямо в лицо), является следствием гнетущего подозрения, что холокост может оказаться не просто аномалией, не просто отклонением от прямого пути прогресса и не просто раковой опухолью на здоровом теле цивилизованного общества. Есть опасение, что холокост не был антитезой современной цивилизации и всему тому, что она (как нам нравится думать) олицетворяет. Мы подозреваем (даже если мы отказываемся согласиться с этим), что холокост мог предъявить нам еще одно «лицо» все того же современного общества, хотя нам намного больше нравится видеть другое, привычное его лицо. Мы подозреваем, что эти два лица совершенно подходят к одному и тому же телу. Но сильнее всего мы боимся, что эти два лица больше не могут существовать друг без друга, как две стороны одной медали.

Часто мы замираем на пороге ужасающей правды. Генри Файнгольд, к примеру, настаивает, что холокост был новым эпизодом в долгой и в целом беспорочной истории современного общества, который невозможно было предсказать, как появление нового злокачественного штамма в уже укрощенном вирусе:

«Окончательное решение еврейского вопроса» отметило пункт, в котором европейская индустриальная система дала сбой: вместо улучшения жизни, к чему стремились со времен Просвещения, система начала пожирать саму себя. Благодаря этой индустриальной системе и свойственному ей этосу Европа могла главенствовать в мире.

Можно подумать, что умения, необходимые для мирового господства, качественно отличались от тех, что потребовались для «окончательного решения». И тем не менее, Файнгольд смотрит правде прямо в глаза:

[Освенцим] был самым обычным продолжением фабричной системы. Только он производил не товары. В качестве сырья выступали люди, а конечным изде-

лием была смерть. Каждый день заводское начальство тщательно проставляло в своих табелях отчет о выполнении производственной нормы. Трубы, этот символ современной заводской системы, выбрасывали едкий дым от сжигаемой человеческой плоти. Прекрасно организованная железнодорожная сеть современной Европы доставляла новый вид сырья на эти заводы. Точно так же, как и другие грузы. В газовых камерах жертвы вдыхали ядовитый газ, который вырабатывали катыши синильной кислоты – их производила передовая химическая промышленность Германии. Инженеры конструировали крематории, менеджеры разработали бюрократическую систему, которая функционировала необычайно эффективно – такому производственному рвению могли бы позавидовать менее развитые страны. Даже генеральный план был отражением современного научного духа, который был направлен на иные цели. То, что мы увидели, было не что иное, как масштабный проект социальной инженерии...<sup>9</sup>

Правда заключается в том, что каждая «составляющая» холокоста – весь этот комплекс вещей и событий, которые сделали его возможным, – была нормальной. «Нормальной» – не в смысле привычной правдой, как еще один пример большого класса явлений, давно и подробно описанных и получивших объяснение (напротив, опыт холокоста был новым и незнакомым), а вполне соотносимой со всем, что мы знаем о нашей цивилизации, о ее передовом духе, ее приоритетах, свойственном ей видении мира и о том, какие существуют способы, чтобы добиваться человеческого счастья параллельно с созданием совершенного общества. Или, как сказали Стиллман и Пфафф:

Между технологией конвейера, уже подразумевающего вселенское материальное изобилие, и технологией концентрационного лагеря, подразумевающего массовые смерти, имеется далеко не случайная связь. Может, мы и хотели бы отрицать эту связь, но Бухенвальд был нашим Западом в той же мере, в какой им была Красная река в Детройте\* – мы не можем отрицать Бухенвальд как случайное умопомрачение западного мира, который в принципе здоров<sup>10</sup>.

---

\* Речь идет о комплексе автомобильных заводов Генри Форда. – Здесь и далее: примечания редактора.

Давайте также вспомним вывод, который сделал в финале своего непревзойденного исследования холокоста Рауль Хильберг: «Структурно машинерия уничтожения ничем не отличалась от организованного немецкого общества. Машинерия уничтожения была организованным сообществом, выполнявшим специфическую роль»<sup>11</sup>.

Ричард Рубинштейн, как мне кажется, сформулировал главный урок холокоста. «Он свидетельствует о *прогрессе цивилизации*», – так он написал. От себя добавим, что это был прогресс в двойном смысле. В период «окончательного решения» промышленный потенциал и технологические ноу-хау, расхваленные нашей цивилизацией, достигли новых высот в решении задачи беспрецедентного масштаба. И во время того же «окончательного решения» наше общество открыло для нас возможности, о которых мы прежде и подозревали. Приученные к уважению и восхищению технической эффективностью и хорошим дизайном, мы должны были признать, что, превознося материальный прогресс, который принесла наша цивилизация, мы просто недооценили его истинный потенциал.

Мир лагерей смерти и общество, которое его порождает, демонстрируют все более сгущающуюся ночную сторону иудео-христианской цивилизации. Цивилизация означает рабство, войны, эксплуатацию и лагеря смерти. Она также означает медицинскую гигиену, возвышенные религиозные идеи, прекрасное искусство и изысканную музыку. Было бы ошибочно представлять, что цивилизация и дикая жестокость совершенно противоположны друг другу... В наше время жестокость, как и большинство других проявлений нашего мира, стала применяться куда более эффективно, чем прежде. Жестокость не исчезнет. Созидание и разрушение – это неразрывные стороны того, что мы называем цивилизацией<sup>12</sup>.

Хильберг – историк, Рубинштейн – теолог. Я старательно искал в работах социологов такие высказывания, выражающие такое же понимание неотложности тех задач, которые поставил перед обществом холокост, искал свидетельство того, что холокост, помимо всего прочего, представляет собой вызов социологии как профессии и составной части академической науки. По сравнению с работами историков и теологов, основная масса академических работ по социологии больше похожа на коллективное упражнение по забвению и отворачиванию глаз. В общем и целом уроки холокоста прошли мимо здравого смысла социологии, который наряду с прочим включает в себя та-

кие положения символа веры, как преимущество рационального контроля над эмоциями, как превосходство рациональности над (чем же еще?) иррациональным поведением или же врожденное противоречие между требованиями эффективности и моральными склонностями, с которыми так безнадежно связаны «личные взаимоотношения». Сколь громко и резко ни звучали бы голоса протеста такой веры, они не проникают сквозь стены социологического истеблишмента.

Я знаю немного случаев, когда социологи – будучи именно социологами – публично обсуждали свидетельство холокоста. Один такой случай (пусть и незначительный) произошел на симпозиуме «Западное общество после холокоста», который проходил в 1978 году в Институте исследования современных социальных проблем<sup>13</sup>. Во время симпозиума Ричард Рубинштейн предпринял оригинальную, хотя, быть может, слишком эмоциональную попытку пересмотреть в свете опыта холокоста некоторые прогнозы Вебера относительно путей развития современного общества. Рубинштейн хотел выяснить, могли ли Вебер и его читатели предвидеть возможность некоторых событий (о которых мы все хорошо знаем, но которые ему, естественно, не могли быть известны), если принимать во внимание то, что он сам понимал и над чем размышлял. Рубинштейн полагал, что нашел положительный ответ на этот вопрос, поскольку в веберовском описании современной бюрократии, духа рациональности, принципов эффективности, научной ментальности, перевода ценностей в пространство субъективности и т. д. не упоминался механизм, который бы исключал возможность нацистских эксцессов; более того, в идеальных типах Вебера не было ничего, что вынуждало бы описывать деятельность нацистского государства как эксцесс. Например, «среди ужасных вещей, совершенных немецкой медициной или немецкими технократами, не было таких, которые оказались бы несовместимы с той точкой зрения, что ценности имеют субъективную природу, а наука является инструментальной деятельностью, безразличной к ценностям». Гюнтер Рот, известный последователь Вебера и авторитетный социолог, не скрывал своего неудовольствия: «Я совершенно не согласен с профессором Рубинштейном. Я не могу согласиться ни с одним из его высказываний». Возмущенный тем, что памяти Вебера было нанесено оскорбление (словно оскорбление содержалось в самой идее «предвидения»), Гюнтер Рот напомнил собравшимся, что Вебер был либералом, любил конституцию и приветствовал избирательные права рабочего класса (видимо, поэтому о нем не стоило бы вспоминать в связи с такой омерзительной вещью, как холокост). Тем не менее Рот воздержался от обсуж-



дения содержания того предположения, которое сделал Рубинштейн. Тем самым он устранился от возможности всерьез поразмыслить над «непредвиденными последствиями» возрастающей роли разума, которую Вебер считал главной отличительной чертой современности и в анализ которой он внес наибольший вклад. Рот не воспользовался возможностью напрямик обратиться к «другой стороне» пронизательных прозрений, оставленных нам классиком социологической традиции. Он не стал выяснять, позволяют ли нам наши скорбные знания, недоступные классикам, находить в их прозрениях вещи, о последствиях которых у них были самые смутные представления.

По всей вероятности, Гюнтер Рот не единственный социолог, вставший на защиту святых истин нашей общей традиции, отвергая противоречащие ей свидетельства. Просто большинству других социологов не приходилось делать этого в столь откровенной манере. По большому счету, нам не нужно беспокоиться о холокосте в нашей повседневной профессиональной практике. Будучи профессионалами, мы научились забывать о нем или откладывать его на дальнюю полку, предназначенную для «узкоспециальных интересов», остающихся вне основного направления нашей дисциплины. Если дело все-таки доходит до обсуждения, холокост в лучшем случае подается как печальный пример того, к чему может привести свойственная человеку агрессивность, а затем используется как предлог, чтобы поговорить об укрощении этой агрессивности посредством расширения цивилизационного процесса и вызвать еще одну серию экспертных решений проблемы. В худшем случае о холокосте вспоминают как о частном еврейском опыте, как о проблеме столкновения евреев и их ненавистников (в «приватизацию» холокоста многие политические деятели Израиля, движимые отнюдь не только эсхатологическими заботами, внесли немалый вклад)<sup>14</sup>.

Эта ситуация представляется тревожной не только и не в первую очередь по профессиональным причинам, сколь пагубно она ни сказывалась бы на познавательных возможностях и общественной значимости социологии. Что делает ситуацию еще более серьезной, так это понимание, что если «это где-то могло произойти в таком чудовищном масштабе, это может произойти снова и где угодно; все это находится в пределах человеческих возможностей и, нравится это кому-то или нет, Освенцим расширяет вселенную сознания не меньше, чем полет на Луну»<sup>15</sup>. Беспокойство по этому поводу вряд ли возможно уменьшить, поскольку не исчезло ни одно из социальных условий, сделавших Освенцим возможным, и никакие эффективные меры, которые предотвратили бы возможность подобных

катастроф, так и не были приняты. Как недавно отметил Лео Купер, «суверенное территориальное государство требует – в качестве неотъемлемой части своего суверенитета – права на геноцид, или проводит геноцид в отношении людей, находящихся под его властью, и... ООН из практических соображений защищает такое право»<sup>16</sup>.

Холокост может сослужить посмертную службу: он может помочь осознать те незаметные «другие стороны» общественного устройства, которые возникли внутри современной истории. Я предлагаю взглянуть на опыт холокоста, который к настоящему времени всесторонне изучен историками, как на своего рода социологическую «лабораторию». Холокост обнажил и освидетельствовал неизвестные признаки нашего общества, бывшие прежде эмпирически недоступными во «внелабораторных» условиях. Иными словами, *я предлагаю исследовать холокост как уникальный и в то же время значимый и весьма надежный тест на скрытые возможности современного общества.*

## Смысл процесса цивилизации

Этиологический миф, глубоко укоренившийся в самосознании западного общества, представляет собой моралистическое повествование о гуманности, возникшей из досоциального варварства. Этот миф сделал популярными несколько влиятельных социологических теорий и исторических нарративов и, в свою очередь, получил от них научную и рафинированную поддержку. Ярким примером этой взаимосвязи является недавний внезапный успех и широкая известность концепции «процесса цивилизации» Норберта Элиаса. Противоположные суждения современных социальных теоретиков (такие, например, как всесторонний исторический и сравнительный анализ различных цивилизационных процессов, как у Майкла Манна, или синтетический и теоретический анализ, как у Энтони Гидденса), в которых отмечается рост военного насилия и неограниченное применение грубой силы как наиболее существенные признаки возникновения и укрепления великих цивилизаций, должны пройти долгий путь, прежде чем они смогут заменить в общественном сознании, или даже в профессиональном фольклоре, этот этиологический миф. Расхожее сознание сопротивляется ниспровержению этого мифа. Более того, на его защиту брошены силы широкой коалиции, располагающей та-

кими авторитетными и мощными ресурсами, как «вигская историография», подающая историю как победоносную борьбу разума с предрассудками; веберовское представление о рационализации как прогрессе, достигаемом с наименьшими потерями; теории психоанализа, обещающие разоблачить, наказать и приручить зверя в человеке; великое пророчество Маркса о том, что жизнь и история окажутся под полным контролем человека, как только он освободится от мелких и низких интересов; картина недавней истории у Элиаса, изображающая то, как насилие уходит из повседневной жизни; и над всем этим звучит стройный хор экспертов, убеждающих нас, что все проблемы человека происходят из плохой политики и что правильная политика покончит с этими проблемами. За всей этой коалицией стоит современное государство, взирающее на общество, которым оно управляет, глазами садовника – как на объект своего планирования, требующий своевременной заботы и профилактики.

С точки зрения этого мифа, давно утвердившегося в качестве здравого смысла нашей эпохи, холокост можно понимать лишь как ошибку цивилизации (т. е. стоящей на службе человека разумной деятельности), стремящейся сдерживать нездоровые естественные склонности, оставленные нам природой. Очевидно, гоббсовский мир не удалось подчинить в полной мере, равно как не удалось решить гоббсовскую проблему. Иначе говоря, нам еще не хватает цивилизации. Незавершенный цивилизационный процесс необходимо довести до конца. Если урок массового убийства нас чему-то и учит, так только тому, что для предотвращения подобных эксцессов варварства требуются еще большие цивилизационные усилия. Этот урок ничуть не заставляет усомниться в будущей эффективности таких усилий и их конечных результатов. Мы определенно движемся в верном направлении; возможно, только движемся недостаточно быстро.

Если полная картина холокоста возникает на основании исторических исследований, то так же происходит и с альтернативной и, возможно, более правдоподобной его интерпретацией в качестве события, которое обнажило слабость и хрупкость человеческой природы (отвращение к убийству, неприязнь к насилию, страх вины и ответственность за аморальное поведение), когда ей пришлось столкнуться с неоспоримой эффективностью самых излюбленных продуктов цивилизации, ее технологии, ее рациональных критериев выбора, ее склонности подчинять мысль и действие экономической прагматике и конечной результативности. Гоббсовский мир холокоста не вышел на поверхность из неглубокой могилы, воскреснув благодаря вы-

плеску иррациональных эмоций. Он прибыл к нам (в столь страшном облике, что сам Гоббс его бы не признал) на заводской машине, оснащенный оружием, какое могли обеспечить ему только передовые ученые, а маршрут ему проложила организация, которая действовала по всем правилам науки. Современная цивилизация не была *достаточным* условием холокоста, однако, вне всякого сомнения, она была его *необходимым* условием. Без нее холокост был бы немислим. Рациональный мир современной цивилизации – вот что сделало холокост возможным. «Нацистские массовые убийства европейского еврейства были не только технологическим достижением промышленного общества, но и организационным достижением бюрократического общества»<sup>17</sup>. Просто представьте себе, что потребовалось для того, чтобы холокост стал уникальным среди множества массовых убийств, которыми отмечено историческое развитие человечества.

Гражданская служба привнесла в другие иерархические инстанции уверенное планирование и бюрократическую основательность. Из армии машина разрушения получила свою военную точность, дисциплину и бессердечие. Влияние промышленности ощущалось на бухгалтерском учете, режиме экономии, сборе трофеев, равно как и на заводской эффективности центров массовых убийств. И, наконец, партия предоставила весь свой аппарат «идеализма», чувство «миссии» и представление об истории, которая творится здесь и сейчас...

Это было действительно организованное общество, выполняющее одну из своих «особых ролей». И хотя массовые убийства имели беспрецедентный масштаб, весь этот чудовищный бюрократический аппарат заботился о соблюдении бюрократических процедур – из-за любви к точным определениям, из-за любви к деталям бюрократического управления, а также из-за любви к закону<sup>18</sup>.

Отдел в штаб-квартире СС, который занимался уничтожением европейских евреев, официально назывался «Административно-экономическим отделом». Это было ложью лишь отчасти, и только отчасти это название можно объяснить пресловутыми «правилами речи», придуманными для того, чтобы вводить в заблуждение случайных наблюдателей и наименее решительных среди преступников. В определенной степени (достаточно высокой, чтобы не испытывать беспокойства) это название точно отражало истинное предназначение организации. За исключением аморальной мерзости ее целей (или, если

быть точным, морального позора гигантских масштабов), в формальном смысле (а это единственный смысл, который можно выразить на языке бюрократии) ее деятельность не отличалась от другой организованной деятельности, которую выполняли, планировали и контролировали «обычные» административные и экономические отделы. Как и все прочие виды деятельности, поддающиеся бюрократической рационализации, она вполне соответствует предложенному Максом Вебером трезвому описанию современной администрации:

Точность, быстрота, однозначность, знание делопроизводства, непрерывность, осмотрительность, единство, строгая субординация, снижение материальных и персональных затрат – все это доведено до оптимальной точки в строго бюрократической администрации... Бюрократизация, помимо всего прочего, предлагает оптимальные возможности для выполнения задач за счет принципа специализированных административных функций в соответствии с исключительно объективными соображениями... «Объективное» исполнение функций в первую очередь означает исполнение функций в соответствии с калькулируемыми правилами и «безотносительно к личности»<sup>19</sup>.

В этом описании нет ничего, что давало бы основание усматривать в бюрократическом определении холокоста пародию на правду или проявление одной из самых чудовищных форм цинизма.

И все же холокост очень важен для понимания современной бюрократической формы рационализации не только потому, что он напоминает нам (можно подумать, мы нуждаемся в такого рода напоминаниях), насколько формальна и этически слепа бюрократическая гонка за эффективностью. Значение холокоста не будет полностью раскрыто, пока мы не осознаем, до какой степени беспрецедентное по масштабам массовое убийство зависело от наличия высокоразвитых и глубоко укоренившихся умений и привычек к мелочному и точному разделению труда, от бесперебойного потока указаний и информации, от обезличенных, но хорошо скоординированных и автономных действий: короче говоря, от тех умений и привычек, которые растут и процветают в атмосфере офиса. Свет, проливаемый холокостом на наши знания о бюрократической рациональности, может стать ослепительным, когда мы поймем, до какой степени сама идея «окончательного решения» была *порождением бюрократической культуры*.

Мы в долгу перед Карлом Шленером<sup>20</sup>, сформулировавшим концепцию извилистой дороги физического уничтожения ев-

ропейского еврейства – дороги, которая не родилась в голове какого-то безумного монстра и не возникла в результате продуманного выбора, сделанного на заре «процесса выработки решения» идеологически мотивированными лидерами. Она скорее вырисовывалась постепенно, на каждой новой стадии вела в разные направления, менялась всякий раз, когда случался новый кризис, и шла дальше, подталкиваемая вперед философией «мы пройдем через этот мост, раз мы к нему уже подошли». Концепция Шленера суммирует лучшие достижения «функционалистской» школы в историографии холокоста (набирающей в последние годы все больший вес за счет «интенционалистов», которым, в свою очередь, все труднее защищать некогда доминировавшее одностороннее объяснение холокоста – то есть приписывать геноциду мотивационную логику и последовательность, которых у него никогда не было).

Согласно «функционалистам», «Гитлер сформулировал цель нацизма: “избавиться от евреев и, более того, сделать территорию рейха *judenrein*, то есть свободной от евреев”, однако не уточнил, каким образом эта цель должна быть достигнута»<sup>21</sup>. Как только задача была поставлена, все пошло именно так, как с присущей ему ясностью сформулировал Вебер: «“Политический хозяин” находит себя в позиции дилетанта, который стоит перед “экспертом”, наблюдая опытного чиновника из административного руководства»<sup>22</sup>. Цель должна была быть достигнута, но как именно – зависело от обстоятельств, которые оценивал «эксперт» с точки зрения осуществимости проекта и цены возможных альтернативных решений. Поэтому в качестве практического решения задачи, поставленной Гитлером, вначале выбрали эмиграцию немецких евреев. Это привело бы к «очищению Германии от евреев», если бы другие страны проявили больше радушия по отношению к еврейским беженцам. Когда была аннексирована Австрия, Эйхман удостоился своей первой похвалы за то, что он организовал массовую эмиграцию австрийского еврейства. Но затем территория, которую контролировали нацисты, стала стремительно расширяться. Вначале нацистская бюрократия рассматривала завоевание и присвоение квазиколониальных территорий как сказочную возможность выполнить до конца поставленную фюрером задачу: казалось, что *генерал-губернаторство* было хорошей свалкой для евреев, все еще проживающих в землях Германии, которые подлежали расовой чистке. Отдельную резервацию для будущего «еврейского княжества» устроили в районе города Ниско – до войны это была территория Центральной Польши. Впрочем, от этой затеи германская бюрократия, обремененная заботой об управлении бывшими польскими территориями, отказалась: у нее

было достаточно хлопот и со своими местными евреями. Поэтому Эйхман целый год провел в работе над Мадагаскарским проектом: после падения Франции ее далекую колонию можно было превратить в еврейское княжество, которое не удалось создать в Европе. Однако Мадагаскарский проект ждала печальная участь ввиду огромных расстояний, объема необходимых судоперевозок и присутствия военного флота Британии в Мировом океане. Тем временем площади захваченных территорий и число евреев под германской юрисдикцией продолжали расти. Перспектива Европы под властью нацистов (а не просто «воссоединенного рейха») казалась все более и более реальной. Постепенно, но неуклонно тысячелетний рейх все более отчетливо принимал форму Европы под управлением Германии. В этих обстоятельствах цель создать «Германию без евреев» не могла не измениться. Почти незаметно, шаг за шагом она превратилась в «Европу без евреев». Мадагаскар, каким бы достижимым он ни казался, уже не мог удовлетворить амбиции такого масштаба (согласно Эберхарду Джекелу, имеется свидетельство того, что уже в июле 1941 года, когда Гитлер ожидал, что СССР будет разгромлен в течение нескольких недель, огромная территория России за линией Архангельск – Астрахань рассматривалась в качестве главного места для свалки всех евреев, населявших Европу под властью Германии). Но Россия не пала, а альтернативные программы не могли помочь решить растущую как снежный ком проблему, поэтому 1 октября 1941 года Гиммлер распорядился прекратить дальнейшую эмиграцию евреев. Задача «избавиться от евреев» получила новое, более эффективное решение: в качестве наиболее подходящего и эффективного средства для достижения исходной и принявшей более крупные очертания цели было выбрано физическое уничтожение. Остальное стало вопросом взаимодействия между различными ведомствами государственной бюрократии, тщательного планирования, разработки подходящей технологии и технического оснащения, финансирования и привлечения необходимых ресурсов – вопросом скучной бюрократической рутины.

Самый страшный урок, который можно извлечь из анализа «извилистой дороги в Освенцим», состоит в том, что *выбор физического уничтожения как верного средства выполнения задачи по «избавлению»* – в конечном счете – *был продуктом рутинных бюрократических процедур*: расчетов, баланса бюджета, применения универсальных правил. И более того: такой выбор стал результатом искренней попытки найти рациональное решение для серии «проблем», возникавших в постоянно меняющихся условиях. Он был также вызван широко известной бюрократической практикой замещения цели – нормальной бе-

дой всех бюрократий. Само присутствие функционеров, наделенных специфическими полномочиями, приводило к появлению новых инициатив и непрерывному расширению первоначальных целей. Эксперты в очередной раз продемонстрировали свою способность принимать самостоятельные решения, а также свою склонность расширять и умножать цели обеспечивающих их *raison d'être*\*.

Наличие корпуса экспертов – специалистов по евреям – создавало определенный бюрократический момент за рамками нацистской политики. Даже когда начались депортации и массовые казни, в 1942 году появился декрет, запрещающий германским евреям иметь домашних животных, пользоваться услугами арийских парикмахеров и получать спортивные значки рейха! Никаких приказов сверху не требовалось, просто в силу своей работы специалисты по евреям должны были поддерживать убежденность, что дискриминационные меры продолжают действовать<sup>23</sup>.

Ни на одном из этапов своего долгого и сложного осуществления холокост не вступал в конфликт с принципами рациональности. «Окончательное решение еврейского вопроса» никогда не противоречило рациональным методам эффективного и оптимального достижения цели. Напротив, *оно возникло из поистине рационального подхода к решению проблемы и было рождено бюрократией, преданной своим принципам и целям.* Мы знаем о многочисленных убийствах, погромах, массовых истреблениях – которые действительно не так уж и далеки от геноцида, – совершенных без участия современной бюрократии, без знаний и технологий, которыми она владеет, и без научных принципов ее внутреннего управления. Однако холокост был бы невыносим без такой бюрократии. Холокост не был иррациональным выбросом еще до конца не искорененного досоциального варварства. Законный обитатель покоев современности, в любом другом жилище он, конечно, не чувствовал бы себя как дома.

Я не хочу сказать, что значение холокоста целиком *определяется* влиянием на него современной бюрократии или культурой прикладной рациональности, воплощением которой она является. Современная бюрократия вовсе не *должна* приводить к явлениям, подобным холокосту. Однако я хочу сказать, что правила прикладной рациональности сами по себе не в состоянии предотвратить такие явления. В этих правилах нет ни-

---

\* Смысл существования (франц.).



чего, что отменяло бы схожие с холокостом методы «социальной инженерии» как непригодные, а дела, которым они служат, – как иррациональные. Кроме того, я хочу сказать, что бюрократическая культура, которая побуждает нас относиться к обществу как к объекту администрирования, как скопищу множества «проблем», требующих решения, как «природе», которую нужно «контролировать», «преодолевать», «улучшать» или «переделывать», как законному объекту «социальной инженерии» и вообще как саду, который нужно спланировать и поддерживать в изначальной форме с помощью силы (внутри сада все растения делятся на «культурные», о которых нужно заботиться, и сорняки, которые нужно вырывать), и была той атмосферой, в которой идея холокоста могла быть замыслена, медленно, но последовательно развита и доведена до завершения. И я также хочу сказать, что дух прикладной рациональности и ее современная бюрократическая форма институционализации сделали решения, подобные холокосту, не только возможными, но и в высшей степени «благоразумными» и увеличили вероятность выбора в их пользу. Увеличение вероятности совсем не случайно связано со способностью современной бюрократии координировать действия великого множества моральных индивидов в направлении любых, в том числе и аморальных, целей.

## Социальное производство морального равнодушия

Доктор Сервациус, адвокат Эйхмана в Иерусалиме, так подытожил линию его защиты: Эйхман совершал действия, за которые в случае победы награждают, а в случае поражения – отправляют на виселицу. Очевидный смысл этого высказывания – определенно, одного из наиболее пронзительных высказываний того столетия, которое не испытывало недостатка в изумительных идеях, – тривиально. Сила творит право. Но здесь есть и другой смысл, не столь очевидный, хотя не менее циничный и гораздо более тревожный: Эйхман не сделал ничего, что, по сути, отличалось от того, что делали люди, действовавшие на стороне победителей. Действия не имеют внутренней моральной ценности. Равным образом они не могут быть имманентно аморальными. Моральная оценка – это нечто внешнее по отношению к самому действию, она требует иных критериев, чем те, которые направляют и формируют действие.

Что настораживает в мысли доктора Сервациуса – если отвлечься от ситуации, в которой она была высказана, и рассмотреть ее в общем виде – так это то, что она не слишком отличается от того, что постоянно утверждает социология. Она также не отличается от здравого смысла нашего современного рационального общества, который если иногда и ставится под сомнение, то очень редко подвергается резкой критике. Заявление доктора Сервациуса шокирует именно по этой причине. В нем звучит истина, которую мы предпочитаем не произносить вслух: ведь если принять эту истину здравого смысла как очевидную, то уже не будет никакого социологически оправданного способа, мешающего распространить на случай Эйхмана действие этой истины.

Известно, что первоначальные попытки интерпретировать холокост как акт насилия, совершенный прирожденными преступниками, садистами, сумасшедшими, социопатами или моральными уродами, не нашли своего подтверждения. Недавние исторические исследования окончательно опровергли эти попытки. Работа Крена и Раппопорта является хорошим примером такого рода исследований:

В соответствии с общепринятыми клиническими критериями, не более 10 процентов солдат и офицеров СС можно признать «ненормальными». Это наблюдение согласуется со свидетельствами выживших, которые указывают, что в большинстве лагерей обычно лишь один или от силы несколько эсэсовцев отличались необузданной садистской жестокостью. Остальные не всегда были приличными людьми, но, по мнению заключенных, их поведение, по меньшей мере, можно было понять...

Наш вывод состоит в том, что подавляющее большинство эсэсовцев, офицеров и рядовых с легкостью прошли бы все психиатрические тесты, через которые пропускают призывников в армию США или полицейских Канзас-Сити<sup>24</sup>.

Тот факт, что преступники, ответственные за геноцид, были нормальными людьми, которые легко просеялись бы сквозь самое мелкое сито психиатрии, вызывает моральную тревогу. Он представляет собой и теоретическую загадку, особенно если принимать во внимание «нормальность» организационных структур, которые во взаимодействии со столь нормальными людьми организовали геноцид. Мы уже знаем, что ответственные за холокост институты, даже если считать их преступными, нельзя рассматривать как ненормальные или патологические в социологическом смысле. Теперь мы понимаем, что лю-

ди, чьи действия они направляли, не выходили за рамки установленных стандартов нормального поведения. Поэтому нам не остается ничего другого, как, вооружившись нашим новым знанием, вновь присмотреться к якобы нормальным образцам современного рационального действия. В них мы надеемся открыть возможность тех процессов, которые столь драматично развернулись во времена холокоста.

По словам Ханны Арендт, ставшим широко известными, самая трудная проблема, с которой столкнулись организаторы *Endlösung\**, была в том, «как преодолеть... животную жалость, которую испытывают все нормальные люди при виде физических страданий?»<sup>25</sup> Мы знаем, что люди, состоявшие в организациях, самым непосредственным образом вовлеченных в массовые казни, не были ни патологическими садистами, ни безумными фанатиками. Мы можем предположить, что, как и все люди, они почти инстинктивно не переносили физических страданий и вообще испытывали внутреннее сопротивление, когда им приходилось лишать жизни других людей. Мы даже знаем, что, когда формировались *Einsatzgruppen\*\** и другие подразделения, непосредственно задействованные в уничтожении людей, принимались специальные меры, чтобы отсеять из них всех эмоционально неустойчивых и чрезмерно усердных ревнителей идеологии. Мы знаем, что индивидуальная инициатива не поощрялась, и большое внимание уделялось тому, чтобы задача выполнялась по-деловому и в строго обезличенной форме. Личная выгода и личные мотивы запрещались и карались. Убийства ради удовольствия в отличие от тех, что проходили по приказу и организовано, могли привести (по крайней мере, в принципе) на скамью подсудимых, как это было в случае обычного или непреднамеренного убийства. Гиммлер неоднократно выражал глубокую и, по всей видимости, искреннюю озабоченность состоянием психического здоровья и уровнем моральных стандартов своих подчиненных, занятых ежедневной бесчеловечной работой; он даже гордился тем, что, по его убеждению, их психика и мораль вышли из испытания невредимыми. Снова процитируем Арендт: «в силу своей “пре-

---

\* Окончательное решение (нем.).

\*\* *Einsatzgruppen* – оперативные (карательные) группы специального назначения, созданные и используемые в целях массовых казней гражданских лиц на захваченных территориях. Жертвами группы в первую очередь были политическая интеллигенция, коммунисты, партизаны, «расово неполноценные». Наиболее массовое применение получили во время захвата Польши в 1939 году и с 1941 года – на захваченной территории СССР.

данности делу” (*Sachlichkeit*), отряды СС отмежевывались от таких “эмоциональных” типов, как Штрайхер, “от этого невероятного идиота”, и от “некоторых бонз из Немецкой рабочей партии, которые вели себя, словно ряженые в рога и шкуры”<sup>26</sup>. Лидеры СС опирались (как выяснилось, справедливо) на формы «организации труда», а не на личное рвение, на дисциплину, а не на преданность идеологии. Преданность кровавому делу считалась – и была таковой по сути – производной от преданности организации.

«Преодоление рудиментарной жалости» за счет высвобождения других «основных звериных инстинктов» было невозможным и немислимым: по всей вероятности, исходя из образа действия организации, эти инстинкты оказались бы дисфункциональными; сообщество мстительных и нацеленных на убийство личностей не соответствовало бы задаче эффективной работы малочисленной, но дисциплинированной и прекрасно скоординированной бюрократии. И, в конце концов, совершенно неясно, можно ли было полагаться на то, что инстинкт убийства вылезет из тысяч этих обычных клерков и служащих, которых, в силу масштабности предприятия, пришлось бы задействовать на разных стадиях операции. По мнению Рауля Хильберга:

Преступники-немцы не были особой породой немцев... Мы знаем, что сама природа административного планирования, судебной структуры и бюджетной системы препятствовала специальному отбору и специальному обучению персонала. Любой полицейский мог быть направлен на дежурство в гетто – или в поезд. Каждый юрист в рейхсминистерстве безопасности мог получить назначение командовать мобильной зондеркомандой, любой специалист по финансам в министерстве экономики и администрации мог отправиться служить в лагерь смерти. Иными словами, все необходимые операции должны были выполняться, и не важно, какие исполнители находились в тот момент под рукой<sup>27</sup>.

И все же, как эти обыкновенные немцы превратились в преступников, которые осуществляли массовые преступления? По мнению Герберта С. Кельмана<sup>28</sup>, когда совпадают три условия – в комплексе или независимо друг от друга, – моральный протест против жестокости имеет тенденцию к ослаблению: насилие *узаконивается* (приказом от официально уполномоченного источника), действия *рутинизируются* (все делается по установленным правилам, с точно обозначенным распределением

функций), а жертвы насилия *дегуманизируются* (в результате идеологических определений и идеологической обработки). О третьем условии мы поговорим отдельно, но первые два звучат знакомо. Они неоднократно проговаривались в тех принципах рационального действия, которые повсеместно применяются большинством институтов современного общества.

Первый принцип касается организационной дисциплины. Точнее, требований подчиняться приказам начальства (исключая другие стимулы к действию) и быть преданным интересам организации, что априори заложено в приказах начальства (это наивысшая преданность из всех). Среди других «внешних» влияний, умаляющих дух преданности и потому подлежащих подавлению и уничтожению, наиболее заметными являются личные взгляды и предпочтения. Идеальная дисциплина нацелена на полное отождествление с организацией, что, в свою очередь, означает не что иное, как готовность упразднить свою собственную идентичность и пожертвовать собственными интересами (такие интересы, по определению, не пересекаются с задачей организации). В организационной идеологии готовность к самопожертвованию такого крайнего рода определяется как моральная добродетель. И в самом деле, моральная добродетель призвана положить конец всем прочим моральным требованиям. Самоотверженное подчинение моральной добродетели Вебер считает честью гражданского служащего: «Честь гражданского служащего заключается в его способности добросовестно выполнять приказ вышестоящего начальства так, словно приказ согласуется с его собственным убеждением. Так следует поступать, даже если приказ представляется ему ошибочным и если, несмотря на протесты гражданского служащего, начальство настаивает на выполнении приказа». Такое поведение означает «моральную дисциплину и самоотречение высшего порядка»<sup>29</sup>. Честь ставит дисциплину на место моральной ответственности. Упразднение всех без исключения внутриорганизационных правил как источника и гарантии правильного поведения, а следовательно, и отрицание авторитета совести, становится теперь высочайшей моральной добродетелью. Дискомфорт, которым порой может сопровождаться такое отрешение от себя, компенсируется вышестоящей инстанцией, которая убеждает служащего, что она, и только она одна, несет ответственность за действия своих подчиненных (конечно, пока эти действия отвечают ее приказам). Вебер завершает свое описание чести гражданского служащего, подчеркивая «исключительно личную ответственность» лидера, «ответственность, от которой он не может и не должен отказываться, а также делегировать ее третьему лицу». Когда во время Нюрнбергского процесса у Отто Олендорфа

потребовали объяснений, почему он не отказался командовать *Einsatzgruppe*, чью деятельность он лично не одобрял, Олендорф заговорил о чувстве ответственности перед людьми своего подразделения: если бы пошел против приказа, его людей «несправедливо обвинили бы» в невыполнении приказа. По-видимому, Олендорф полагал, что начальство отнесется к нему с той же отеческой заботой, с которой он относился к другим – именно поэтому его не беспокоила моральная оценка собственных действий. Беспокойство он предоставил тому, кто отдавал ему приказы. «Не думаю, что я вправе судить, были ли его методы... моральными или аморальными... Я отказался от морали и совести, потому что был солдатом, всего лишь винтиком в огромной машине»<sup>30</sup>.

Если все, к чему прикасался Мидас, превращалось в золото, все, что попадало в сферу интересов администрации СС – включая жертвы, – становилось звеном цепи управления, областью строжайших правил дисциплины и свободной от моральных оценок. Геноцид был сложным процессом; как замечает Хильберг, «он включал в себя вещи, которые совершали немцы, и вещи, совершенные по приказу немцев – но часто с почти самозабвенной преданностью – их жертвами-евреями». В этом заключалось техническое превосходство грамотно разработанного и рационально организованного массового убийства над стихийной резней. Жертвы и организаторы погрома не могут сотрудничать. Сотрудничество жертв с бюрократами из СС было частью плана: в самом деле, в этом был главный залог успеха. «Значительная часть всего процесса зависела от участия евреев – простых действий отдельных лиц, равно как и организованной деятельности в советах... Немцы обращались в еврейские советы за информацией, деньгами, рабочей силой и даже за полицейскими, и советы предоставляли им все это ежедневно». Удивительный эффект успешно распространенных «вовне» правил бюрократического руководства наряду с упразднением других вариантов преданности и моральных мотивов, чтобы вовлечь в процесс намеченных жертв бюрократии и таким образом воспользоваться их навыками и трудом для выполнения задачи по их же уничтожению, достигался (так же, как в деятельности любой другой, зловещей или милосердной, бюрократии) двумя способами. Во-первых, уклад жизни гетто был продуман таким образом, чтобы все действия его лидеров и обитателей были объективно «функциональными» по отношению к задачам немцев. «Все, что поддерживало его [гетто] жизнеспособность, одновременно работало и на цели немцев... Еврейское умение разграничивать пространство и распределять пайки было продолжением немецкой эффективности. Еврей-

ское усердие в том, что касалось взимания издержек и утилитаризации труда, было подспорьем немецкой строгости. Даже неподкупность евреев могла быть инструментом германской администрации». Во-вторых, на каждом отрезке пути жертвы должны были выбирать, каким рациональным действием воспользоваться и какое рациональное решение безусловно совпадает с «замыслом начальника». «Немцы особенно преуспели в поэтапной депортации евреев, потому что те, кто оставался, начинал размышлять о необходимости пожертвовать немногими во имя спасения большинства»<sup>31</sup>. Даже тем, кого уже депортировали, предоставлялась возможность до конца воспользоваться своей рациональностью. Газовые камеры, игриво прозванные «душевыми», манили людей после дней, проведенных в переполненных грязных вагонах для скота. Те, кто уже знал правду и не испытывал иллюзий, по-прежнему имел выбор между «быстрой и безболезненной» смертью и предшествующими смерти страданиями, которые полагались за неподчинение. Таким образом, объектом манипуляции становился не только уклад жизни гетто, на который жертвы никак не могли повлиять. Гетто превращалось в продолжение машины убийства. Рациональные способности «функционеров», ответственных за это продолжение, использовались для выявления тех, чье поведение мотивировалось преданностью и желанием сотрудничать во имя бюрократически обозначенных целей.

## Социальное производство моральной неразличимости

Мы попытались реконструировать социальный механизм «преодоления рудиментарной жалости», социальное производство поведения, противоречащего врожденным моральным запретам, способное превратить нормальных людей, а не «моральных дегенератов», в убийц или сознательных пособников процесса убийства. Однако опыт холокоста помогает очертить еще один социальный механизм, потенциал которого кажется более угрожающим. Он вовлекает в геноцид гораздо большее число людей, которые никогда не сталкиваются с необходимостью делать моральный выбор или идти на компромисс со своей совестью. Здесь нет места борьбе с моралью, поскольку моральные аспекты действий не сразу становятся очевидными; к тому же, делается все, чтобы они не обнаружили себя и не стали предметом дискуссии. Иными словами, моральный характер действия либо невидим, либо намеренно сокрыт.

Снова процитирую Хилберга: «Необходимо иметь в виду, что большинство участвовавших [в геноциде] не стреляли в еврейских детей и не пускали газ в газовые камеры... Большинство бюрократов строчили служебные записки, делали фотокопии, говорили по телефону и участвовали в конференциях. Они могли уничтожить всех людей, просто сидя за своим столом»<sup>32</sup>. Были ли они осведомлены о конечном продукте своей безобидной суматохи? В лучшем случае такое знание было задвинуто в дальний угол их сознания. Прямую связь между действиями этих людей и массовым убийством было трудно распознать. Легкое моральное порицание сопровождает естественную склонность человека избегать «избыточных» волнений и таким образом воздерживаться от исследования причинно-следственной цепочки вплоть до ее последнего звена. Чтобы понять, как смогла оказаться возможной такая поистине удивительная моральная слепота, стоит, к примеру, подумать о рабочих оружейного завода, получивших отгул благодаря новым большим заказам, и в то же время искренне оплакивающих жертв резни в Эфиопии и Эритрее. «Падение цен на товары» повсюду встречают как отличную новость, при этом все столь же искренне и повсеместно жалеют о «голодающих детях Африки».

Несколько лет назад Джон Лакс выделил так называемую *среднюю часть действия* (действие, выполняемое для кого-то кем-то, неким промежуточным лицом, «которое находится между мной и моим действием и не дает мне пережить этого действия непосредственно») как одну из наиболее выдающихся и конструктивных особенностей современного общества. Между намерением и его практической реализацией существует огромная дистанция. Это пространство заполнено множеством пустяковых дел и исполнителями, не играющими никакой роли. «Посредник» не дает исполнителям непосредственно увидеть результаты своих действий.

Результатом становится множество действий, которые никто не стремится себе присвоить. Для человека, от лица которого эти действия производятся, они существуют лишь на вербальном уровне или в воображении. Он не назовет их своими собственными, поскольку не пережил их. С другой стороны, человек, который действительно совершает действия, всегда будет смотреть на них как на принадлежащие кому-то другому, а себя будет считать лишь невинным орудием чужой воли... Не имея представления о своих действиях, даже лучшие из людей оказываются в моральном вакууме: абстрактное понимание зла – это не очень надежный ориентир и непригодный мотив... Нам не стоит удив-



ляться чрезвычайной и по большей части непреднамеренной жестокости добропорядочных людей...

Примечательно, что мы не можем не замечать неправильные действия или большую несправедливость, когда сталкиваемся с ними. Что поражает нас, так это то, как они могли произойти, если никто из нас не совершил ничего дурного... Трудно согласиться с тем, что зачастую нет ни человека, ни группы людей, которые спланировали или осуществили их. Еще труднее понять, как последствия наших собственных действий приводят к несчастьям<sup>33</sup>.

Увеличение физического или психологического расстояния между действием и его последствиями не просто снимает моральные запреты: оно аннулирует моральный смысл действия и таким образом ликвидирует конфликт между личным критерием моральной порядочности и аморальностью социальных последствий действия. Большинство социально значимых действий осложнены длинной цепью случайных и функциональных зависимостей, благодаря которым моральные дилеммы исчезают из поля зрения, а возможности для более взвешенного и осознанного морального выбора становятся чрезвычайно редкими.

Аналогичный эффект (и в более значительном масштабе) достигается за счет превращения жертв в психологических невидимок. Это, безусловно, решающий фактор в ряду тех, что отвечают за эскалацию людских потерь в современных войнах. Как заметил Филипп Капуто, характер войны «становится вопросом расстояния и технологии. С вами ничего не случится, если вы убиваете людей с большого расстояния сложным оружием»<sup>34</sup>. С появлением «убийства на расстоянии» связь между резней и совершенно невинными действиями – вроде нажатия на спусковой крючок, замыкания электрического рубильника и удара по клавише на клавиатуре компьютера – по-видимому, остается чисто теоретическим понятием (тенденция, которой способствует разрыв между результатом и причиной, непосредственно его обусловившей, – это несоизмеримость, которая не поддается пониманию с позиции обычного здравого смысла). Вот почему можно быть пилотом, бомбящим Хиросиму или Дрезден, отлично продвигаться по службе на базе управляемых ракет и создавать все более разрушительные образцы ядерного оружия без всякого ущерба для своего морального здоровья (невидимость жертв определенно была очень важным фактором в печально известных экспериментах Милгрэма). Эффект невидимой жертвы позволяет легче понять успешные технологические нововведения холокоста. Когда за дело принимались

*Einsatzgruppen*, жертв сгоняли, ставили перед пулеметами и расстреливали в упор. Несмотря на то, что делались попытки установить оружие на максимально далеком расстоянии от канав, куда должны были падать убитые, стрелки определенно улавливали связь между выстрелами и смертью людей. Поэтому организаторы геноцида сочли этот метод примитивным, неэффективным и угрожающим моральному здоровью убийц. Были предприняты попытки найти другие способы убийства – такие, при которых убийца не видел бы свою жертву. Поиск увенчался успехом. Вначале его результатом стали мобильные, а затем и стационарные газовые камеры; последние можно считать практически совершенными, учитывая короткие сроки, в которые их пришлось изобрести. Убийца выполнял здесь роль «чиновника санитарной службы», обязанного загружать «дезинфицирующие химикаты» через отверстие в крыше здания, которое ему не рекомендовалось посещать.

Технико-административный успех холокоста отчасти был обусловлен умелым использованием «пилюль, усыпляющих мораль», введенным в повсеместное обращение современными бюрократией и технологией. Самыми эффективными из них стали естественная невидимость причинных связей в сложной системе взаимодействия и «дистанцирование» непрямых результатов действия от его исполнителя. Но это не все. Нацисты овладели еще одним методом, в изобретении которого не принимали участия, однако довели его до беспрецедентного совершенства. Этот метод делал невидимой человеческую природу жертвы. Понятие «мир обязательств» Хелен Фейн («круг лиц с взаимным обязательством защищать друг друга, в основе связи – божество или священный источник власти»)<sup>35</sup> имеет большое значение для прояснения социально-психологических факторов, обуславливающих потрясающую эффективность этого метода. «Мир обязательств» отмечает внешние границы социальной территории, внутри которой могут подниматься любые вопросы морали. По другую сторону границы моральные заповеди ни к чему не обязывают, а моральные оценки бессмысленны. Чтобы сделать невидимой человеческую сущность жертв, нужно просто вывести их за рамки «мира обязательств».

С позиции нацистского видения мира, которое определялось высшим и неоспоримым величием прав германства, чтобы исключить евреев из «мира обязательств», нужно было только изгнать их из состава немецкой нации и государства. Как пронизательно отмечает Хильберг, «когда в первые дни 1933 года первый гражданский служащий написал первое определение “неарийцев”, получившее затем форму указа, судьба европейского

еврейства была решена»<sup>36</sup>. Однако чтобы вынудить к сотрудничеству (к бездействию или безразличию) европейцев негерманского происхождения, требовалось нечто большее. Если лишение евреев их «немецкости» было достаточным для СС, другие нации – даже если им импонировали идеи новых правителей Европы – имели основания возмущаться притязаниями немцев на монополию человеческого достоинства. Как только задача «Германия без евреев» превратилась в цель «Европа без евреев», идея исключения евреев из состава немецкой нации была заменена идеей их тотальной дегуманизации. Вот откуда берет начало излюбленная конъюнкция Франка – «евреи и вши». В изменении риторики отразился перенос «еврейского вопроса» из контекста расовой самозащиты в языковой мир «самоочищения» и «политической гигиены», в плакаты на стенах гетто, предупреждающие об угрозе сыпного тифа, и, наконец, в производство химикатов «Немецким обществом по изоляции вредителей».

## | Моральные следствия цивилизационного процесса

Социологи могут по-разному представлять себе картину цивилизационного процесса. Но самый стандартный и (широко распространенный) способ ее представления включает в себя две центральные темы – подавление иррациональных и, по сути своей, антисоциальных побуждений и постепенное, но неуклонное исчезновение насилия из социальной жизни (точнее говоря, концентрация насилия под контролем государства, где оно используется для того, чтобы охранять границы национального сообщества и условия социального порядка). То, что объединяет эти две центральные темы в одну картину, – это взгляд на цивилизованное общество (по крайней мере в его западной, современной форме) как, в первую очередь, на моральную силу и как на систему институтов, которые взаимодействуют и дополняют друг друга, устанавливая нормативный порядок и власть закона, который, в свою очередь, гарантирует социальный мир и личную безопасность, плохо охраняемую в доцивилизационных условиях.

Этот взгляд не всегда ошибочен. Однако в свете холокоста он определенно страдает однобокостью. Хотя он и открывает для изучения важные тенденции недавней истории, но он же закрывает возможность для обсуждения других, не менее важных тенденций. Фокусируясь лишь на одной стороне историче-

ского процесса, он произвольно проводит черту между нормой и отклонением от нормы. Лишая законной силы некоторые жизнестойкие аспекты цивилизации, он несправедливо указывает на их случайную и преходящую природу. При этом он скрывает необыкновенный резонанс между наиболее заметными особенностями этих аспектов и нормативными допущениями современности. Иными словами, он невнимателен к постоянству альтернативы, деструктивному потенциалу процесса цивилизации и успешно заглушает и изолирует критиков, настаивающих на том, что современный социальный порядок имеет две разные стороны.

Я полагаю, что главный урок холокоста – это необходимость серьезного отношения к критике, а также необходимость расширения теоретической модели цивилизационного процесса, чтобы она могла учитывать недавнюю тенденцию, проявившуюся в умалении этических мотиваций социального действия. Мы должны по-новому оценить свидетельства, подтверждающие, что *цивилизационный процесс, помимо прочего, является процессом, открывающим возможность использовать и применять насилие независимо от соображений морали, а также процессом, освобождающим желаемое (desiderata) рациональности от влияния со стороны этических норм или моральных запретов*. Поскольку исключение альтернативных критериев действия на рациональных основаниях и подчинение насилия рациональным соображениям давно признаны в качестве основополагающих характеристик современной цивилизации, явления типа холокоста следует рассматривать как законные результаты цивилизационной тенденции и ее постоянный потенциал.

Если перечитать вновь, используя преимущества ретроспективного взгляда, веберовское описание условий и механизма цивилизации, оно позволит увидеть важные, но пока еще не получившие должной оценки зависимости. Мы все более ясно видим, что условия рационального поведения бизнеса – как, например, пресловутое разделение между домашним хозяйством и промышленным предприятием, между личным доходом и общей казной – работают в одно и то же время как мощные факторы, отделяющие нацеленное на конечный результат рациональное действие от процессов, управляемых другими (по определению, иррациональными) правилами. Рациональное действие становится невосприимчивым к влиянию со стороны норм взаимопомощи, солидарности, обоюдного уважения и т. д., сохраняющих свою силу в тех видах практики, которые не связаны с бизнесом. Именно это, главное, достижение рационализации было систематизировано и закреплено в рамках институтов современной бюрократии. Если мы дадим себе труд

вновь переосмыслить эту бюрократию, мы обнаружим, что подавление голоса морали является ее главной заботой и основополагающим условием ее успеха как инструмента рациональной деятельности. И она также обнаружит способность порождать решения наподобие холокоста, продолжая заниматься в своей безупречной рациональной манере обычной повседневной рутинной.

Любой пересмотр теории цивилизационного процесса, который учитывает высказанные здесь замечания, потребует внести изменения в социологию. Природа и стиль социологии приспособлены к тому же современному обществу, которое она исследует и относительно которого выдвигает свои теории. С самого рождения социология занималась воображаемой связью с предметом своего исследования – или скорее с образом этого предмета, который она конструировала и воспринимала как рамку для своего собственного дискурса. Поэтому в качестве собственного критерия правомерности социология выдвигала те же самые принципы рационального действия, которые находила основополагающими в предмете своего изучения. В ряду правил, укрепляющих ее дискурс, было предложено считать, что этическая проблематика не подлежит рассмотрению в какой бы то ни было форме, кроме поддерживаемой в обществе идеологии и, следовательно, гетерогенной по отношению к социологическому (научному и рациональному) дискурсу. *Фразы вроде «святость человеческой жизни» или «моральный долг» звучат на социологическом семинаре так же странно, как они звучат в дезинфицированных и запрещенных для курения комнатах бюрократического офиса.*

Соблюдая эти принципы в своей профессиональной практике, социология всего лишь участвует в научной культуре. Как неотъемлемая часть процесса рационализации эта культура требует, чтобы к ней как следует присмотрелись. Когда вопрос «производства» и вывоза трупов в Освенциме был сформулирован как «медицинская проблема», добровольное молчание науки по поводу морали в конце концов выявило некоторые из ее доселе скрытых аспектов. Непросто отмахнуться от предупреждения Франклина М. Литтелла о кризисе доверия к современному университету: «Какая медицинская школа готовила Менгеле и его помощников? На каких факультетах антропологии готовили кадры действовавшего при Страсбургском университете “Института наследственности”?»<sup>37</sup>. Чтобы не сомневаться, по ком звонит этот конкретный колокол, чтобы избежать соблазна отделаться от этих вопросов как от имеющих только историческое значение, стоит обратиться к анализу движущей силы современной ядерной гонки, проделанному Колином Гре-

### 3. Бауман | АКТУАЛЬНОСТЬ ХОЛОКОСТА

ем: «Ученые и технологи с каждой стороны неизбежно “состязаются в скорости”, чтобы преуменьшить свое собственное невежество (враг – не советская технология, ученых интересует только то, что остается неизвестным в физике)... В высшей степени мотивированные, технологически компетентные и отлично финансируемые команды исследователей непременно произведут на свет бесконечную серию совершенно новых (или усовершенствованных старых) идей, имеющих отношение к оружию»<sup>38</sup>.

---

*Первый вариант этой главы был опубликован в «Британском журнале социологии» в декабре 1988 года.*

# Глава 2 I

## Современность, расизм, истребление-I

Среди причин, объясняющих происхождение холокоста, есть несколько более очевидных, нежели те, что выводят его из антисемитизма. Европейских евреев убивали потому, что немцы, которые делали это, и их местные помощники ненавидели евреев. Холокост был кульминацией вековой исторической, религиозной, экономической, культурной и национальной обиды. Такое объяснение холокоста первым приходит на ум. Оно «имеет смысл» (если такого рода парадокс здесь вообще уместен). И тем не менее кажущаяся очевидность этой причинно-следственной связи при ближайшем изучении не выдерживает критики.

Благодаря детальным историческим исследованиям, проводившимся в последние десятилетия, мы знаем, что еще до прихода нацистов к власти и задолго до укрепления их позиций в Германии немецкий бытовой антисемитизм был далеко не лидером по сравнению с ненавистью к евреям в некоторых других европейских странах. Задолго до того как Веймарская республика сказала свое последнее слово в деле еврейской эмансипации, международное еврейство повсеместно рассматривало Германию как рай религиозного и национального равенства и толерантности. Германия вошла в XX столетие, имея у себя гораздо больше ученых и специалистов-евреев, чем современные Америка или Британия. В Германии недобрые чувства по отношению к евреям не были ни глубокими, ни повсеместно распространенными. Они даже не выливались в уличное насилие, столь обычное в других частях Европы. Попытки нацистов извлечь бытовой антисемитизм на поверхность за счет организации уличного антиеврейского насилия оказались непродуктив-

ными и провалились. Один из самых заметных историков холокоста Генри Л. Файнгольд пришел к выводу, что если бы существовал рейтинг общественного мнения, призванный измерять интенсивность антисемитизма, то «во времена Веймарской республики, мы, по-видимому, обнаружили бы, что неприязнь немцев к евреям была меньшей, чем у французов»<sup>1</sup>. Бытовой антисемитизм не стал активной силой даже во время процесса истребления. Главным образом об этом свидетельствует то, что большинство немцев, понимавших, что ожидает евреев, смотрели на массовые убийства с апатией или предпочитали ничего не знать о них. Говоря словами Нормана Кона, «ради евреев люди не желали прийти в чувство. Повсеместное безразличие, легкость, с которой люди отказались от евреев и их судьбы, определенно были отчасти результатом смутного чувства, что... евреи в каком-то смысле зловещие и опасные»<sup>2</sup>. Ричард Л. Рубинштейн идет чуть дальше и предполагает, что апатию немцев – обычную, «по умолчанию» форму сотрудничества – невозможно до конца понять, не задавшись вопросом: «В самом ли деле большинство немцев относились к уничтожению евреев как к благу?»<sup>3</sup> Есть, однако, и другие историки, которые убедительно объяснили «сотрудничество в форме непротивления» факторами, не обязательно включающими в себя какие бы то ни было представления о природе и сущности евреев. Так, Вальтер Лакёр акцентирует тот факт, что «к судьбе евреев проявляли интерес очень немногие. Большинству приходилось иметь дело с собственными, более актуальными проблемами. Это была неприятная тема, слухи не обсуждались, разговоры о судьбе евреев не приветствовались. Этот вопрос задвинули в дальний угол, закрыли и надолго забыли о нем»<sup>4</sup>.

Есть и еще одна проблема возникновения холокоста, которую нельзя объяснить через антисемитизм. Антисемитизм – религиозный, экономический, культурный или расовый, отчаянный или умеренный – в течение тысяч лет был почти что всемирным явлением. А холокост был явлением беспрецедентным. По сути, в каждом из множества своих аспектов он стоит особняком и оказывается несравним с другими бойнями – какими бы кровавыми они ни были по форме и кто бы их ни устраивал. Очевидно, что, будучи непрерывным и повсеместным, сам по себе антисемитизм не может быть ответственен за уникальность холокоста. Вопрос усложняется и еще больше: далеко не очевидно, что наличие антисемитизма, вроде бы являющегося необходимым условием для антиеврейского насилия, представляет собой его достаточное условие. По мнению Нормана Кона, организованная группа «профессиональных убийц евреев» (явление, не оторванное от антисемитизма, но и нико-



им образом не тождественное ему) – есть материал и действующая причина насилия. Без таких групп ненависть к евреям, какой бы стойкой она ни была, вряд ли вылилась в физическое насилие против соседей-евреев.

Погромы, как спонтанное проявление бытовой ярости, кажутся мифом – на самом деле нет никаких документальных свидетельств того, что жители города или деревни просто атаковали своих соседей-евреев и убивали их. Такого не было даже в Средние века. Еще меньше информации об инициативе населения в наше время. Что же касается организованных групп как таковых, они были эффективны лишь в тех случаях, когда являлись проводниками определенной политики и имели финансовую поддержку со стороны правительства<sup>5</sup>.

Иными словами, аргумент в пользу антиеврейского насилия в целом и уникальный случай холокоста в частности – будучи «кульминацией антиеврейских настроений», «наиболее интенсивным антисемитизмом» или же «выбросом народной ненависти к евреям» – слаб и плохо документирован в исторической и современной научной литературе. Сам по себе антисемитизм не дает никакого объяснения холокосту (в более общем смысле мы докажем, что *злонамеренность (resentment) не является удовлетворительным объяснением любого геноцида*). Если антисемитизм действительно имел место и, возможно, был необходим для замысла и осуществления холокоста, то справедливо и то, что антисемитизм архитекторов и менеджеров массового убийства должен в значительной степени отличаться от антиеврейских настроений палачей, пособников и услужливых свидетелей. В равной степени справедливо и то, что для проведения холокоста антисемитизм, каков бы он ни был, должен был бы соединиться с определенными факторами совершенно иного характера. Вместо того чтобы присматриваться к тайнам психологии, нам необходимо обнаружить социальный и политический механизм, способный производить такие дополнительные факторы, и исследовать их потенциально взрывную реакцию наряду с традициями межгруппового антагонизма.

## **Некоторые особенности отчуждения евреев**

Как только понятие «антисемитизм» возникло и вошло в оборот в конце девятнадцатого века, стало ясно, что явление, кото-

рое оно пыталось описывать, имеет солидную историю, уходящую корнями в глубокую древность. Исторические свидетельства о недобрых чувствах по отношению к евреям и об их дискриминации охватывают более двух тысячелетий. Близкое к единодушному мнению историков связывает истоки антисемитизма с разрушением Второго храма (70 год до Рождества Христова) и появлением крупной диаспоры. Хотя гораздо более интересные исследования протоантисемитских взглядов и настроений датируют начало этого явления изгнанием из Вавилона. (Провокативное и противоречивое исследование «языческого» антисемитизма было опубликовано в начале 1920-х годов советским историком Соломоном Лурье.)

Этимологически «антисемитизм» – не очень удачное понятие, поскольку оно слабо (а в целом чересчур приблизительно) определяет описываемое явление и проходит мимо настоящего предмета тех практик, которые стремится специально выделить. (Нацисты, наиболее рьяные проводники антисемитизма в известной нам истории, постепенно охладели к этому выражению, особенно во время войны, когда семантическая ясность концепции становилась политически опасной материей, ибо термин мог быть нацелен против некоторых из наиболее преданных немцам союзников.) Однако в практическом применении семантической противоречивости удавалось избежать, и термин безошибочно нацеливался на выбранную мишень. «Антисемитизм» означает неприязненное отношение к евреям. Он отсылает к такому пониманию, когда евреи рассматриваются как чужаки, недружелюбная и нежелательная группа, а также к практикам, которые происходят из такого понимания и его поддерживают.

От других примеров стойкого межгруппового антагонизма антисемитизм отличается одной важной особенностью: социальные связи, на которых могут покоиться идеи и практики антисемитизма, никогда не являются связями между двумя территориально закрепленными группами, которые вступают в конфронтацию на равных основаниях. Это, напротив, связи между большинством и меньшинством, между «населением-хозяином» и гораздо меньшей группой, которая живет среди хозяев, но при этом обособлена, и по этой причине – будучи более слабым соседом – представляет собой оппозицию «они», которая стоит отдельно от местных «мы». Объекты антисемитизма имеют, как правило, семантически нелепый, а психологически слабый статус внутренних иностранцев – они вынуждены устанавливать границы своего ареала и поддерживать их в неприкосновенности. Интенсивность антисемитизма, скорее всего, остается пропорциональной настойчивости и лихорадочности,

с которыми определяются и устанавливаются границы<sup>6</sup>. Очень часто антисемитизм был внешней реакцией на «охрану границ», эмоциональное напряжение и практические заботы, которые она вызывала.

Очевидно, что подобные уникальные черты антисемитизма были неразрывно связаны с феноменом диаспоры. Однако еврейская диаспора отличается от большинства других известных примеров миграционных и переселенческих групп. Наиболее заметной отличительной чертой еврейской диаспоры является весьма продолжительное историческое время, на протяжении которого эти «наши внутренние иностранцы» сохраняли свою обособленность – и в смысле диахронической непрерывности, и в смысле синхронической самоидентичности. В отличие от большинства других случаев переселения реакция на присутствие евреев имела достаточно времени, чтобы отстояться и оформиться в сложные ритуалы и систему самовоспроизводства, которые в дальнейшем лишь усиливали устойчивость к отчуждению. Другой характерной чертой еврейской диаспоры была широта еврейской «бездомности» – качество, общее, по-видимому, с одними лишь цыганами. Изначальная связь евреев с землей Израилевой с веками становилась все более прозрачной. Оставалась лишь духовная связь. Но даже она была оспорена «населением-хозяином», поскольку земля Израиля стала Святой землей, которую оно объявило своим собственным духовным наследием. Сколь недоброжелательным ни было бы отношение к евреям, «население-хозяин» было бы еще больше возмущено, если бы Святая земля вновь досталась тем, кого оно рассматривало в качестве незаконных претендентов.

Постоянная и безнадежная бездомность евреев была, по сути, неотъемлемой чертой их идентичности с самого начала истории их диаспоры. Этот факт был основным аргументом нацистов, им воспользовался Гитлер, чтобы доказать, что враждебность против евреев принципиально отличается от любого иного антагонизма между нациями или расами.

Как продемонстрировал Эберхард Джеке<sup>7</sup>, именно вечная и вызывающая «бездомность» ставила в глазах Гитлера евреев особняком от всех прочих наций, которые он ненавидел и мечтал поработить или уничтожить. Гитлер верил<sup>8</sup>, что, не имея своего территориального государства, евреи не могут участвовать в борьбе за власть в ее обычной форме – войны, направленной на завоевание страны, – и, таким образом, вынуждены пользоваться непорядочными, тайными и коварными методами, что делает их пугающим и грозным врагом – такому врагу нельзя угодить, его невозможно умиротворить, такого врага можно только уничтожить.

И тем не менее, в досо­временной Европе особая еврейская *ина­кость* никоим образом не мешала им становиться частью социального порядка. Участие в социальной жизни было возможным в силу сравнительно низкого уровня напряженности и конфликтов, порождаемых установлением и охраной условных границ. Кроме того, задачу облегчала сегментарная структура досо­временного общества тех лет и нормальное разделение между сегментами. В обществе, разделенном на сословия или касты, евреи были всего лишь еще одним сословием или еще одной кастой среди многих. Конкретный еврей принадлежал конкретной касте – его и касту можно было определить по специфическим привилегиям и обязанностям, которыми каста либо тяготилась, либо, напротив, приветствовала. Но то же самое относилось к любому другому члену того же самого общества. Евреи были обособлены, но государство, также обособленное от них, никоим образом не делало их уникальными. Их статус, как и статус остальных кастовых групп, имел определенную форму, был официально подтвержден и определен общими принципами, связанными с поддержанием чистоты и предупреждением загрязнений. Однако при любых изменениях эти принципы объединялись общей функцией: жизнь на безопасном расстоянии, через которое невозможно было бы перебросить мостик. Разделение групп достигалось через их физическое разграничение в пространстве (все встречи между ними тщательно контролировались и носили ритуальный характер), отдельные члены группы помечались, чтобы все видели – это чужак. Имело место и духовное разделение групп, чтобы предотвратить межгрупповые конфликты и отрегулировать культурные разногласия, которые они могли бы за собой повлечь. Веками евреи жили в обособленном квартале города и носили отличную одежду (иногда так предписывал закон – в частности, когда общинная традиция не справлялась с задачей обеспечения единообразия отличий). Однако обособления места проживания было недостаточно, так как в большинстве случаев экономические интересы гетто и общины хозяев пересекались, и это требовало их регулярных физических контактов. Территориальное разделение, таким образом, должно было устанавливаться в соответствии с тщательно продуманным ритуалом, направленным на формализацию и функциональность таких отношений, и носить характер закона. Отношения, которые не поддавались формализации и функциональности, за­прещались или, по меньшей мере, не поощрялись. Как и в большинстве кастовых ритуалов, направленных против загрязнения, с особым рвением следили за соблюдением запретов на смешанные браки, сожителство и совместные трапезы (ис-

ключение составляла абсолютно функциональная совместная коммерческая деятельность).

Важно помнить, что все эти внешне антагонистические меры в то же время представляли собой механизмы социальной интеграции. Они ликвидировали опасность того, что «иностранец внутри» незаметно вольтется в самотождественную и воспроизводящую себя местную группу. Они ставили условия, при которых было возможным сосуществование без взаимных трений. Они формулировали правила поведения, которые при ближайшем рассмотрении могли гарантировать мирное сосуществование в потенциально конфликтных и взрывных ситуациях. Как разъяснял Зиммель, институты ритуалов трансформировали конфликт в инструмент социации и социального сплавивания. Пока инструмент эффективен, принципы разделения не нуждаются в поддержке со стороны преднамеренной враждебности. Сведение коммерции до уровня ритуальных обменов товарами требует привязанности к установленным нормам и автоматической неприязни к их нарушению. Оно, несомненно, требует также, чтобы те, кто подлежит отделению, признавали свой низший статус по отношению к общине хозяев и согласились с их правом определять, устанавливать или изменять этот статус. Однако на протяжении почти всей истории еврейской диаспоры закон оставался системой предоставления и лишения привилегий, тогда как идея законного, и в особенности социального равенства была неслыханной или во всяком случае даже не рассматривалась на практике. Вплоть до начала современности отчужденность евреев была чем-то большим, чем просто примером всеобщей разделенности звеньев в предустановленной цепи бытия.

### **Несовместимость с евреями: от христианства до современности**

Естественно, это ни в коем случае не означает, что отделение евреев не отличалось от других примеров сегрегации и не осмысливалось как особый случай исключительной важности. Для просвещенных элит досовременной Европы – христианского духовенства, теологов и философов, – занятых, как и все просвещенные элиты, поиском смысла в случайности и поиском логики в спонтанности жизненного опыта, евреи казались чужаками: они бросали вызов чистоте и ясности поз-

нания и моральной гармонии вселенной. Они не принадлежали ни к еще не обращенным язычникам, ни к опальным еретикам, обитавшим на границах христианства, которые оно ревностно оберегало. Евреи, так сказать, неуклюже плюхнулись сверху на баррикаду, словно хотели испытать ее на прочность. При этом евреи были древними прародителями христианства и его ненавидимыми, отвратительными клеветниками. Их неприятие христианского учения невозможно было списать на языческое невежество, не нанеся при этом серьезного вреда самому христианству. Невозможно это было списать – даже в принципе – и на поправимую ошибку, которую совершают «заблудшие овцы». Евреи были не просто необращенными неверными, а людьми, которые, будучи в здравом рассудке, отказывались принять истину, когда им выпал такой славный шанс сделать это. Их присутствие представляло перманентный вызов самому факту существования христианства. На вызов следовало ответить или по крайней мере смягчить его – еврейское упрямство можно было объяснить лишь сознательным умыслом, дурными намерениями и моральной развращенностью. Добавим сюда фактор, который снова и снова фигурирует среди наших аргументов как один из самых заметных и конструктивных аспектов антисемитизма: евреи, так сказать, были соразмерны и одновременны (*co-terminal*) христианству. По этой причине они весьма отличались от любых других беспокойных и не желавших ассимилироваться групп христианского мира. В отличие от других еретиков, они не доставляли хлопот на уровне локального сосуществования, не казались кратким эпизодом истории, со своим началом и, очень хотелось надеяться, близким концом. Они были просто спутниками христианства, *alter ego* христианской церкви.

Сосуществование христианства и евреев не сопровождалось конфликтами и враждой. Христианство не могло воспроизводить себя и свое мировое господство, не укрепляя при этом основания для отчужденности евреев – христианство видело себя наследником и победителем Израиля. В сущности же самоопределение христианства было отчужденностью от евреев. Оно родилось из неприятия, вызванного у евреев. Оно черпало свою жизненную силу из собственного неприятия евреев. Христианство могло осмыслять свое существование только на основе активного противопоставления себя евреям. Непреклонность евреев свидетельствовала о том, что миссия христианства еще далека от завершения. Признание евреями своей ошибки, капитуляция перед христианской истиной и возможное в будущем массовое обращение

служили образом окончательного триумфа христианства. И снова, словно это было его *alter ego*, христианство возложило на евреев эсхатологическую миссию. Оно сделало евреев весьма заметными фигурами и усилила их значение. Оно наделило евреев ярким и зловещим очарованием, которым они вряд ли могли бы обладать без него.

Присутствие евреев в христианстве – на его территориях и в его истории – не было ни маргинальным, ни случайным. Евреи в значительной степени выделялись среди прочих меньшинств – это тоже был один из аспектов христианской самоидентичности. Таким образом, христианская теория о евреях пошла чуть дальше простого обобщения практики исключения. Это было больше, чем просто попытка систематизировать туманный и рассеянный опыт отличительности, который составляет практики кастового разделения и происходит из этих практик. Христианская теория о евреях не стремилась отразить историю народа, его уклад и даже конфликты с другими народами – она подчинялась другой логике: самовоспроизводство церкви и ее мировое господство. Отсюда сравнительная автономность еврейского вопроса в отношении социального, экономического и культурного опыта. Отсюда также сравнительная легкость, с какой этот вопрос отделяется от контекста повседневной жизни и становится невосприимчивым к проверке повседневным опытом. Для христиан, принимавших евреев на своей земле, они были одновременно конкретными объектами повседневных контактов и представителями особой категории, определяемой независимо от этих контактов. Последняя характеристика не была ни необходимой, ни неизбежной с точки зрения первой. Именно по этой причине она сравнительно просто отделялась от первой и становилась весьма вольно трактуемым источником действий, касающихся повседневного уклада. В церковной теории о евреях антисемитизм приобрел форму, в которой «он может существовать почти независимо от реального положения евреев в обществе... Самое поразительное заключается в том, что антисемитизм можно обнаружить среди людей, которые в глаза не видели евреев, и в странах, где евреев не было уже несколько веков»<sup>9</sup>. Эта форма оказалась весьма стойкой даже после того, как духовное влияние церкви пошло на убыль, а ее доминирование в мировоззрении ослабло. Эра современности унаследовала «еврея», который уже был надежно отделен от еврейских мужчин и женщин, населявших современные города и деревни. Успешно сыграв роль *alter ego* церкви, он был готов сыграть аналогичную роль в отношении новых, уже вполне мирских, факторов социальной интеграции.

Наиболее впечатляющий и чреватый сложными последствиями аспект концепции «еврея», сконструированной христианской церковью, заключается в его внутренней алогичности. Эта концепция свела воедино элементы, которые просто не могут существовать вместе. Вопиющая бессмысленность их объединения обозначила мифическую сущность идеи, на фоне которой эти элементы становятся потенциальной демонической силой – эта сила одновременно притягивает и отталкивает, но более всего пугает. Абстрактный еврей стал полем битвы, на котором велись бесконечные бои за самоидентичность церкви, за чистоту ее временных и пространственных границ. Он оказался семантически перегруженной сущностью, объединившим и перемешавшим значения, которым следовало бы существовать по отдельности – по этой причине «еврей» становился естественным противником любой силы, которая была направлена на поддержание и охрану границ этих значений. Абстрактный еврей оказался *visqueux*\* (по выражению Сартра), *slimy*\*\* (по выражению Мэри Дуглас) – образом, созданным для того, чтобы бросать вызов существующему порядку вещей, чтобы являться квинтэссенцией и воплощением такого рода вызова (о связи между универсальной культурной практикой проведения границ со столь же универсальным производством липкости (*sliminess*) я много писал в третьей главе книги «Культура как практика»). Созданный таким образом абстрактный еврей выполнял весьма важную функцию: он являлся наглядным воплощением кошмара, который может случиться, окажись границы под угрозой – он стал прототипом нонконформизма, ереси, аномальности и отклонения от нормы. В качестве непостижимого уму свидетельства об аномальности абстрактный еврей заведомо дискредитировал альтернативу тому порядку вещей, которому он бросал вызов – порядку, за которым стояла церковь. По этой причине абстрактный «еврей» нес послание: вот она, альтернатива этому порядку; другого порядка нет, есть только хаос и опустошение.

Я полагаю, что производство еврейской «несовместимости» как побочного продукта самоутверждения и самовоспроизводства христианской церкви было главной причиной возвышения евреев среди всех прочих *внутренних демонов Европы*, которых Норман Кон так живо описал в своем исследовании европейской «охоты на ведьм». Самое примечательное среди находок Кона (которое нашло подтверждение во множестве других работ по этой теме) – это очевидное отсутствие

---

\* Липкий, вязкий (франц.).

\*\* Липкий, вязкий (англ.).



взаимосвязи между уровнем ведьмобоязни и иррациональностью страхов, с одной стороны, и прогрессом научных знаний и общим уровнем повседневной рациональности – с другой. В действительности бурный рост современных научных методов и впечатляющие шаги в направлении рационализации повседневной жизни в первые годы современной истории совпали с самыми страшными и жестокими эпизодами «охоты на ведьм». Иррациональность мифов о колдовстве и преследование ведьм вряд ли были связаны с задержкой в развитии Разума. Но они были очень тесно связаны с уровнем беспокойств и напряженностью, которые были вызваны крушением *старого порядка* и приходом порядка современного. Старые защитные механизмы исчезли, а новые создавались крайне медленно, и было маловероятно, что они будут столь же надежны и основательны, как старые. Сложившиеся за века «отличия» игнорировались, безопасное расстояние сокращалось, чужаки высыпали из своих резерваций и селились по соседству, надежные идентичности утратили убедительность, и на них больше нельзя было полагаться. Все, что еще осталось от старых границ, требовало отчаянной защиты, вокруг новых идентичностей должны были быть построены новые границы – на этот раз в условиях всеобщего перемещения и набирающих силу перемен. Вступить в схватку с «липким», с архетипическим врагом ясных, надежных границ и идентичностей – это должно было стать главным инструментом в решении обеих задач. А поскольку задачи стояли беспрецедентные, беспрецедентным был и масштаб жестокости, потребовавшейся для их решения.

В данном исследовании утверждается, что наиболее заметной и характерной чертой абстрактного еврея являлась его вовлеченность – активная или пассивная, прямая или косвенная – в интенсивную заботу современной эры о создании и охране границ. Я полагаю, что абстрактный еврей был исторически задуман как универсальная «липкость» западного мира. Он находился по обе стороны любых баррикад, возникающих в результате конфликтов, которые разрывали западное общество на разных стадиях его развития. Сам факт, что абстрактный еврей перешагнул через такое количество разных баррикад, возведенных на всех линиях фронта, наделяет его «липкость» чрезвычайной, доселе неведомой, непомерной силой. Его многомерная неопределенность и *сама многомерность были дополнительной познавательной несовместимостью*, которая не встречалась во всех прочих (ограниченных, изолированных и функционально специализированных) «липких» категориях, порожденных пограничными конфликтами.

## По обе стороны баррикад

По причинам, которые обсуждались выше, явление антисемитизма невозможно понять, если рассматривать его как пример значительно более широкой категории национальных, религиозных или культурных антагонизмов. Не был антисемитизм и примером конфликтующих экономических интересов (хотя последнее обстоятельство часто использовалось в качестве аргумента в пользу антисемитизма в нашу современную соревновательную эпоху, которая осмысливает себя в терминах групповых интересов, замкнутых на игру с нулевой суммой) – его подпитывали исключительно эгоистические интересы его носителей. Он был примером очерчивания, а не оспаривания границ. В силу всех эти причин он не поддается объяснению в терминах локального совпадения различных факторов. Его невероятная способность служить столь различным и столь не связанным друг с другом интересам и целям уходит своими корнями в его уникальную универсальность, вневременность и внепространственность. *Он так здорово стыкуется с множеством локальных проблем, потому что каузально не связан ни с одной из них.* Приспособление абстрактного еврея к несхожим, часто взаимно противоречащим, но всегда спорным условиям обостряло его природенную непоследовательность. Это обстоятельство становилось еще одним удобным и убедительным объяснением его «демонического потенциала». Ни о какой другой социальной категории западного мира невозможно было бы сказать то, что написал Лео Пинскер о евреях в 1882 году: «Для живых еврей покойник, для местных – чужак и бродяга, для бедных и эксплуатируемых – миллионер, для патриотов – человек без родины»<sup>10</sup>. Или, что было сказано вновь в обновленной, но, по сути, оставшейся прежней версии в 1946 году: «Еврея можно было бы представить олицетворением всего того, что возмущает, внушает страх и отвращение. Он был проводником большевизма, но – и это весьма забавно – он одновременно отстаивал либеральный дух прогнившей западной демократии. С экономической точки зрения, он был и капиталистом, и социалистом. Его обвиняли в пацифизме, но по странному совпадению он был вечным подстрекателем к войнам»<sup>11</sup>. Или о чем недавно написал У. Д. Рубинштейн в качестве комментария к одной из многочисленных граней еврейской «липкости»: сочетание антисемитизма, нацеленного на еврейские массы, «с этими вариантами антисемитизма, нацеленными на еврейскую элиту, по видимому, придало европейскому антисемитизму его харак-

терную ядовитость: в то время как в других группах объектами ненависти становятся либо элиты, либо массы, в случае евреев ненавидят и тех, и других одновременно»<sup>12</sup>.

### Призматическая группа

Анна Жук из Люблинского университета недавно сделала предположение, что евреев можно рассматривать как «мобильный класс», «потому что они являются предметом эмоций, которые более высокопоставленная социальная группа обычно проецирует на низшие классы, и, наоборот, низшие слои на тех, кто расположен выше на социальной лестнице»<sup>13</sup>. Жук внимательно изучила этот парадокс в условиях Польши XVIII века и рассмотрела его как пример более общего социологического явления, имеющего огромное значение для объяснения антисемитизма. До расчленения Польши польские евреи в массе своей прислуживали аристократии и мелкопоместному дворянству. Они выполняли все виды в высшей степени непопулярных общественных функций, которые требовала от них политически и экономически господствовавшая аристократия: сбор податей, распределение сельскохозяйственной продукции – они играли роль «посредника» и в социально-психологическом смысле служили щитом для истинных хозяев страны. Евреи подходили на эту роль лучше, чем какая-либо другая категория, поскольку сами они не стремились (и не могли стремиться) к социальным преимуществам, которые могли проистекать из этой их важной роли. Неспособные соревноваться в политическом и социальном смысле со своими господами, они довольствовались чисто финансовыми преимуществами. Таким образом, они не только находились ниже на социальной лестнице по отношению к своим хозяевам, они были обречены оставаться в таком положении. Хозяева могли обращаться и обращались с ними, как со всеми прочими слугами из низших классов – испытывая к ним социальное презрение и культурную неприязнь. Образ евреев, который сложился у аристократии, не отличался от общего стереотипа тех, кто находится ниже на социальной лестнице. Наряду с крестьянами и мастеровыми евреи в глазах знати выглядели нецивилизованными, нечистыми, невежественными и алчными. Как и других простолюдинов, их держали на расстоянии. А так как, учитывая их экономическую роль, некоторых контактов невозможно было избежать, были более точно и более дотошно сформулированы законы их социального

отчуждения. И в целом отношениям с евреями уделялось значительно больше внимания, чем любым другим классовым отношениям, чтобы не оставалось ни малейшей двусмысленности и чтобы решить этот вопрос раз и навсегда.

Однако в глазах крестьян и городского населения евреи выглядели совершенно иначе. Услуги, которые они поставляли хозяевам страны и эксплуататорам трудового народа, были не просто экономическими, в них была заложена защитная функция: они изолировали аристократию и зная от народного гнева. Не достигая своей цели, гнев проливался на «посредника», и волнения прекращались. Для низших классов евреи были врагами: они были единственными эксплуататорами, которых представители этих классов видели собственными глазами. Все, с чем им приходилось сталкиваться, так это с еврейской бескомпромиссностью. Все, что они знали, так это то, что евреи – правящий класс. Неудивительно, что евреи, занимавшие столь же низкое и непривилегированное положение в обществе, как и те, кто нападал на них, становились объектом агрессии, направленной против высших слоев общества. Евреи были поставлены в «положение промежуточного звена – в качестве очень заметного, видимого звена, которое стало фокусом агрессии со стороны низших и угнетаемых классов».

По обе стороны евреи ввязались в классовую борьбу – явление, никоим образом не связанное с особым характером евреев и само по себе недостаточное, чтобы списать на него специфические особенности юдофобии. Что сделало участие евреев в классовой войне поистине уникальным, так это то обстоятельство, что *они стали объектом двух взаимно противоположных классовых антагонизмов*. Каждый из противников классового сражения воспринимал промежуточное положение евреев как участие их в битве по другую сторону баррикад. Поэтому метафора «призмы» и понятие *призматической категории* описывает эту ситуацию точнее, чем «мобильный класс». В зависимости от того, с какой стороны смотрели на евреев, они – как и все призмы – невольно давали разные картины: согласно одной из них, они были грубым и неотесанным низшим классом, согласно другой – жестокими и высокомерными правителями.

Исследование Жук было ограничено периодом, который закончился на пороге модернизации Польши. Таким образом все последствия двоякого видения, которое она столь блистательно описала, остались не проясненными. В досовременную эпоху между разными классами почти не было контактов. Следовательно, почти не было шансов, что две перспективы и два стереотипа, из которых они возникают, сойдутся в одной точке и превратятся в гремящую смесь современного антисемитизма.

Из-за скудости межклассового обмена каждый из антагонистов вел, так сказать, свою собственную «частную войну» против евреев, к которой – в особенности в случае низших классов – могла присоединиться и церковь с ее идеологическими конструкциями, имеющими поверхностное отношение к истинным причинам конфликта. (Не только во время бойни, которая произошла по наущению Петра Отшельника в местечках Рейнской области\*, местная знать, графы и епископы пытались защищать «своих евреев» от вопиюще нелепых обвинений в тех бедах, которые они якобы сами на себя накликали.)

Только с приходом современности множество логически противоречивых представлений о чужой (то есть уже подвергшейся систематическому отчуждению) еврейской «касте» были сведены воедино и окончательно перемешались между собой. Помимо всего прочего, современность подразумевает новую роль идей – поскольку государство рассчитывает на их функциональную эффективность в деле идеологической мобилизации, по причине своей ярко выраженной тенденции к единообразию (проявляющейся в практике культурных крестовых походов), своей «цивилизационной» миссии и отчетливого прозелитизма<sup>14</sup>, а также из-за попытки осуществить духовный контакт между классами, прежде находившимися на периферии, и генерирующим идеи политическим центром. Суммарным эффектом этого нового развития стало резкое увеличение масштаба и интенсивности межклассового общения. Помимо традиционных форм классовое господство приняло форму духовного наставничества и стало поставщиком идей и формул политической лояльности. Столкновение и конфронтация прежде разрозненных образов еврея было одним из его следствий. Ранее незаметная несовместимость этих образов теперь стала проблемой и бросала вызов. Как любая другая проблема стремительно модернизирующегося общества, она должна была быть «рационализирована». Противоречие следовало ликвидировать либо за счет полного отказа от уже сложившихся образов, как безнадежно несовместимых, либо путем рациональной аргументации, которая обеспечила бы новую и приемлемую базу для все той же «несовместимости».

В Европе раннего нового времени были испробованы обе стратегии. С одной стороны, вопиющая иррациональность статуса евреев была представлена как еще один пример общей абсурдности феодального устройства и предрассудков, препятст-

---

\* Речь идет о событиях 1096 года. Петр Отшельник (ум. 1115) был одним из первых идеологов крестовых походов в Святую землю.

вующий прогрессу разума. Что же касается бросавшейся в глаза «инакости» евреев и их нестандартности, то он казался неотличимым от бесчисленных примеров партикуляризма, с которыми мирился *старый порядок*, а новый порядок обязан был подорвать. Как и другие экстравагантности локального характера, его стали рассматривать главным образом как культурную проблему – то есть как особенность, которую можно и необходимо было ликвидировать методами образования. Не было недостатка в предсказаниях, что как только новомодное законное равенство распространится на евреев, их отличительность быстро испарится, а евреи – то есть евреи как свободные личности и носители гражданских прав – вскоре растворятся в новом, юридически однородном обществе.

Однако, с другой стороны, расцвет современности сопровождался процессами, направленными в совершенно противоположную сторону. Складывалось впечатление, что уже укоренившаяся несовместимость, делающая «липким» его виновника, превращающая его в семантически разрушительный и губительный фактор для прозрачной и упорядоченной реальности, имела тенденцию приспосабливаться к новым условиям и распространяться, создавая новые несовместимости. Она приобретала новые, современные измерения, а отсутствие взаимосвязи между этими измерениями оборачивалось в несовместимость особого рода – мета-несовместимость. Евреи, уже ставшие «липкими» в религиозном и классовом измерениях, были в большей степени, чем любая иная категория, уязвимы к воздействию со стороны новых конфликтов и противоречий, которые социальные потрясения модернизационной революции не переставали создавать. Для большинства членов общества наступление современности означало крушение порядка и безопасности. И вновь евреи оказались недалеко от центра деструктивного процесса. Их быстрый и непостижимый социальный прогресс и трансформация, казалось, олицетворяли опустошение, которое привнесла наступающая современность во все, что было знакомым, привычным и спокойным.

Веками евреи были надежно изолированы в местах отчасти принудительного, отчасти добровольно избранного замкнутого обитания. Теперь они вылезли из своих нор, обзавелись собственностью, сняли дома в некогда однородных христианских районах, стали частью повседневной реальности и партнерами по общению, не ограниченному ритуализованным обменом. Веками евреев было видно за милю: они носили свою сегрегацию, так сказать, на рукавах – символически и в буквальном смысле. Теперь они одевались, как все прочие, в соответствии с социальным положением, а не как члены касты. Веками евреи

были париями, и даже самый низший из христиан имел законное право смотреть на них сверху вниз. Теперь некоторые из парий заняли весьма влиятельные и престижные в социальном плане посты – с помощью ума или денег они стали силой, чей статус более не поддавался оценке с позиций ранга или происхождения. Действительно, *судьба евреев символизировала ужасающий масштаб социального потрясения и служила живым и назойливым напоминанием об эрозии старых критериев* – о том, что плавится и испаряется все, что когда-то казалось прочным и вечным. Всякий, кто оказался выведен из равновесия, испытывал страх или потерял прежнее положение, мог просто – и рационально – придать смысл своей тревоге, когда усматривал в пережитом им потрясении следы подрывной еврейской несовместимости.

Итак, евреи были вовлечены в наиболее жестокий исторический конфликт: они попали в жернова между досовременным миром и наступающей современностью. Впервые конфликт выразился в форме открытого сопротивления тех классов и слоев *старого порядка*, которые должны были быть искоренены, лишены наследства и вырваны из своих безопасных социальных ниш новым порядком, воспринимаемым ими не иначе как хаос. Когда первое антимодернистское восстание было подавлено и триумф современности уже не вызывал никакого сомнения, конфликт ушел вглубь, и его новая латентная стадия дала о себе знать в остром страхе перед пустотой, неутолимой жажде к определенности, параноидальной мифологии заговоров и фанатичном поиске всегда ускользающей идентичности. В конечном итоге современность вооружила своего врага оружием настолько изощренным, насколько это позволяло постигшее его поражение. *По иронии истории, антимодернистские фобии смогли найти для себя такие каналы и приобрести такие формы, какими их могла обеспечить только сама современность.* Внутренние демоны Европы должны были быть изгнаны при помощи изощренных технологий, за счет научно-менеджмента и власти, сконцентрированной в государстве – то есть за счет важнейших достижений современности.

Несовместимость евреев призвана была стать мерилom этого исторического акта изощренной несовместимости. Евреи оставались зримым олицетворением внутренних демонов во времена, когда экзорцизм был официально запрещен и загнан в подполье. На протяжении всей современной истории евреи были главными проводниками напряженности и страхов, которые современность объявила исчезнувшими, но при этом наделила их беспрецедентной силой и чудовищными средствами выражения.

## Современные измерения несовместимости

Богатые, но по-прежнему презренные евреи стали молниеотводом, привлечшим к себе первые разряды антимодернистской энергии. Они стали тем центром, где пересеклись неоспоримая власть денег, социальное презрение, моральное осуждение и эстетическое отвращение. Враждебность к современности, особенно в ее капиталистической форме, нуждалась в какой-то опоре. Если бы капитализм можно было как-то связать с евреями, его можно было бы считать чуждым, неестественным, недружелюбным, опасным и этически отвратительным. А эту связь было легко установить: власть денег была заперта на периферии (под презрительным именем «ростовщичество») и изнывала под гнетом порицания, исходящего от властей, пока евреи были изолированы в гетто: она переместилась в центр жизни и (под престижным именем «капитал») потребовала внимания и уважения, когда евреи появились на центральных улицах города.

Первый удар, который нанесла современность по евреям, выразился в том, что они были выбраны в качестве *первоочередной цели антимодернистского сопротивления*. Первыми современными антисемитами были глашатаи антисовременности, люди вроде Фурье, Прудона, Туссенеля – их объединяла ненависть к власти денег, капитализму, технологии и индустриальной системе. Наиболее ядовитый антисемитизм раннего индустриального общества объединился с антикапитализмом в его докапиталистической версии. Такая оппозиция наступающему капиталистическому порядку, как надеялись, могла сдерживать потоп, затормозить развитие, восстановить реальный или воображаемый «естественный» порядок, который новые денежные мешки намеревались разрушить. По причинам, кратко очерченным выше, власть денег и евреи были объединены в одно целое. Предполагаемая причинная связь, их объединившая, находила свое практическое подтверждение благодаря метафорическому соответствию, своего рода «духовному» или, если пользоваться терминологией Вебера, «избирательному родству». Капитализму, отбрасывавшему свою зловещую тень на рабочую этику мастеровых и поощрявшему независимость, было проще противостоять, если можно было связать его с чуждой и имеющей сомнительную репутацию силой. Для Фурье и Туссенеля евреи олицетворяли все, что они ненавидели в надвигающемся капитализме и расползающейся городской метрополии. Злоба, которую выплескивали на евреев, предназначалась новому, устрашающему и отвратительному общественному по-



рядку. По Прудону, еврей «по своему характеру ничего не производит, он не фермер и даже не настоящий торговец»<sup>15</sup>.

По определению, антимодернистская версия антисемитизма могла сохранять рациональную видимость и привлекательность для толпы, пока была надежда остановить приближение нового порядка и заменить его мелкобуржуазной утопией потерянного рая. И в самом деле, эта форма антисемитизма исчезла где-то в середине XIX века, когда провалилась последняя массивная атака, направленная на изменение хода истории, и пришлось, пусть и неохотно, признать победу нового порядка. Связь между властью денег и еврейским духовным складом, установленная на раннем этапе антимодернистского и мелкобуржуазного противостояния капитализму, была в дальнейшем усвоена и приобрела новые изобретательные формы. В скрытой или явной форме она продолжала составлять содержание антикапиталистического сопротивления. В истории европейского социализма она сыграла весьма заметную роль.

Карл Маркс, отец научного социализма (то есть того социализма, который ставил себе целью преодолеть капитализм и оставить его позади, а не тормозить капиталистическое развитие, того социализма, который признавал бесповоротность капиталистической трансформации и принимал ее прогрессивный характер, который обещал начать строительство нового, лучшего общества в том пункте, где капиталистическое развитие смогло обеспечить всеобщий прогресс человечества), был тем человеком, кто перевернул антикапиталистический антисемитизм и заставил его смотреть не назад, а вперед. Осуществив это, он сделал его потенциально полезным для антикапиталистической оппозиции, и произошло это в тот момент, когда последняя иллюзия, что капитализм был лишь временной болезнью, поддающейся лечению или подлежащей заклятию, была окончательно отброшена. Маркс признал избирательное родство между «духом иудаизма» и духом капитализма: оба отличались эгоизмом, торгашеством и жадной наживы. И обоих необходимо было убрать с пути, если требовалось, чтобы существование человека стало более безопасным и здоровым. У капитализма и иудаизма общая судьба. Они вместе были триумфаторами, вместе они и канут в вечность. Один не выживет без другого – стоит уничтожить одного, исчезнет и другой. Освобождение от капитализма будет означать освобождение от иудаизма, и наоборот.

Тенденция объединять иудаизм с деньгами и властью, а также с ненавистными болезнями капитализма, продолжала сохраняться внутри социалистических движений Европы, скрывшись с их поверхности. Вспышки антисемитизма часто проис-

ходили в крупнейших социалистических демократиях континента – в Германии и Австро-Венгрии. В 1874 году лидер немецких социал-демократов Август Бебель расточал похвалы злобным антисемитским учениям Карла Ойгена Дюрера – акт, который два года спустя заставил Энгельса ответить самопровозглашенному пророку немецкого социализма целой книгой. Он сделал это не для того, чтобы защитить евреев, а чтобы спасти позицию Маркса, как идеолога растущего рабочего движения. Однако во множестве случаев попытки сдержать антиеврейскую риторику в отведенных ей рамках – как дополнение к антикапиталистической позиции – не помогли, и приоритеты сменились на диаметрально противоположные: капитализм стал порождением еврейской угрозы. Поэтому последователи Августа Бланки, самозабвенного французского мученика антикапиталистической войны, ведомые его ближайшим соратником Эрнстом Гранже, прямо с баррикад Французской коммуны попали в ряды нарождающегося национал-социалистического движения. И только после возникновения нацистского движения оппозиция капитализму наконец раскололась, ее социалистическая ветвь ввязалась в бескомпромиссную борьбу с антисемитизмом, считая ее необходимым элементом в попытке остановить рост фашизма.

Если на Западе сопротивление новому индустриальному порядку исходило главным образом от городских и сельских мелких собственников, то на Востоке широкий антикапиталистический, антигородской и антилиберальный фронт был стандартной реакцией. При сохраняющемся социальном влиянии и политическом господстве земельной аристократии городские занятия рассматривались как наименее престижные. К ним относились со смесью отвращения и презрения. Все средства обогащения, за исключением удачного брака или занятия сельским хозяйством, считались недостойными для настоящего дворянина. Но даже занятие сельским хозяйством, наряду с другими формами экономической активности, традиционно оставлялось наемным служащим или передавалось лицам, стоявшим ниже по статусу и персональным качествам. В условиях, когда местные элиты равнодушно или враждебно относились к вызову, который бросала модернизация, евреи – признаваемые за культурно чуждых – были одними из немногих категорий, свободных от смертельной хватки аристократических ценностей, и поэтому могли и хотели воспользоваться возможностями, которые открыли промышленная, финансовая и технологическая революции на Западе. Однако сформированное дворянством общественное мнение встретило их инициативы весьма враждебно. На основании своего подробного исследования ин-

дустриализации в Польше XIX века (вполне типичной и для остальной Восточной Европы) Джозеф Маркус приходит к заключению, что национальные элиты, в которых господствовали дворяне, встретили появление промышленности как национальную катастрофу:

Пока еврейские предприниматели строили железные дороги, ведущий польский экономист Я. Супирский жаловался на то, что «железные дороги это бездна, в которой бесследно тонут огромные средства – все, что мы видим, это траншеи, в которых лежат рельсы». Когда евреи строили заводы, владельцы земель обвиняли их в том, что они разрушают сельское хозяйство, в котором уже давно ничего не происходило. Когда фабрики начали работать, польская литературная и социальная элита не только возненавидели их владельцев, но и жалели их: «Эти люди бросили красоты природы, свободу и радости богемы ради кошмарных заводских пейзажей, где человек становится рабом и погибает». Необходимо понимать, что общество, в котором царили подобные взгляды – которое считало материальное благополучие неважным, а прибыль недостойной, – не умело создавать предпринимательские таланты, которые требовались в эру капиталистической индустриализации. Неудивительно, что единственными двигателями промышленного прогресса в Польше были местные евреи и иностранные поселенцы.

Еврейская буржуазия тоже стала главным пропагандистом западных идей либерализма. Сформированное аристократией и католическими консерваторами общественное мнение рассматривало это, а также «западный материализм», как угрозу польской традиции и «национальному духу»<sup>16</sup>.

Местные евреи, которые на глазах ошарашенной знати превращались в еврейскую буржуазию, угрожали устоявшимся элитам с разных сторон. Они показали, что конкуренция является новой финансово-промышленной формой социальной власти – по сравнению с традиционной властью, в основе которой лежали владение землей и переходящее по наследству право назначения на должности. Они также символизировали обманчивость некогда сложившейся зависимости уровня престижа от масштаба влияния: группа слуг, к которым никто никогда не проявлял уважения, достигали высочайших позиций власти, карабкаясь по лестнице, которую они прихватили на свалке выброшенных ценностей. Для знати, желавшей сохранить свое

национальное лидерство, индустриализация представляла собой двойную угрозу – из-за того, что уже было сделано, и из-за того, кто это сделал. Экономическая инициатива евреев сочетала в себе опасность для сложившегося социального господства с ударом по всей системе социального устройства, которая поддерживала это господство и сама поддерживалась за счет этого господства. Следовательно, было просто соединить евреев с новым беспорядком и нестабильностью. Евреев считали зловещей и разрушительной силой, агентами хаоса и беспорядка – клейким веществом, которое оставляет пятна на границе между вещами, кои следует отделять одно от другого, – они сделали все иерархические лестницы ненадежными, расплавили все твердое и профанировали все святое.

Когда исходящее от евреев стремление к ассимиляции достигло пределов поглощающей способности принимающих их обществ, образованные еврейские элиты стали все более склоняться к социальному критицизму, а местные консерваторы увидели в них дестабилизирующую силу. Дэвид Биале отмечает, что с наступлением двадцатого века еврейские либералы, националисты и революционеры, которые расходились во взглядах по всем вопросам, сошлись во мнении, что европейские общества в их современной форме недружественны к евреям. Только изменив определенным образом общество или отношение евреев к нему, можно решить проблему евреев в Европе... «"Нормальность" теперь означала социальный эксперимент, утопические идеалы, которые никогда не существовали»<sup>17</sup>.

Приверженность либеральному наследию века Просвещения представляла собой еще один параметр еврейской «липкости». Как никакая другая группа, евреи были заинтересованы в идее гражданственности, которую пропагандировал либерализм. Как сказала Ханна Арендт, «В противоположность всем остальным группам статус и положение евреев определялись государством. Поскольку, однако, это государство не обладало какой-либо иной социальной реальностью, то они оказывались в социальном плане в пустоте»<sup>18</sup>. Это было справедливо в отношении евреев на протяжении всей истории до современной Европы. Евреи были *Konigjuden*, то есть собственностью и слугами короля и принца или же местных баронов, в зависимости от феодального устройства на конкретном историческом этапе. Их статус имел политические корни и был закреплен также политически. По тому же принципу все они коллективно освобождались от социальных обязанностей, они оставались вне социальной структуры, что с практической точки зрения означало полное или частичное отсутствие классовых контактов или конфликтов, определяющих их

существование. В качестве продолжения государства в средней части общества евреи были, по сути, экстерриториальны – в социальном смысле. Из-за этого они лишь могли служить обеим сторонам – как буфер в напряженных и чреватых конфликтами столкновениях между обществом и его политическими владыками, всегда принимая первые и самые болезненные удары, как только конфликты доходили до точки кипения. Если на какую защиту они и могли положиться, то только на защиту государства – именно в силу этого обстоятельства они оказались столь зависимыми от благосклонности политических владык и столь же беспомощными, когда сталкивались со злобой или алчностью государя. Инконгруэнтность их местоположения – в вакууме между государством и обществом – нашла отражение в неадекватной реакции на социальные и политические дислокации, которыми было отмечено пришествие современности. Разрушение вековой зависимости от политических правителей требовало обретения неполитического, социального базиса и, следовательно, политической автономии. Либерализм обещал именно это, делая акценты на отстаивании своих прав и свобод, которыми должна обладать свободная личность. Однако право практиковать либеральные заповеди зависело, как, впрочем, и все прочие привилегии, которые евреи имели в прошлом, от политических решений. Освобождение от государства могло даровать – так казалось – само государство. В то время как другие группы были удовлетворены защитой своих социальных правомочий от чрезмерной назойливости государства, евреи не могли получить таких прав без вторжения в них государства, готового полностью упразднить все монополии и тщательно оберегаемую иерархическую систему. Для сложившихся элит евреи были носителями разрушения – не только из-за их внезапного карьерного взлета, но и из-за коллапса безопасности, который этот взлет символизировал. П. Г. Дж. Пульцер цитирует типичные предостережения: «Самое мощное оружие иудаизма это демократия неевреев. Чтобы взорвать изнутри структуру немецких социальных ценностей, еврею нужно просто создать партию на основе просвещения и индивидуализма. Тем самым ему не надо будет лебезить, чтобы пробиться на вершину общества: вместо этого он воздействует на социальную теорию немцев, которая просто создана для того, чтобы помочь евреям занять ключевые посты»<sup>19</sup>. С другой стороны, чрезмерное увлечение евреев новыми возможностями политического протекционизма позволила местной, сделавшей саму себя буржуазии, натравить евреев на лагерь врагов социальных прав и политических свобод. Поэтому возникла

«разновидность либерального антисемитизма, смешивавшего в одну кучу евреев и дворянство и полагавшего, будто они образуют определенный финансовый союз, направленный против поднимающейся буржуазии»<sup>20</sup>.

## Ненациональная нация

Вряд ли какая-либо из черт еврейской несовместимости повлияла на форму современного антисемитизма сильнее и чье воздействие было наиболее продолжительным, чем тот факт, что евреи, по словам Арендт, были «ненациональным элементом в мире складывающихся или существующих наций»<sup>21</sup>. По самому лишь факту территориальной дисперсии и «вездесущности», евреи были интернациональной, ненациональной нацией. Повсюду они служили постоянным напоминанием об относительности и ограниченности индивидуальной самоидентичности и общинного интереса. Внутри каждой нации они были «внутренними врагами». Границы нации были слишком тесны, чтобы дать им характеристику, горизонты национальной традиции были слишком узки, чтобы разглядеть их своеобразие. *Евреи были не просто не похожи ни на какую нацию, они также не были похожи на других иностранцев.* Короче говоря, они размыли само различие между хозяевами и гостями, между местными и иностранцами. И поскольку национальность становилась главным основанием групповой самоидентичности, они стали подрывать наиболее базовые различия: различие между «нами» и «ними». Евреи были пластичными и легко приспособляющимися. Они были своего рода транспортным средством, готовым взять на борт любой презренный груз. Так, Тюссенель считал евреев носителями антифранцузского протестантского яда, тогда как Лишинг, клеветавший на «Молодую Германию»\*, обвинял евреев в контрабанде ядовитого галльского духа.

Сверхнациональные особенности евреев резко обозначились на ранней стадии процесса формирования наций – когда междинастические пограничные конфликты, вызванные или по крайней мере осложненные новыми и беспрецедентными притязани-

---

\* Группа немецких писателей, в которую входил Г. Гейне. Находилась под влиянием идей французского либерализма. В 1835 году по специальному решению сейма Германского союза издание книг авторов, входивших в эту группу, было запрещено.

ями, сделанными от имени разных национальных объединений, способствовали неучастию евреев ни в одном из локальных конфликтов и стимулировали их способность устанавливать диалог, минуя верхушку воюющих государств и невзирая на линию фронта. Способность евреев к посредничеству широко использовалась правителями, обремененными, часто против их воли, конфликтами, в которых они не видели смысла и желали положить им конец, не мечтая ни о чем, кроме компромисса, или хотя бы о режиме сосуществования, приемлемом как для их врагов, так и для их беспокойных и озабоченных идей нации подданных. В войнах, целью которых являлось достижение приемлемого режима сосуществования, евреям – как своего рода естественным интернационалистам – отводилась роль глашатаев мира и укротителей агрессии. Это само по себе похвальное качество выходило им боком, когда династические ценности превращались в ценности национальных или националистических государств: целью войны становилось уничтожение врага, патриотизм приходил на смену верности королю, а мечта о превосходстве заглушала голоса, зовущие к миру. В мире, поделенном на национальные области, не оставалось места интернационализму, каждый клочок «ничейной земли» провоцировал к агрессии. *Мир, плотно упакованный нациями и национальными государствами, не терпел ненационального вакуума. Евреи находились в таком вакууме: они и были этим вакуумом.* Их подозревали за саму способность вести переговоры: им приходилось действовать в ситуациях, когда даже санкционированные контакты осуществлялись под дулом револьвера. (Подозрение, что их собственные евреи недостаточные патриоты и не желают уничтожать врагов нации, разделялось практически всеми воюющими сторонами в Первой мировой войне.) Это качество, оборачивавшееся обвинениями в государственной измене, было не столь раздражающим по сравнению с присущим евреям неисправимым космополитизмом.

Худшие подозрения легко подтверждались известной склонностью евреев рефлексировать свой экстерриториальный статус в терминах «общечеловеческих ценностей», «человека как такового» и с помощью других, столь же демобилизующих и непатриотичных формул. На заре века национализма Генрих Лео предупреждал, что

Еврейская нация стоит особняком среди прочих наций мира, поскольку обладает поистине разъедающим и разлагающим разумом. Подобно тому, как существуют источники, превращающие любой брошенный в них предмет в камень, так и евреи, с начала времен и по сегодняшний день, превращали все, что попадало в зону их духовной активности, в абстрактное обобщение.

Евреи действительно были олицетворением чужаков по Зиммелю: всегда за пределами, даже когда находятся внутри, всегда исследуют знакомые предметы так, словно видят их впервые, задают вопросы, которые никто не задает, расспрашивают о том, чего спрашивать не принято, и опровергают все непроверяемое. От Людвиг Борне, приятеля Гейне, и Карла Крауса, пережившего падение династии Габсбургов, и до Курта Тухольски – накануне триумфа нацистов они не придавали значения тому, что считали местечковой чепухой и предрассудками, кичливо потешались над провинциальной косностью, старались расшевелить неповоротливые мозги и издевались над их мещанским вкусом. Никого с такими воззрениями не допустят в нацию, которая вполне довольна собой. Вердикт Фридриха Руса, первый в длинном ряду жалоб, которых заслуживает любое «абстрактное обобщение», удивления не вызывает:

На самом деле еврей не принадлежит стране, в которой живет, поскольку еврей из Польши не поляк, еврей из Англии не англичанин, еврей из Швеции не швед – поэтому еврей из Германии не может быть немцем, а еврей из Пруссии – пруссаком<sup>22</sup>.

Бремя «несовместимости», лежащее на евреях, не становилось легче ввиду того обстоятельства, что националистические притязания часто сами оказывались несовместимыми и взаимно противоречивыми. Как правило, у наций были свои гонители, которых они боялись, и те, кого они сами притесняли и презирали. Не многие известные нации охотно признают право других на такое же отношение, какого требуют к себе. На всем протяжении бурного и пока еще не заверщенного периода национального самоопределения «игра в нацию» была игра с нулевой суммой. Суверенитет одних становился объектом агрессии других. Права одной нации оборачивались агрессией, непримиримостью и высокомерием других.

Нигде последствия этого не были столь пугающими, как в центральной части Восточной Европы – в XIX веке это был, по сути, кипящий котел национализма, старого, но по-прежнему ненасытного, а также юного и голодного. Было невозможно согласиться с одним национализмом, чтобы не нажить врагов среди нескольких других сложившихся или быстро растущих наций. Это ставило евреев в затруднительное положение. По мнению Пульцера:

Их структура занятости, их высокие стандарты грамотности и их потребность в политической безопасности позволяли им лучше контактировать с доминирующими, «историческими» национальностями (поляками,



мадьярами, русскими), чем с бедными, крестьянскими и «неисторическими» (чехи, словаки, украинцы, литовцы). Таким образом, в Галиции и Венгрии они избавлялись от клейма «немцы», хотя это не слишком помогало им при контактах с нациями, которых поляки и мадьяры, в свою очередь, подавляли сами<sup>23</sup>.

В очень редких случаях элиты сложившихся или развивающихся наций охотно пользовались стараниями и талантами евреев, чтобы обеспечить развитие, которое вряд ли примиряло их с массами, которые воспринимались (часто против их воли) как объект национального прозелитизма и экономической модернизации. В Венгрии при Габсбургах земельная аристократия приветствовала ассимилировавшихся евреев как наиболее преданных и эффективных проводников мадьяризации в периферийных, по большей части славянских районах, которые знать рассчитывала взять под свой контроль в будущей независимой Венгрии. Таким образом евреи стали преступниками, проводившими безжалостную модернизацию застойной и отсталой крестьянской экономики. Слабые литовские элиты охотно использовали еврейский энтузиазм, чтобы предъявить свои требования правительству относительно сложного конгломерата этнических, лингвистических и религиозных общин, населявших древние земли исторической Великой Литвы, которую они собирались возродить. В целом же политические элиты ничего не имели против использования евреев на всех видах неприятных и опасных работ, которые они считали необходимыми, но неприемлемыми для себя. Как только потребность в услугах евреев теряла остроту, от них легко можно было избавиться. Когда «евреев ставили на место», это вызывало одобрение масс, которыми управляли евреи от лица элит. Так элиты, теперь уже крепко сидящие в седле, хотели подсластить пилюлю, которую собирались прописать своим массам.

Но даже элиты не могли полностью доверять евреям. В отличие от «членства» тех, кто родился в национальной общине, «членство» евреев было вопросом выбора и в принципе могло быть аннулировано «до особого распоряжения». Границы национальных образований (и тем более их территориальных владений) все еще не были закреплены и оставались предметом спора. Успокаиваться было нельзя, требовалась ежедневная бдительность. Воздвигались разделительные баррикады, и горе тем, кто использовал промежутки между ними как проходы. Вид большой группы людей, которая свободно кочевала от одной национальной твердыни к другой, должно быть, вызывал глубокое беспокойство. Она бросала вызов истине, на которой

зигдидились притязания всех наций, старых и новых, предполагаемый характер национальности, наследственность и естественность национальных элит. Недолговечная либеральная мечта об ассимиляции (и в более общем смысле – концепция еврейской проблемы как главным образом культурной проблемы, поскольку она могла быть решена путем добровольной адаптации к чужой культуре) рухнула, так как натолкнулась на несовместимость национализма и идеи свободного выбора. Как бы парадоксально это ни прозвучало, но последовательные националисты должны в конце концов возмутиться поглощающими способностями своих наций. Они могут благосклонно принимать здравицы восхищенных поклонников в честь национальных добродетелей. Такая похвала становится обязательным условием для поклонников – чем она более рьяная и громкая, тем лучше, – чтобы снискать доброжелательность своих патронов вместе со статусом клиента. Однако они вряд ли простят восхищение (даже профессиональное восхищение, имитацию, равную экстазу), которое практикуется ради получения «членства». Как мудро советует Джефф Денч всем зависимым нациям, «всеми доступными способами демонстрируйте веру в будущее, справедливость и равенство. Это часть роли. Но не ожидайте, что это произойдет в действительности»<sup>24</sup>.

Как показывает длинный список еврейских «несовместимостей», вряд ли есть хоть одна дверь, выходящая на дорогу современности, в которой евреи еще не прищемили себе пальцы. Процесс, который принес им освобождение из гетто, оставил глубокие раны. Они были тьмой мира, бившегося за прозрачность, двусмысленностью мира, мечтавшего об определенности. Они оседлали все баррикады и стали мишенью для пуль с обеих сторон. Абстрактный еврей действительно был задуман как архетипическая «липкость» современной мечты о порядке и прозрачности, как враг всякого порядка: старого, нового и, в особенности, желанного порядка.

## | Современность расизма

Важные вещи случались с евреями по дороге к современности. Они ступили на этот путь, будучи в стороне, отделенными и изолированными за каменными или воображаемыми стенами еврейских гетто. Их отчужденность была фактом жизни. Она не призывала к мобилизации чувств, не требовала сложных аргументов или бдительности – то была просто не вполне осоз-

нанная и часто неформализованная, но при этом отлично развитая привычка, достаточная для того, чтобы внушить отвращение, гарантирующее отчуждение. Все это изменилось с приходом современности, с ее разрушением узаконенных различий, лозунгами о равенстве и самым странным из новшеств – гражданством. Как пишет об этом Яков Кац:

Когда евреи жили в гетто и сразу после того, как они из него вышли, их обвиняли граждане, обладающие законным статусом, в котором евреям было отказано. Эти обвинения имели целью оправдать существующее положение дел и создать базу для низведения евреев на более низкую социальную ступеньку. Однако теперь обвинения против них выдвигали граждане, которые в качестве граждан были равны перед законом. Цель их нападок была в том, чтобы показать, что евреи недостойны легального и социального положения, которое было им предоставлено<sup>28</sup>.

На кону оказалось не просто моральное или социальное достоинство. Проблема была куда сложнее. Были задействованы ранее не применявшиеся механизмы, искусственно производившие то, что в прошлом существовало вполне естественно. В досовременные времена евреи были кастой среди каст, разрядом среди разрядов, сословием среди сословий. Их отличительность не была спорным вопросом, тому препятствовали привычные и не подвергавшиеся сомнениям практики сегрегации. С расцветом современности отдельность евреев стала проблемой. Как и все в современном мире, ее следовало производить, возвращать, рационально аргументировать, технологически планировать, администрировать и отслеживать, ею нужно было управлять. Те, кто нес ответственность за досовременные общества, могли действовать спокойно и неспешно, как будто они были своего рода лесничими: предоставленное себе самому, общество год за годом воспроизводило поколение за поколением без каких-либо видимых перемен. В современности их наследники должны были вести себя иначе. Больше ничто не могло быть принято как само собой разумеющееся. Ничто, что не было посажено, не должно расти, а то, что выросло само по себе, – вещь неправильная и, следовательно, опасная, угрожающая всему плану. Спокойствие лесничего было роскошью, теперь уже непозволительной. Вместо этого требовалось искусство садовника, вооруженного подробным планом лужайки, где обозначены ее границы, показаны гармонирующие цвета и различие между приятной гармонией и отвратительной какофонией. Также должно быть известно, какие растения согласу-

ются с планом, а какие являются сорняками и вносят хаос в спланированную гармонию; какие машины и какие яды соответствуют задаче по уничтожению сорняков и требуют планом разделения.

Отделенность евреев потеряла свою естественность, о которой в прошлом свидетельствовала территориальная сегрегация, усиленная бросающимися в глаза предупредительными знаками. Она стала безнадежно искусственной и хрупкой. То, что когда-то было аксиомой, молчаливо принимаемым допущением, теперь превратилось в истину, которую необходимо было демонстрировать и доказывать. «Суть вещей» была спрятана за явлениями, определенно ей противоречащими. Новую *естественность* теперь следовало тщательно *конструировать* и обосновывать с помощью авторитета, который сильно отличался от очевидности чувственных впечатлений. Как формулирует Патрик Жирар:

Ассимиляция евреев в окружающее общество и исчезновение социальных и религиозных различий привели к ситуации, в которой евреи и христиане не могли дифференцироваться. Став гражданином, как все прочие, и смешавшись с христианами посредством брака, еврей становился неузнаваемым. Этот факт имел особое значение для антисемитских теоретиков. Эдуард Дрюмон, автор памфлета «Еврейская Франция», писал: «Мистер Коэн, который ходит в синагогу и соблюдает кошерность, уважаемый человек. Я ничего против него не имею. Я имею против еврея, который не очевиден».

Аналогичные идеи можно найти в Германии, где евреев с ритуальными пейсами и в кафтанах презирали чуть меньше... чем их единоверцев, немецких патриотов с еврейскими взглядами, которые подражали своим христианским соотечественникам... Современный антисемитизм возник не из большого различия между группами, а, скорее, из угрозы отсутствия различий, из гомогенизации западного общества и отмены древних социальных и юридических барьеров между евреями и христианами<sup>26</sup>.

Современность привела к сглаживанию различий – по крайней мере их внешних признаков и внутреннего смысла, из которого скроены символические дистанции между разделенными группами. Когда таких различий нет, недостаточно философствовать по поводу мудрой реальности, как это делала христианская доктрина прежде, когда требовалось придать смысл фак-

тической отделенности евреев. Различия должны были быть созданы или восстановлены в прежнем виде против разъедающей силы социального и юридического равенства и межкультурного обмена.

Религиозное объяснение границы – неприятие Христа евреями – не подходило под новую задачу. Такое объяснение неизбежно предполагало возможность выхода за поле сегрегации. Пока эта граница оставалась отчетливо очерченной и хорошо обозначенной, такое объяснение себя оправдывало. Оно предоставляло необходимый элемент гибкости, который связывал судьбу людей с их предполагаемой свободой заслужить спасение или совершить грех, принять святую благодать или отказаться от нее. И оно достигало цели, не нарушая прочности границ. Однако тот же самый элемент гибкости оказался пагубным, как только практика сегрегации оказалась нерешительной и вялой для поддержания «естественности» границ – он сделал их зависимыми от человеческого самоопределения. В конечном итоге, современное мировоззрение объявляло о неограниченном потенциале образования и самосовершенствования. Все было возможно при должном усердии и доброй воле. Человек рождался как *чистая доска*, пустой кабинет, который позднее, в процессе цивилизации, следовало заполнить содержанием уравнительных и всеми разделяемых культурных идей. Парадоксально, но отнесение различий между евреями и их христианскими «хозяевами» исключительно на счет разницы между верованиями и связанными с ними ритуалами отлично вписалось в современное видение человеческой природы. Вместе с отказом от других предрассудков отказ от иудаистских суеверий и обращение в высшую веру представлялся верным и достаточным способом самосовершенствования. Этого шага следовало ожидать на пути к окончательной победе разума над невежеством.

Прочности старых границ угрожали не идеологические формулы современности (хотя они не усиливали ее), но отказ секуляризованного современного государства узаконить различные социальные практики. С ними не было никаких проблем, пока евреи (мистер Коэн у Дрюмона) сами отказывались следовать за государством в его стремлении к однообразию и оставались привязанными к своим собственным практикам социального различия. Настоящее затруднение вызвали те все более многочисленные евреи, которые приняли приглашение и обратились в новую веру либо в ее традиционной религиозной форме, либо в современной форме культурной ассимиляции. Во Франции, Германии и той части Австро-Венгрии, где доминировали немцы, вероятность того, что все евреи рано или позд-

но будут «социализированы» или сами «социализируются» в неевреев и таким образом станут культурно неразличимы и социально невидимы, была вполне реальной. В отсутствие старых привычных и законно поддерживаемых практик сегрегации ликвидация видимых знаков отличия могла приравняться лишь к стиранию самой границы.

В условиях современности сегрегация требовала современного метода построения границ. Метода, способного выдержать и нейтрализовать выравнивающее воздействие множества сил, включая образовательную силу и силу цивилизации, метода, способного создать запретную зону для педагогики и самосовершенствования, прочертить пределы потенциала развития (метода, применяемого охотно, хотя и с переменным успехом, ко всем группам, постоянно находившимся в подчиненном положении – как рабочие классы или женщины). Если требовалось спастись от атаки современного равенства, *отличительные свойства евреев должны были быть пересмотрены и положены на новый фундамент, более прочный, чем возможности культуры и самоопределения*. Как заметила Ханна Арендт, иудаизм должен быть заменен еврейскостью: «Евреи могли спастись бегством из иудаизма в обращение. От еврейскости нельзя было убежать»<sup>27</sup>.

В отличие от иудаизма еврейскость должна была быть прочнее, чем человеческая воля и созидательный потенциал человека. Она должна была располагаться на уровне естественного права (особого рода закона, который требовалось открыть, объяснить и использовать во благо человеку, но который нельзя упразднить, смягчить, и которым нельзя пренебречь – по крайней мере без ужасающих последствий). Именно о таком законе Дрюмон рассказал своим читателям анекдот: «Хотите посмотреть, как разговаривает кровь?» – спросил французский герцог одного из своих друзей. Он женился на некоей Ротшильд из Франкфурта, несмотря на слезы матери. Он позвал своего младшего сына, достал из кармана золотой луидор и показал его ребенку, глаза которого сразу же зажглись. «Видите, – продолжал герцог, – семитский инстинкт проявляется мгновенно». Чуть позже Шарль Моррас настаивал, что «кем человек является, определяет его поведение с самого начала. Иллюзия выбора, иллюзия причины могут лишь привести к личному кризису и политической катастрофе». Пренебрежение этим законом ставит под угрозу личность и общество. А вот чему учит нас Морис Барр: «Запутавшийся в пустых словах ребенок отрезан от реальности: учение Канта вырывает его с корнем из земли его предков. Избыток дипломов создает то, что мы можем назвать, вслед за Бисмарком, “дипломированным пролетариа-

## I ГЛАВА 2

том”. Это наше обвинение университетам: что происходит с их продуктом, “интеллектуалом”, – то, что он становится врагом общества»<sup>28</sup>. Продукт новообращения – будь то религиозное или культурное – не изменение, а *утрата* качества. По ту сторону новообращения таится пустота, а не другая идентичность. Новообращенный теряет свою идентичность, ничего не приобретая взамен. Человек *существует* до того, как он начал *действовать*. Ничто из того, что он делает, не может изменить его сущность. В общих чертах это и есть философская сущность расизма.

# Глава 3 I

## Современность, расизм, истребление-II

Существует парадокс в истории расизма, и в истории нацистского расизма в особенности.

В гораздо более захватывающей и более известной части этой истории расизм был эффективен в мобилизации антимодернистских настроений и страхов, и был эффективен главным образом по этой причине. Адольф Стокер, Дитрих Эккарт, Альфред Розенберг, Грегор Штрассер, Йозеф Геббельс и, по существу, любой другой пророк, теоретик и идеолог национал-социализма использовали фантом еврейской расы как ключевой инструмент, соединяющий страхи прошлых и будущих жертв модернизации, которые они выражали, с идеальным *народным (volkisch)* обществом будущего, которое они намеревались создать, чтобы предотвратить дальнейшее наступление современности. Используя глубоко укоренившийся страх социальных потрясений, которые предвещала современность, они определяли современность как власть экономики и денежных ценностей и объявили еврейские расовые характеристики ответственными за столь яростную атаку на образ жизни народа и принципы человеческого достоинства. Устранение евреев представлялось синонимом отказа от современного порядка. Этот факт указывает на досовременный характер расизма, на его естественное тяготение к антимодернистским эмоциям и его способность служить в качестве носителя подобных эмоций.

Однако, с другой стороны, в качестве концепции мира и, что более важно, в качестве эффективного инструмента политической практики расизм немислим без становления современной науки, современной технологии и современных форм государ-



ственной власти. Как таковой, расизм – исключительно современный продукт. Современность сделала расизм возможным. Она также создала потребность в расизме: эра, провозглашавшая успех единственной мерой ценности человека, нуждалась в теории атрибуции, чтобы оправдать заботу о возведении и охране границ новыми условиями, при которых пересечь границы стало легче, чем когда-либо раньше. Короче говоря, расизм это вполне современное оружие, которое было использовано для ведения досовременной или, по крайней мере, не вполне современной борьбы.

### От гетерофобии к расизму

Существует распространенное (хотя и ошибочное) мнение, что расизм представляет собой набор различных форм межгрупповой неприязни или предрассудков. Иногда расизм отделяют от других чувств или верований в силу его эмоционального накала; иногда его выделяют по причине наследственных, биологических и внекультурных референций, которые он обычно содержит, чем отличается от нерасистских форм групповой враждебности. В некоторых случаях авторы, пишущие о расизме, указывают на научные претензии, отсутствующие в составе других, нерасистских, но столь же негативных стереотипных образов чужеродных групп. Тем не менее, под каким бы углом на это мы ни смотрели, все привыкли анализировать и интерпретировать расизм с точки зрения более широкой категории предрассудков, и это правило редко нарушается.

Когда расизм все резче выделяется среди современных форм межгрупповой неприязни и демонстрирует отчетливую близость с научным духом эпохи, заметнее становится обратная тенденция – расширить понятие расизма до такой степени, чтобы оно могло охватывать все многообразие неприязни. В этом случае все виды групповых предрассудков интерпретируются как разнообразные проявления врожденных, естественных расистских склонностей. Возможно, не стоило бы слишком волноваться по поводу такой перемены мест и смотреть на нее философски, как всего лишь на вопрос об определениях, с которыми можно соглашаться или отвергать их по собственному усмотрению. Однако при ближайшем рассмотрении самоуспокоенность такого рода окажется весьма опрометчивой. В самом деле, если все виды межгрупповой неприязни и вражды являются формами проявления расизма, если тенденция держать чужаков на расстоянии и с не-

приязнью относиться к их соседству считается практически всеобщим и неизменным свойством человеческого общежития, что документально подтверждено многочисленными историческими и этнологическими исследованиями, значит, в расизме нет ничего существенно и радикально нового, что придавало бы ему столь важное значение в наше время. Он выглядел бы, как просто пьеса, поставленная по старому сценарию, хотя, вероятно, с немного обновленными диалогами. В этом случае тесная связь расизма с другими сторонами современной жизни либо сразу отвергается, либо ей не придается большого значения.

В недавнем исследовании предрассудков, впечатляющем своей эрудицией,<sup>1</sup> Пьер-Андре Тагиефф использует понятия «расизм» и «гетерофобия» как синонимы. И то и другое, утверждает он, имеют «три уровня», или три формы, отличающиеся по степени сложности. «Первичный расизм», по его мнению, универсален. Это естественная реакция на присутствие незнакомца, на любую форму человеческой жизни, чуждую и загадочную. Неизменно первой реакцией на странность бывает антипатия, которая часто ведет к агрессивности. Универсальность идет рука об руку со спонтанностью. Первичный расизм не нужно внушать или разжигать, ему не требуется теории, чтобы оправдать беспричинную ненависть – хотя иногда его могут умышленно поддерживать и использовать в качестве инструмента политической мобилизации<sup>2</sup>. В такой момент он может подняться на другой уровень сложности и превратиться во «вторичный» (или рационализированный) расизм. Такое превращение происходит, когда поддерживается (и усваивается) некая теория, дающая логическое обоснование неприязни. Отвратительный Другой представляется недоброжелательным или «объективно» вредным – в любом случае, угрожающим благополучию испытывающей неприязнь группы. К примеру, можно описывать неблагоприятную категорию людей как вступившую в сговор с силами зла, если рассуждать в терминах религии, или изображать ее в виде беспринципного экономического соперника. Выбор семантической области для создания теории о «вредности» неблагоприятного Другого, предположительно, продиктован современным видением социальной значимости, социальными противоречиями и разногласиями. Ксенофобия и, в особенности, этноцентризм (оба явления расцвели в эпоху растущего национализма, когда разделительные линии осмысливались в терминах общей истории, традиции и культуры), являются самым распространенным проявлением «вторичного расизма». И наконец, «третичный», или мистифицированный, расизм, включающий в себя два «низших» уровня, отличается использованием квазибиологического аргумента.

Трехуровневая классификация в той форме, в которой ее задумал и интерпретировал Тагиефф, представляется логически несостоятельной; если для вторичного расизма уже характерна теоретическая рефлексия первичной неприязни, тогда, по всей видимости, нет причин выделять только одну из множества возможных идеологий, которые можно использовать (и которые используются) для характеристики расизма «высшего уровня». Расизм третьего уровня больше похож на составную часть комплекта второго уровня. Вероятно, Тагиефф мог бы опровергнуть это обвинение, если бы вместо того, чтобы разделять биологические теории из-за их предположительно «мистифицированного» характера (можно до бесконечности спорить о степени мистификации всех остальных расистских теорий второго уровня), он обратил внимание на то, что в биологической аргументации делается акцент на необратимости и неизлечимости вредоносной «инаковости» Другого. Можно, безусловно, указать на то, что в наш век искусственности, пронизывающей общественный порядок, в век мнимого всемогущества образования, а также социальной инженерии, биология в целом и наследственность в частности относятся общественным сознанием к области, которая все еще закрыта для манипулирования; мы пока не знаем, что с этим делать, как с этим обращаться и как это можно изменять по нашему усмотрению. Тагиефф, однако, настаивает, что современная научно-биологическая форма расизма практически ничем «не отличается по своей природе, действию и назначению от традиционных дискурсов о дисквалифицирующем исключении»<sup>3</sup> и вместо этого сосредотачивается на уровне «бредовой паранойи», или крайней «спекулятивности», в которых он видит отличительные признаки «третичного расизма».

Я же, напротив, считаю, что *именно своей природой, образом действия и назначением расизм решительно отличается от гетерофобии*, которая вызывает (скорее на уровне ощущений, чем в практической деятельности) неловкость, дискомфорт или беспокойство всякий раз, когда люди сталкиваются с такими «особами», которых не могут понять, с которыми им трудно общаться и которые ведут себя непривычным образом. Гетерофобия представляется концентрированным проявлением общей тревоги, вызванной ощущением, что ты не можешь контролировать ситуацию и, соответственно, не можешь ни повлиять на ее развитие, ни предвидеть последствий своих действий. Гетерофобия может стать либо реалистичной, либо нереалистичной объективацией такой тревоги – но вероятно, что такая тревога всегда ищет объект, за который можно зацепиться, и, следовательно, гетерофобия является распространенным и постоянным явлением, тем более в эпоху современности, когда

случай «отсутствия контроля» становятся более частыми, и их объяснение с точки зрения бесцеремонного вмешательства враждебной группы людей становится более правдоподобным.

Я также полагаю, что *гетерофобию следует отделить от конкурентной вражды*, более специфической формы антагонизма, порожденной привычкой человека к поиску идентичности и проведению границ. В последнем случае чувства антипатии и отвращения являются скорее эмоциональными дополнениями к практике отмежевания; отмежевание само по себе требует деятельности, усилий, непрерывных действий. В первом же случае чужой – это не просто некомфортная, но совершенно отдельная категория людей, которых легко заметить и держать на нужном расстоянии, собрание людей, «коллективность» которых не является очевидной или общепризнанной; эта коллективность может быть даже оспорена, она часто скрывается или отрицается членами чуждой категории. В этом случае чужак угрожает проникнуть в родную группу и слиться с ней – чтобы этого не произошло, нужно разработать превентивные меры и строго их придерживаться. Таким образом, чужой угрожает целостности и узнаваемости чуждой группы, не лишая ее власти над территорией или свободы вести себя привычным образом, а размывая границы самой территории и сглаживая различия между привычным (правильным) и незнакомым (неправильным) образом жизни. Это тот случай, когда «враг среди нас» – в результате начинается страшная суматоха с проведением границ, что, в свою очередь, порождает мощный всплеск антагонизма и ненависти к тем, кто признан виновным или подозревается в двойной игре и сидит верхом на баррикадах.

Расизм отличается как от гетерофобии, так и от конкурентной вражды. Разница состоит не в интенсивности чувств, но в типе аргументов, которые используются для их рационального объяснения. *Расизм отличается порядком, частью которого он является и который находит ему рациональное объяснение: порядок, сочетающий стратегии архитектуры и садоводства с медицинскими стратегиями – посредством создания искусственного общественного строя, уничтожения элементов современной действительности, которые не вписываются в идеальный образ реальности и никогда не впишутся, так как не поддаются изменению.* В мире, который кичится беспрецедентной способностью улучшать условия жизни человека посредством реорганизации человеческих дел на рациональной основе, расизм служит проявлением убежденности, что существует определенная категория человеческих существ, которые, как ни старайся, не подходят к рациональному устройству жизни. В мире, который выходит за рамки дозволенного, непрерывно манипу-

лируя на научном, технологическом и культурном уровнях, расизм провозглашает, что определенные изъяны определенной категории людей невозможно устранить или исправить – они останутся за пределами реформации, и так будет всегда. В мире, заявляющем о небывалых возможностях обучения и культурного воспитания, расизм выделяет определенную категорию людей, до которых нельзя достучаться (и поэтому на них невозможно воздействовать), на которых не действуют доводы или иные средства обучения, и, следовательно, такие люди должны всегда оставаться чужими. Подведем итог: в современном мире, который стремится к самоконтролю и самоуправлению, расизм объявляет, что определенная категория людей эндемически и безнадежно не поддается контролю и невосприимчива к любым попыткам ее совершенствования. Используя медицинскую метафору, можно сказать, что мы можем закалять и придавать форму «здоровым» частям тела, но не раковой опухоли. Последнюю можно «усовершенствовать» только путем вырезания.

Следовательно, *расизм неизбежно связан со стратегией отчуждения*. Если условия позволяют, расизм требует устранить раздражающую категорию людей с территории, занятой группой, которую эта категория раздражает. Если такие условия отсутствуют, расизм требует физического уничтожения раздражающей категории. Изгнание и уничтожение – два взаимозаменяемых метода отчуждения.

Альфред Розенберг писал о евреях: «Цунц\* называет иудаизм прихотью [еврейской] души. Теперь еврей не может избавиться от этой “прихоти”, даже если примет христианство десять раз подряд, и результат этого влияния всегда будет один и тот же: безжизненность, антихристианство и материализм»<sup>4</sup>. Все, что касается религиозного влияния, относится и ко всем другим культурным вмешательствам. Евреи не поддаются исправлению. Их можно обезвредить, только если держать на расстоянии, прекратить с ними всякое общение или уничтожить.

## Расизм как форма социальной инженерии

Расизм расцветает только в контексте проектирования идеального общества и намерения воплотить этот проект в жизнь бла-

---

\* Леопольд Цунц (1794–1886) – историк еврейской культуры, один из основателей цудаики.

годаря планомерным и последовательным усилиям. В случае с холокостом в проекте стоял тысячелетний *рейх* – царство освобожденного Немецкого Духа. В этом царстве не было места ни для чего, кроме немецкого духа. Там не было места для евреев, так как евреи не поддаются духовному перевоспитанию и не способны постичь высший *Дух (Geist)* немецкого Народа (*Volk*). Эту духовную неполноценность относили на счет наследственности или особенности крови – в те времена эти материи воплощали в себе другой полюс культуры, территорию, о возделывании которой эта культура не может даже мечтать, целину, которой никогда не стать объектом садоводства. (Перспективы генной инженерии тогда еще всерьез не обсуждались.)

Нацистская революция стала опытом социальной инженерии в грандиозном масштабе. «Племенной фонд расы» был ключевым звеном в цепи технических мер. В собрании официальных оправдательных речей нацистских политиков, изданных на английском языке по инициативе Риббентропа с целью международной пропаганды и по этой причине написанных сдержанным и крайне осторожным стилем, доктор Артур Гитт, глава Управления национальной гигиены в Министерстве внутренних дел, называл «активную политику, направленную на сохранение расового здоровья» главной задачей нацистского правления и пояснял, какую стратегию следует избрать для претворения в жизнь этой политики: «Если мы будем способствовать воспроизведению здорового потомства посредством систематического отбора и уничтожения нездоровых элементов, мы сможем улучшить физические данные если не нынешнего поколения, то хотя бы тех, кто придут после нас». Гитт ничуть не сомневался, что предусматриваемые такой политикой отбор плюс уничтожение «стоят в одном ряду с общепризнанными исследованиями Коха, Листера, Пастера и других выдающихся ученых»<sup>5</sup> и, таким образом, представляют собой логическое развитие – в сущности, кульминацию – современной науки.

Доктор Вальтер Гросс, начальник Управления демографической политики и расового благосостояния, разъяснил практические аспекты расовой политики: изменить общее направление, «снизив уровень рождаемости среди низших сословий и неумеренное размножение среди физически неполноценных, умственно отсталых, слабоумных, наследственных преступников и т. п.»<sup>6</sup>. Поскольку он пишет для международной аудитории, которая вряд ли будет восхищаться решимостью нацистов, не обремененных столь иррациональными понятиями, как общественное мнение или политический плюрализм, довести современную науку и технологию до логического завершения,

Гросс не рискует предложить ничего, кроме необходимости стерилизовать потомственно неполноценных.

В действительности же расовая политика была гораздо страшнее. Вопреки предположению Гитта, нацистские лидеры не видели причин ограничивать свои заботы «теми, кто придет после нас». Они решили усовершенствовать *нынешнее* поколение. Самый простой путь к достижению этой цели пролегал через решительное устранение *Unwertes Leben* – недостойной жизни. Все средства были хороши для продвижения по этому пути. В зависимости от обстоятельств прибегали к «уничтожению», «устранению», «эвакуации» или «сокращению» (читай: истреблению). По приказу Гитлера от 1 сентября 1939 года в Бранденбурге, Хадамаре, Зонненштейне и Эйхберге были созданы центры, прикрывавшиеся двойной ложью: среди посвященных они именовались «учреждениями по применению эвтаназии», а для широкой общественности они использовали еще более лживые и расплывчатые названия: Благотворительный фонд «медицинского обеспечения» или «Транспортировка больных» – или даже завуалированный код «Т4» (от Тиргартенштрассе, 4, в Берлине, где располагался координационный центр управления убийствами)<sup>7</sup>. Приказ пришлось отменить 28 августа 1941 года, когда выдающиеся служители церкви выступили с протестом, однако нацисты и не подумали отказаться от принципа «активного управления демографическими тенденциями». Их взоры, вместе с газовыми технологиями, развитию которых способствовала кампания по применению эвтаназии, устремились на другую мишень: на евреев. Для них были избраны другие места, такие как Собибор или Чельмо.

Мишенью всегда оставалась *Unwertes Leben*. Нацисты, планировавшие создание совершенного общества – этот проект они тщательно разрабатывали и намеревались внедрить с помощью социальной инженерии, – делили человеческую жизнь на достойную и недостойную. Первую надлежало заботливо культивировать и предоставлять ей *Lebensraum*\*, вторую следовало «дистанцировать» или, если это было невозможно, – уничтожить. Обычные чужаки не являлись объектами расовой политики в строгом ее понимании: по отношению к ним можно было использовать старые проверенные стратегии, традиционно связанные с конкурентной враждой: чужаков следовало держать за тщательно охраняемыми границами. Люди с физическими и умственными недостатками представляли собой более сложный случай и требовали принятия новой, оригинальной политики: их нельзя было высе-

---

\* Жизненное пространство (нем.).

лить или посадить за забор, так как они не принадлежали ни к какой «другой расе», но при этом они также не были достойны войти в тысячелетний *рейх*. Евреи, в сущности, представляли собой аналогичный случай. Они не были расой, как другие; они были антирасой, расой, подрывавшей и отравлявшей все остальные расы, посягавшей не просто на идентичность какой-то конкретной расы, а на сам расовый порядок. (Вспомните: евреи – это «ненациональная нация», неискоренимый враг национального порядка как такового.) Розенберг с одобрением и восхищением цитировал самоуничжительный вердикт, который вынес евреям Вейнинггер\*, назвав их «невидимой клейкой паутиной мерзких грибов (плазмодий), существовавших с незапамятных времен и распространившихся по всей земле»<sup>8</sup>. Таким образом, обособление евреев представлялось лишь полумерой, промежуточным пунктом на пути к конечной цели. Эту проблему нельзя было решить, попросту очистив Германию от евреев. Даже поселившись вдали от немецких границ, евреи будут и дальше разъедать и нарушать естественную логику вселенной. Отдав своим войскам приказ сражаться за превосходство *немецкой* расы, Гитлер верил, что развязал войну ради благополучия *всех рас*, оказал услугу расово организованному человечеству.

В таком понимании социальной инженерии как научно обоснованной работы, нацеленной на установление нового, и лучшего, порядка (работы, которая неизбежно влечет за собой обособление или, что предпочтительнее, уничтожение подрывных факторов), расизм в самом деле оказался созвучным мировоззрению и практике современности. Как минимум в двух важнейших аспектах.

Во-первых. Просвещение возвело на престол новое божество – Природу и узаконило науку в качестве единственного ортодоксального культа, а ученых – в качестве его пророков и жрецов. В принципе все было открыто для объективного исследования. Все, в принципе, можно было узнать – доподлинно и обоснованно. Истина, добродетель и красота в своем первозданном виде и в таком, каком им следует быть, стали законными объектами систематического, пристального наблюдения. В свою очередь, они могли себя узаконить только через объективные знания, полученные в результате такого наблюдения. В кратком изложении наиболее убедительной и документально обоснованной истории расизма Джордж Л. Моссе пишет, что «невозможно отделить исследования природы, проводимые

---

\* Отто Вейнинггер (1880–1903) – австрийский философ еврейского происхождения. Автор книги «Пол и характер» (1902).



философиями Просвещения, от изучения нравственности и характера человека... [от] истоков... естественной науки и нравственных и эстетических идеалов предков». В той форме, которую придало ей Просвещение, научная деятельность отличалась «стремлением определить место человека в природе через наблюдения, измерения и сравнение между группами людей и животных» и «верой в единство тела и разума». Предполагалось, что последняя «находит свое осязаемое, физическое выражение, которое можно измерить и исследовать»<sup>9</sup>. Френология (способность определять характер человека по форме его черепа) и физиогномика (способность определять характер человека по чертам лица) завоевали доверие нового научного века, стали во многом его стратегией и целью. Темперамент, характер, ум, эстетические способности и даже политические взгляды человека рассматривались как данные от Природы; именно таким образом, посредством тщательного наблюдения и сравнения видимого, можно было распознать материальный «субстрат» даже самых неуловимых или скрытых духовных свойств. Материальные источники чувственных восприятий являлись ключом к тайнам Природы, знаками, которые нужно только прочесть, зашифрованными записями, код к которым предстояло взломать науке.

Расизму оставалось только выдвинуть постулат о том, что систематическое и генетически репродуцированное распределение таких материальных свойств человеческого организма несет ответственность за нравственные, эстетические или политические черты характера. Однако даже эту работу за них уже сделали почтенные и заслуженно уважаемые пионеры науки, которых редко, если вообще когда-нибудь, причисляют к светочам расизма. Изучая окружающую действительность *sine ira et studio*<sup>\*</sup>, они не могли не заметить осязаемого, материального, бесспорно «объективного» превосходства Запада над всем остальным населенным миром. Так, отец научной таксономии Линней провел разделительную черту между жителями Европы и Африки с той же скрупулезной тщательностью, с которой описывал различия между ракообразными и рыбами. Он не мог и не стал бы описывать белую расу иначе как «изобретательную, находчивую, организованную и законопослушную... Негры, наоборот, были наделены всеми отрицательными качествами, превратившими их в полную противоположность высшей расе: их окрестили ленивыми, тупыми и не способными к самоуправлению»<sup>10</sup>. Отцу «научного расизма» Гобино не потре-

---

<sup>\*</sup> Без гнева и пристрастия (лат.).

бовалось большой изобретательности, чтобы описать черную расу как обладающую низким интеллектом, но при этом повышенной чувственностью и, следовательно, животной разрушающей силой (точно как неуправляемая толпа), а белую расу – как любящую свободу, честь и все духовное<sup>11</sup>.

В 1938 году Вальтер Франк\* называл гонения на евреев сагой «немецкой науки в борьбе против мирового еврейства». С самого первого дня нацистского правления были созданы научные институты, которыми руководили выдающиеся университетские профессора биологии, истории и политологии, для изучения «еврейского вопроса» в соответствии с «международными стандартами передовой науки». Имперский институт истории новой Германии, Институт по изучению еврейского вопроса, Институт по исследованию еврейского влияния на немецкую церковную жизнь и пресловутый Институт по исследованию еврейского вопроса под руководством Розенберга были лишь немногими научными центрами, которые решали теоретические и практические вопросы еврейской политики с точки зрения применения научной методологии. В этих центрах никогда не было недостатка в квалифицированном персонале с академическими степенями. В основании их деятельности лежала идея, что

на протяжении десятилетий вся культурная жизнь более или менее находилась под влиянием биологического мышления, начало которому в середине прошлого столетия положили учения Дарвина, Менделя и Гальтона и которое затем было развито в работах Плётца, Шаллмайера, Корренса, де Фриза, Чермака, Баура, Рюдина, Фишера, Ленца и других... Было признано, что законы природы, действующие в отношении растений и животных, распространяются также и на человека...<sup>12</sup>

Во-вторых, начиная с эпохи Просвещения, современный мир отличался активным инженерным подходом к природе и к самому себе. Наукой не занимались ради нее самой, в ней видели важнейший инструмент, наделенный чудовищной силой, позволяющий его обладателю совершенствовать действительность, изменять ее в соответствии с планами и проектами человека и помогать ей идти по пути самосовершенствования. Садоводство и медицина представлялись архетипами со-

---

\* Вальтер Франк (1905–1945) – немецкий нацистский историк, специалист по «еврейскому вопросу».

зидательного отношения к действительности, а нормальность, здоровье и санитария становились главными метафорами для решения задач и управления делами человека. Человеческое существование и общежитие стали объектами планирования и администрирования; как садовые растения и живые организмы, их нельзя было предоставить самим себе, иначе они зарастут сорняками или раковыми клетками. Садоводство и медицина являлись функционально разными формами одной и той же деятельности, направленной на *отделение и обособление полезных элементов, которые должны жить и процветать, от вредных и больных, которых необходимо истребить*.

Язык и риторика Гитлера были пересыпаны образами болезни, инфекции, инвазии, гниения, эпидемии. Он сравнивал христианство и большевизм с сифилисом или чумой; он говорил о евреях как о бациллах, вредоносных бактериях или паразитах. «Открытие еврейского вируса», говорил он Гиммлеру в 1942 году, «это один из величайших переворотов в мире. Сегодня мы ведем борьбу того же сорта, что и борьба, которую в прошлом столетии развязали Пастер и Кох. Сколько болезней порождены еврейским вирусом... Только уничтожив евреев, мы восстановим наше здоровье»<sup>13</sup>. В октябре того же года Гитлер провозгласил: «Истребляя паразитов, мы оказываем человечеству услугу»<sup>14</sup>. Исполнители воли Гитлера говорили об истреблении евреев как о *Gesundung* (исцелении) Европы, *Selbstreinigung* (самоочищении), *Judensdüberung* (очищении от евреев). В статье, опубликованной 5 ноября 1941 года в *Das Reich*, Геббельс объявил эмблему со звездой Давида «санитарно-профилактической» мерой. Обособление евреев от расово чистого сообщества было «элементарным правилом расовой, национальной и социальной гигиены». Есть хорошие и плохие люди, утверждал Геббельс, так же, как есть хорошие и плохие животные. «Тот факт, что евреи до сих пор живут среди нас, не является доказательством того, что они – часть нашего общества. Точно так же блоха не может стать домашним животным только потому, что живет в доме»<sup>15</sup>. Еврейский вопрос, с точки зрения начальника пресс-центра Министерства иностранных дел, был «вопросом политической гигиены»<sup>16</sup>.

Два немецких ученых с мировыми именами, биолог Эрвин Баур и антрополог Мартин Штаммлер, точным и сухим языком науки высказали то, что лидеры нацистской Германии выражали эмоциональным и страстным языком политики:

Каждому фермеру известно – если он отведет на бойню лучшие образцы своего домашнего скота, не дав им произвести потомство, и вместо них будет разводить

низших, слабых животных, его порода безнадежно деградирует. Мы повсеместно совершаем эту ошибку, которую ни один фермер не допустит по отношению к своим животным и культивируемым растениям. В качестве расплаты за наш сегодняшний гуманизм мы должны проследить, чтобы низшие люди не производили потомство. Это можно сделать, не откладывая, при помощи простой операции, которая длится всего несколько минут... Я, как никто, одобряю новые законы о стерилизации, но я должен повторять снова и снова, что это только начало...

Вымирание и спасение – это два полюса, вокруг которых вращается совершенствование расы, два метода, с которыми нужно работать... Вымирание – это биологическое уничтожение наследственно низших индивидуумов посредством стерилизации, количественное вытеснение нездоровых и нежелательных элементов.

...Задача состоит в том, чтобы защитить людей от разрастания сорняков<sup>17</sup>.

Подведем итог: задолго до возникновения газовых камер нацисты по приказу Гитлера попытались истребить своих собственных соотечественников с психическими расстройствами или физическими недостатками, прибегнув к «убийству из сострадания» (фальшивый эвфемизм эвтаназии), и вырастить высшую расу посредством организованного оплодотворения относящихся к высшей расе женщин расово высшими мужчинами (евгеника). Как и эти попытки, убийство евреев было опытом рационального управления обществом. И систематическими попытками использовать в своих интересах позицию, философию и принципы прикладной науки.

## От неприязни к истреблению

«Христианская теология никогда не поддерживала идею истребления евреев», пишет Джордж Л. Моссе, «а скорее ратовала за исключение их из общества как живых свидетелей богоубийства. Погромы были вторичны по отношению к выселению евреев в гетто»<sup>18</sup>. «С преступлением, – утверждает Ханна Арендт, – можно справиться посредством наказания, порок же можно только искоренить»<sup>19</sup>.

Только приняв свою современную, «научную», расистскую форму, вековая ненависть к евреям нашла свое выражение в практике санации, только в своем современном воплощении ненависть к евреям позволила вменить им неискоренимые пороки и изъяны, которые нельзя отделить от их носителей. До этого евреи были грешниками; как все грешники, они непременно должны были страдать за свои грехи в земном или потустороннем чистилище – чтобы раскаяться и, может быть, даже заслужить искупление. Страдать они должны на виду, чтобы все видели последствия греха и необходимость раскаяния. Наблюдение за пороками не способно принести подобную пользу, даже если порок карается наказанием. (Если сомневаетесь, спросите у Мэри Уайтхауз\*.) Раковая опухоль, паразит или сорняк не могут раскаяться. Они не грешили, они просто жили в соответствии со своей природой. Их не за что наказывать. В силу природы своего зла их следует истребить. Наедине с собой, в своем дневнике, Йозеф Геббельс выразил эту мысль с той же предельной ясностью, которую мы ранее отмечали в исторических рассуждениях Розенберга: «Бессмысленно надеяться на то, что евреев можно вернуть в лоно цивилизованного человечества, применив к ним исключительные наказания. Они навсегда останутся евреями, так же как и мы всегда будем частью арийской расы»<sup>20</sup>. В отличие от «философа» Розенберга Геббельс, однако, был министром в правительстве, обладавшим огромной и неоспоримой властью, в правительстве, которое – благодаря достижениям современной цивилизации – могло предоставить себе возможность жить без рака, паразитов или сорняков и имело в своем распоряжении материальные ресурсы, способные превратить эту возможность в реальность.

Трудно, вероятно, даже невозможно, прийти к мысли об истреблении целого народа, не имея представления о его расовом облике; то есть не имея визуального образа эндемического и фатального недостатка, который в принципе не поддается исправлению и к тому же обладает способностью к самораспространению, если его не уничтожить. Не менее трудно, и, наверное, невозможно, прийти к такой мысли без укоренившейся практики медицины (как собственно медицины, занимающейся человеческим телом, так и метафор, связанных с медициной) с ее моделью здоровья и нормальности, стратегией исключения и хирургической технологией. Особенно трудно, и практически

---

\* По-видимому, речь идет о британской активистке Мэри Уайтхауз (1910–2001), которая в течение многих лет вела кампанию против засилья разврата на телевидении и в массмедиа.

невозможно, представить себе подобную идею отдельно от инженерного подхода к обществу, от веры в искусственность общественного порядка, институт экспертной оценки и практику научного управления обитаемой человеком средой и взаимодействием между людьми. По этим причинам *истребительский вариант антисемитизма следует рассматривать как исключительно современное явление*; то есть явление, которое могло иметь место только на продвинутой стадии современности.

Однако это не единственная связь между проектами истребления и разработками, по праву связываемыми с современной цивилизацией. Расизм, пусть даже в паре с технологическими способностями современного разума, вряд ли сумел бы совершить холокост. Для этого ему необходимо было обеспечить переход от теории к практике – а это, вероятно, означает побуждение к действию, при помощи одной лишь идейной силы, достаточного числа человеческих существ, способных справиться с широкомасштабной задачей и сохранять преданность делу до тех пор, пока задача не будет выполнена. При помощи идеологического воспитания, пропаганды или промывания мозгов расизму необходимо было внушить массам неевреев ненависть и отвращение к евреям, настолько острые, чтобы они порождали насилие всякий раз, когда еврей попадался бы на их пути.

Большинство историков считают, что этого не произошло. Несмотря на огромные ресурсы, брошенные нацистским режимом на расистскую пропаганду, нацистское воспитание и реальную угрозу террора в случае сопротивления расистским практикам, расистская программа (и ее логика) не достигла того уровня, который требовался для эмоциональной поддержки истребления. Это лишний раз доказывает *отсутствие непрерывности или естественной последовательности между гетерофобией, или конкурентной враждой, и расизмом*. Те нацистские лидеры, которые надеялись поживиться за счет распространения отвращения к евреям и таким образом заручиться народной поддержкой расистской политики истребления, вскоре вынуждены были осознать свою ошибку.

Тем не менее, даже если бы расистское воспитание оказалось более успешным (хотя это маловероятно) и желающих убивать и резать глотки было бы гораздо больше, насилие толпы оказалось бы в высшей степени неподходящей, явно устаревшей формой социальной инженерии, или исключительно современного проекта расовой гигиены. В самом деле, по утверждению Сабини и Сильвера, самый успешный – широкомасштабный и эффективный – эпизод массового насилия в Германии, направленного против евреев, печально известная «Хрустальная ночь»

была погромом, инструментом террора... типичным для давней традиции европейского антисемитизма, а не для нового нацистского порядка, не для систематического истребления европейского еврейства. Насилие толпы – примитивная и неэффективная методика истребления. Таким способом можно с успехом терроризировать население, указывать людям на их место, вероятно, даже вынуждать кого-то отказаться от своих религиозных и политических убеждений, но это никогда не было целью Гитлера в отношении евреев: он хотел только одного – уничтожить их<sup>21</sup>.

«Толпы» было слишком мало для насилия. Вид убийств и разрушений многих оттолкнул, многих вдохновил, но подавляющее большинство предпочло надеть шоры на глаза, заткнуть уши и, прежде всего, закрыть рты. Массовое уничтожение сопровождалось не взрывом эмоций, а мертвой тишиной равнодушия. Это было не всеобщее ликование, а всеобщее безразличие, которое «все туже затягивало петлю на сотнях тысячах шей»<sup>22</sup>. *Расизм – это сначала политика, а потом уж идеология. Как всякой политике, ему нужны организация, руководители и специалисты. Как любой политике, для претворения в жизнь ему требуется разделение труда и эффективная отстраненность задачи от дезорганизующих последствий импровизации и спонтанности. Ему необходимо, чтобы специалисты могли спокойно продолжать свою работу.*

Нельзя сказать, что равнодушие само по себе было равнодушным; в отношении «окончательного решения» это, безусловно, было не так. Паралич людей, которые не смогли превратиться в толпу, паралич, вызванный очарованием и страхом от демонстрации власти, именно этот паралич сопутствовал беспощадной логике, с помощью которой осуществлялось решение проблем. Выражаясь словами Лоуренса Строука, «народ, несмотря на явное неодобрение и нежелание, не выразил протест против нечеловеческих мер, когда режим еще не укрепился в своей власти, и в результате не смог помешать им довести эти меры до логического завершения»<sup>23</sup>. Очевидно, гетерофобия была настолько распространена и настолько глубоко укоренилась, что немецкий народ не протестовал против насилия, несмотря на то, что большинство не одобряло его и сохранило иммунитет против расистской идеологической обработки. Нацистам представилось немало возможностей, чтобы убедиться в последнем факте. В своем безупречно объективном описании поведения простых немцев Сара Гордон цитирует официальный отчет нацистов, в котором отчетливо выра-

жено их разочарование общественной реакцией на «Хрустальную ночь»:

Известно, что антисемитизм в современной Германии главным образом ограничивается партией и ее организациями и что существует определенная группа населения, которая не имеет ни малейшего понятия об антисемитизме и которая лишена всякого сочувствия. На следующий день после «Хрустальной ночи» такие люди тотчас бросились в еврейские лавки...

В большей степени это объясняется тем, что мы, конечно же, антисемитский народ, антисемитское государство, но, тем не менее, во всех проявлениях жизни государства и народа антисемитизм не находит своего выражения... Среди немецкого народа до сих пор существуют группы *Spiessern*\*, которые говорят о бедных евреях и не понимают антисемитского отношения немецкого народа, которые при любой возможности вступаются за евреев. Не только руководство и партия должны быть антисемитами<sup>24</sup>.

Неприязнь к насилию – в частности, к насилию зрелищному – совпадала, однако, с гораздо более благожелательным отношением к административным мерам, применяемым по отношению к евреям. Огромное число немцев поддержало активную и разрекламированную акцию, нацеленную на сегрегацию, отделение евреев и лишение их прав – эти традиционные выражения и средства гетерофобии, или конкурентной вражды. Кроме того, многие немцы приветствовали меры, представленные как наказание евреев (пока можно было делать вид, что наказывают на самом деле каких-то абстрактных евреев), как воображаемое (однако, правдоподобное) решение, позволяющее избавиться от абсолютно реальных (хоть и подсознательных) тревог и страхов перед выселением и отсутствием безопасности. Каковы бы ни были причины их удовлетворенности, они радикально отличаются от тех, что стояли за призывами к насилию в стиле Юлиуса Штрайхера как к излишне реалистичному способу расплаты за воображаемые экономические и сексуальные преступления. С точки зрения тех, кто задумал массовое убийство евреев и руководил им, евреи должны были умереть не потому, что их ненавидят (или, по крайней мере, не только поэтому); *они заслуживали смерти (и по этой причине их ненавидели), потому*

---

\* Обыватели (нем.).



что они стояли между этой несовершенной и страшной реальностью и желанным миром спокойного счастья. Как мы увидим в следующей главе, исчезновение евреев служило средством создания совершенного мира. Отсутствие евреев и составляло разницу между этим миром и несовершенным миром здесь и сейчас.

Изучая нейтральные и критические источники в дополнение к официальным отчетам, Гордон нашла документальное подтверждение широко распространенного и растущего одобрения «обыкновенных немцев» в отношении смещения евреев с постов, связанных с властью, богатством и влиянием<sup>25</sup>. Постепенное исчезновение евреев из общественной жизни либо приветствовалось, либо старательно игнорировалось. Люди не желали принимать личного участия в гонении на евреев, но при этом были готовы согласиться с действиями государства или, по крайней мере, не мешать им. «Хотя большинство немцев не были фанатичными или “параноидными” антисемитами, они были “умеренными”, “скрытыми” или пассивными антисемитами, для которых евреи стали “обезличенными”, абстрактными и враждебными существами, недостойными человеческого участия, а “еврейский вопрос” – законно оправданным вопросом государственной политики, требующим решения»<sup>26</sup>.

Эти соображения вновь подтверждают первостепенное значение другой, скорее практической, нежели идеологической, связи между истребительской формой антисемитизма и современностью. Первую связь предоставила сама идея истребления, напрямую не связанная с традиционной гетерофобией и зависящая от двух исключительно современных феноменов – расистской теории и медико-терапевтического синдрома. Но современная идея также нуждается в современных средствах исполнения. Она нашла такие средства в современной бюрократии.

Единственным адекватным решением проблем, выдвинутых расистским мировоззрением, является тотальная и бескомпромиссная изоляция патогенной и инфекционной расы – источника болезней и загрязнения – посредством полного обособления в пространстве или физического уничтожения. По своей сути это невероятно сложная, немислимая задача, ее можно выполнить только при наличии огромных ресурсов, средств их мобилизации и планового распределения, умения разбить задачу на несколько отдельных и специализированных операций и умения координировать их выполнение. Короче говоря, эта задача невыполнима без современной бюрократии. Чтобы быть действенным, современный истребительский антисемитизм должен обручиться с современной бюрократией. И в Германии так и произошло. На знаменитом совещании в

Вандзее Гейдрих говорил, что *фюрер* «одобряет», или «санкционирует», еврейскую политику, проводимую РСХА<sup>27</sup>. Оказавшись перед лицом проблем, вызванных идеей и целью, которую эта идея определяет (сам Гитлер предпочитал говорить о «прогрессе», а не о цели или задаче), бюрократическая организация под названием Главное управление имперской безопасности (РСХА) приступила к разработке практических решений. Она действовала в характерной для всех бюрократий манере: подсчитывала расходы и сопоставляла их с имеющимися ресурсами, а потом пыталась найти оптимальное сочетание. Гейдрих подчеркивал необходимость накопления практического опыта, обращал внимание на постепенность процесса и временный характер каждого этапа в рамках все еще ограниченных практических возможностей. РСХА активно искало оптимальное решение. *Фюрер* выразил свое романтическое видение мира, очищенного от неизлечимо больной расы. Все остальное было далеким от романтики, это был лишь холодный, рациональный бюрократический процесс. *Возникла убийственная смесь из типично современных амбиций социального планирования и социальной инженерии вместе с типично современной концентрацией власти, ресурсов и управленческих навыков.* На вопрос, о котором ярко пишет Гордон и который встал перед «миллионами евреев и других жертв, размышлявших о неминуемости своей смерти» – «Почему я должен умереть? Ведь я ничем не заслужил смерти?», – вероятно, самый простой ответ был бы таков – потому что вся власть сосредоточилась в руках одного человека, и так случилось, что этот человек ненавидел их «расу»<sup>28</sup>. Ненависть и власть одного человека не должны были встретиться (пока еще никто не предложил убедительной теории, доказывающей, что антисемитизм является непрямым атрибутом тоталитарного режима; или, наоборот, присутствие антисемитизма в его современной расистской форме неизбежно приводит к установлению такого режима. Клаус фон Бейме заявил в своем недавнем исследовании, что, к примеру, испанские фалангисты особенно гордились тем, что ни в одной работе Антонио Примо де Ривера нет ни единого антисемитского замечания, и даже такой «классический» фашист, как свояк Франко Серрано Суньер, объявил расизм ересью для добродетельного католика. Французский нефашист Морис Бардеш утверждал, что преследование евреев было величайшей ошибкой Гитлера и оставалось *hors du contrat fascist*<sup>\*29</sup>). Но они встретились. И могут встретиться снова.

---

\* Вне фашистского соглашения (франц.).

|  
Глядя  
вперед

История современного антисемитизма – и в гетерофобной, и в современной, расистской, форме – еще не окончена, как и история современности в целом и современного государства в частности. Процессы модернизации в наши дни, судя по всему, уходят в сторону от Европы. Хотя некое устройство для очерчивания границ было, по-видимому, необходимо при переходе к современной «садовой» культуре, а также во время наиболее драматических сдвигов в обществах, претерпевавших модернизационные изменения, избрание евреев на роль такого устройства было, по всей видимости, продиктовано превратностями европейской истории. Связь между юдофобией и европейской современностью была исторической – и, можно сказать, исторически уникальной. С другой стороны, мы отлично знаем, что культурные раздражители путешествуют относительно свободно и независимо от структурных условий, тесно связанных с местом их происхождения. Стереотипный образ еврея как нарушителя порядка, как сгустка несовместимых противоречий, разрушающего всякую идентичность и угрожающего самоопределению, давно укоренился в авторитетной европейской культуре, его экспортируют и импортируют, как и все в этой культуре, которая повсеместно считается наивысшей и солидной. Этот стереотип, как многие другие культурные концепции и понятия, можно принять в качестве средства решения местных проблем, даже если в данной местности отсутствует исторический опыт, породивший этот стереотип; даже если (или, может, особенно если) принявшие его общества не имели собственного опыта общения с евреями.

Не так давно было отмечено, что антисемитизм пережил поколения, против которых он, по-видимому, был направлен. В странах, из которых евреи полностью исчезли, антисемитизм (разумеется, как чувство, связанное с практиками, направленными не на евреев, а на другие цели) по-прежнему процветает. Еще более удивительным представляется разрыв между антиеврейскими чувствами и другими национальными, религиозными или расовыми предрассудками, с которыми, как всегда считалось, антисемитизм связан крепкими узами. Более того, антисемитские чувства сегодня также не связаны с групповыми или индивидуальными идиосинкразиями и с вызывающими тревогу нерешенными проблемами, неопределенностью и т. п. Бернд Мартин, изучавший австрийский случай «антисемитизма без евреев», ввел новый термин «*культурная седимента-*

ция» для обозначения сравнительно нового феномена: определенные (как правило, болезненные или в каком-либо ином отношении непривлекательные или постыдные) черты характера человека или модели поведения в народном сознании определяются как еврейские. Поскольку такая связь не проверена на практике, негативная культурная дефиниция и неприязнь к характерным чертам, которые она описывает, подпитывают и укрепляют друг друга<sup>30</sup>.

Однако слишком многие случаи современного антисемитизма не подпадают под объяснение с точки зрения «культурной седиментации». В нашей глобальной деревне новости распространяются быстро и повсеместно, и культура давно стала игрой без границ. *Современный антисемитизм, пожалуй, не является продуктом культурной седиментации, он скорее подвержен процессам культурной диффузии*, которая в наши дни гораздо более интенсивна, чем когда-либо в прошлом. Как и другие объекты подобной диффузии, антисемитизм, сохранив сходство со своей первоначальной формой, со временем трансформировался – обострился или усовершенствовался – с тем, чтобы приспособиться к проблемам и потребностям своего нового дома. В таких проблемах и потребностях нет недостатка во времена «неровного развития» современности с присущими ей напряженностью и травматизмом. Юдофобный стереотип предлагает уже готовое объяснение непонятных и пугающих преобразований и неизвестных ранее форм страдания. К примеру, в Японии в последние годы он приобрел небывалую популярность, превратившись в универсальный ключ к пониманию непредвиденных препятствий на пути экономической экспансии; деятельность мирового еврейства предлагается в качестве объяснения самых разнообразных событий – от завышенной стоимости иены до воображаемой угрозы выпадения радиоактивных осадков в случае ядерной аварии типа чернойбыльской<sup>31</sup>.

Норман Кон подробно описывает одну из разновидностей распространенного антисемитского стереотипа – это международный заговор евреев, направленный на разрушение всех держав, разложение всякой культуры и всех традиций и установление еврейского господства во всем мире. Это, конечно же, наиболее оскорбительная и потенциально смертоносная форма антисемитизма; под прикрытием именно этого стереотипа нацисты предприняли попытку истребления евреев. Кажется, что в современном мире многогранный образ еврейства, некогда черпавший вдохновение из многочисленных сторон еврейской несовместимости, имеет тенденцию сводиться к одному-единственному весьма прямолинейному свойству – *наднациональной элите, невидимой силе, стоящей за всеми видимыми сила-*

*ми, скрытой движущей силе, управляющей якобы стихийными и неконтролируемыми и, как правило, неудачными и неблагоприятными поворотами судьбы.*

Господствующая сейчас форма антисемитизма является продуктом теории, а не элементарного опыта; она подкреплена процессами обучения и учения, а не интеллектуально незрелыми реакциями на повседневное взаимодействие. В начале этого столетия самой распространенной разновидностью антисемитизма в богатых странах Западной Европы была концепция, направленная на обедневшие и откровенно чуждые массы еврейских иммигрантов; эта разновидность возникла из непосредственного опыта местных низших классов, которые соприкасались со странными и эксцентричными иностранцами и относились к их сбивающему с толку и дестабилизирующему присутствию с недоверием и подозрением. Элита редко разделяла их чувства, потому что не имела прямого опыта общения с говорящими на идиш приезжими и фактически не отделяла иммигрантов от остальных неуправляемых, культурно неразвитых и потенциально опасных низших классов. Пока под это не подвели теорию, которую могли предложить только интеллектуалы из среднего или высшего класса, элементарная гетерофобия масс оставалась (перефразируя известное изречение Ленина) на уровне «сознания тред-юнионов»; она вряд ли могла подняться на более высокий уровень до тех пор, пока это касалось лишь незначительного опыта общения с еврейской беднотой. Гетерофобию можно было обобщить и превратить в платформу для массовых беспорядков. Нужно было просто добавить ей личные тревоги людей и представить частные беспокойства в виде общих проблем (как было в случае британского движения Мосли\*, направленного, прежде всего, против лондонского Ист-Энда\*\*, или современного Британского национального фронта, направленного против подобных мест в Лестере и Ноттинг-Хилле, и в случае французов, избравших мишенью Марсель). Она могла сделать шаг вперед и потребовать, чтобы «всех чужеземцев отправили туда, откуда они приехали». Тем не менее никто не проложил дорогу, ведущую от такой гетерофобии или даже массовой озабоченности в отношении проведения границ – в какой-то степени «частного дела» низ-

---

\* Освальд Мосли (1896–1980) – британский националист, основавший в 1932 году Британский союз фашистов, а в 1947 году – Юнионистское движение. Выступал за репатриацию из Великобритании всех иммигрантов.

\*\* Восточная часть Лондона, где исторически проживали немущие слои и иммигранты.

ших классов – к изощренным антисемитским теориям, подтверждающим глобальные амбиции смертоносной расы, или «мировой заговор». Такие теории не способны завладеть воображением народа, так как ссылаются на факты, как правило, неизвестные и недоступные массам и, безусловно, находящиеся вне их повседневных и непосредственных реалий.

Основываясь на проведенном анализе, мы, однако, пришли к заключению, что истинная роль изощренных теоретических форм антисемитизма заключается не столько в способности возбуждать антагонизм в массах, сколько в уникальной связи с конструкциями социальной инженерии и амбициями современного государства (или, точнее, с экстремистскими и радикальными вариантами таких амбиций). В свете современных тенденций, направленных на отстранение западного государства от прямого управления многими областями ранее контролируемой общественной жизни и на структуру общественной жизни, построенную на плюрализме и рыночной экономике, представляется маловероятным, что это государство сможет вновь использовать расистскую форму антисемитизма в качестве инструмента широкомасштабного проекта социальной инженерии. Точнее, в обозримом будущем; постмодернистские, ориентированные на потребителя и сконцентрированные на рынке условия западных обществ строятся на хрупком фундаменте исключительного экономического превосходства, которое пока обеспечивает непомерную долю мировых запасов, но которое не может длиться вечно. Можно предположить, что в недалеком будущем вполне могут возникнуть ситуации, когда государству придется взять в свои руки социальное управление обществом – и тогда укоренившаяся и проверенная временем расистская позиция может снова пригодиться. А пока в различных, не столь радикальных ситуациях можно использовать нерасистские, менее драматичные разновидности юдофобии в качестве средства политической пропаганды и мобилизации.

Сегодня евреи массово поднимаются к верхушке среднего класса и, следовательно, находятся вне досягаемости прямого опыта масс, поэтому клановый антагонизм, порожденный вновь спровоцированной озабоченностью в отношении проведения и сохранения границ, в большинстве западных стран сегодня концентрируется на рабочих-иммигрантах. Некоторые политические силы стремятся поживиться на этой озабоченности. Они часто говорят на языке, созданном современным расизмом, приводя доводы в пользу сегрегации и физического отделения: этот лозунг с успехом использовали нацисты на своем пути к власти в качестве средства, обеспечивающего им поддержку их собственных расистских намерений со стороны аг-

рессивной враждебности масс. Во всех странах, которые в период послевоенного восстановления хозяйства привлекали в больших количествах рабочих-иммигрантов, популярная пресса и политики-популисты служат источником бесчисленных примеров нового использования современного расистского языка. Жерар Фуш, а также Пьер Жув и Али Магуди<sup>32</sup> недавно опубликовали огромное собрание и убедительный анализ такого использования. Можно прочитать журнал «Фигаро» за 26 октября 1985 года, посвященный вопросу «Будем ли мы по-прежнему французами через тридцать лет?», а также премьер-министру Жаку Шираку, говорящему о решимости правительства неустанно бороться за усиление личной безопасности и идентичности французского национального сообщества. Британскому читателю, конечно же, нет нужды обращаться к французским авторам в поисках квазирасистского, сегрегационистского языка, который служит мобилизации народной гетерофобии и опасений в отношении прочности границ.

Тем не менее, какими бы гнусными они ни были, какой бы вместительный источник потенциального насилия ни несли они в себе, гетерофобия и тревоги за прочность границ не ведут – прямо или косвенно – к геноциду. *Смешивание гетерофобии с расизмом и организованным преступлением, наподобие холокоста, вводит в заблуждение и несет в себе потенциальную опасность, поскольку отвлекает внимание от истинных причин катастрофы, которые кроются в некоторых аспектах современного менталитета и современного общественного устройства, а не в реакции на чужаков или в менее универсальных, хотя и повсеместных конфликтах, связанных с национальной индивидуальностью.* Традиционная гетерофобия сыграла всего лишь вспомогательную роль в инициации и увековечивании холокоста. *Возможность возникновения холокоста кроется в определенных универсальных свойствах современной цивилизации: но его осуществление было связано со специфическими и совсем не универсальными взаимоотношениями между государством и обществом.* Следующая глава посвящена более детальному изучению этих связей.

# Глава 4 |

## Уникальность и нормальность холокоста

*«До тех пор зло – нужно ведь дать какое-то название этому поразительному стечению обстоятельств, неожиданных только с первого взгляда – проникало постепенно, молча, казалось бы, мелкими, безобидными шажками... Тем не менее, оглядываясь назад и анализируя события в ретроспективе, кажется очевидным, что скопление знаков не было случайным происшествием, а скорее обладало, так сказать, собственной динамикой, пока еще тайной, словно подводная река, которая разбухает и раздается вширь, пока внезапно и стремительно не вырвется на поверхность; нужно только оглянуться назад, вспомнить то время, когда появились первые зловещие знаки, и составить диаграмму, нарисовать клиническую картину его непреодолимого подъема».*

Хуан Гойтисоло  
«Пейзаж после битвы»

«Вам станет лучше, если я смогу доказать, что все злоумышленники – сумасшедшие?» – спрашивает великий историк холокоста Рауль Хильберг. Однако именно это он и не способен доказать. Истины, которые он предлагает, не приносят успокоения. От них никому не становится лучше. «Они были образованными людьми своего времени. В этом мы найдем основную проблему, если станем размышлять о значении западной цивилизации после Освенцима. Наша эволюция опередила наше понимание, мы больше не можем утверждать, что полностью понимаем действия наших общественных учреждений, бюрократических структур или технологии»<sup>1</sup>.



Да, это, безусловно, плохая новость для философов, социологов, теологов и всех прочих ученых мужей и жен, для которых понимание и объяснение являются профессиональной деятельностью. Выводы, к которым пришел Хильберг, означают, что они плохо делают свою работу; они не могут объяснить, что случилось и почему, и не могут помочь нам это понять. Ученым плохо от такого обвинения (оно лишает их покоя и может даже отбросить их, как они говорят, назад к чертежной доске), но само по себе это обвинение не служит причиной для общественной тревоги. В конце концов, в прошлом было много других важных событий, которые мы тоже до конца не понимаем. Иногда это нас раздражает, но по большей части, однако, нас это не особенно волнует. В конце концов – так мы себя успокаиваем – эти прошлые события представляют лишь *академический интерес*.

Но так ли это? Не холокост нам сложно постичь во всей его чудовищности. *Мы не можем постичь нашу западную цивилизацию, допустившую появление холокоста* – и это в то время, когда нам кажется, что мы к ней привыкли, видим насквозь ее самые сокровенные побуждения и даже планы на будущее, и в период ее повсеместной, беспрецедентной культурной экспансии. Если Хильберг прав и наши самые ключевые общественные учреждения находятся вне нашего ментального и практического понимания, тогда беспокоиться следует не только профессиональным академикам. Да, холокост был почти полвека назад. Да, его непосредственные последствия быстро уходят в прошлое. Почти все поколение, испытавшее его на себе, уже умерло. Но – и это ужасное, зловещее «но» – эти некогда знакомые черты нашей цивилизации, которые холокост снова сделал загадочными, все еще являются частью нашей жизни. Они никуда не исчезли. Как, следовательно, и *возможность холокоста*.

Мы отмахиваемся от этой возможности. Мы не воспринимаем всерьез нескольких одержимых, возмущенных нашим спокойствием. Мы придумали им особое насмешливое прозвище – «пророки несчастья». От их страдальческих предупреждений легко отмахиваться. Разве мы и так не начеку? Разве мы не осуждаем насилие, безнравственность, жестокость? Разве мы не используем всю свою изобретательность, все свои постоянно растущие ресурсы для борьбы с ними? И к тому же, разве хоть что-нибудь в нашей жизни указывает на пусть даже малейшую возможность катастрофы? Жизнь становится лучше и спокойнее. В целом наши институты, похоже, справляются. От врагов мы надежно защищены, а друзья, конечно же, не сделают ничего гнусного. Время от времени мы узнаем о зверствах, которые творят некоторые не совсем цивилизованные и поэтому духов-

но далекие народы со своими такими же варварскими соседями. Эве устроили резню и уничтожили миллион игбо\*, обозвав их сначала паразитами, преступниками, хапугами и недочеловеками без своей культуры<sup>2</sup>; иракцы травят газом своих соотечественников курдов, не удосужившись даже хоть как-то их обозвать; тамилы вырезают сингальцев; эфиопы истребляют эритрейцев; угандийцы истребляют сами себя. Разумеется, все это печально, но какое это имеет отношение к нам? Если это что-то и доказывает, то только одно – как плохо быть не такими, как мы, и как хорошо находиться в безопасности, под защитой нашей высшей цивилизации.

Наша самоуспокоенность может плохо кончиться, и это становится очевидным, стоит только вспомнить, что в 1941 году холокоста еще никто не ожидал; что, учитывая дошедшие до нас «обстоятельства дела», его и не могли ожидать; и когда он все-таки произошел всего год спустя, то вызвал всеобщее недоумение. Люди отказывались верить фактам, которые видели собственными глазами. При этом они не были тупыми или недоброжелательными. Просто раньше они не знали ничего, что могло бы их к этому подготовить. Все их прошлые знания и убеждения кричали – массовое убийство, которому они тогда еще даже не придумали названия, просто невозможно вообразить. В 1988 году снова происходит невообразимое. Однако в 1988 году мы знаем то, чего не знали в 1941-м; *невообразимое тоже нужно себе вообразить.*

## I Проблема

Холокост, в отличие от многих других тем научного исследования, нельзя рассматривать как представляющий исключительно академический интерес по двум причинам. И по этим же причинам холокост нельзя свести к предмету исторического исследования и философского созерцания.

Первая причина заключается в том, что холокост, даже «будучи важным историческим событием – сродни Французской революции, открытию Америки или изобретению колеса, – изменившим последующий ход истории»<sup>3</sup>, безусловно, мало, если вообще изменил в последующем ходе истории наше коллективное сознание и самопонимание. Он почти не оказал влияния на наше представление о смысле и исторической тенденции сов-

---

\* Речь идет об этнических конфликтах, происходивших в Нигерии в 1966 году.

ременной цивилизации. Он практически не затронул общественные науки в целом и социологию в частности, за исключением все еще пограничных областей специальных исследований и некоторых темных и зловещих предупреждений об ужасных тенденциях современности. Оба этих исключения находятся на большой дистанции от канонов социологической практики. По этим причинам мы почти не продвинулись в понимании факторов и механизмов, которые однажды привели к холокосту. А понимая не больше, чем полвека назад, мы можем снова оказаться неготовыми заметить и расшифровать предупредительные знаки – даже если сейчас они, как тогда, будут бросаться в глаза.

Вторая причина заключается в следующем: чтобы там ни случилось с «ходом истории», но с теми продуктами истории, которые, по всей вероятности, содержали в себе возможность холокоста, не произошло ровным счетом ничего – во всяком случае мы не можем быть уверенными в обратном. Насколько нам известно (или скорее неизвестно), они все еще могут находиться среди нас, дожидаясь своего шанса. Мы можем только подозревать, что условия, некогда породившие холокост, не претерпели радикальных изменений. Если в нашем общественном порядке было нечто, позволившее появиться холокосту в 1941 году, мы не можем быть уверены, что это «нечто» теперь уничтожено. Все больше прославленных и уважаемых ученых предупреждают нас, что нам не следует успокаиваться.

Идеология и система, породившие [Освенцим], остались нетронутыми. Это означает, что национальное государство само по себе не поддается контролю и способно запустить в действие акты социального каннибализма в невиданном масштабе. Если его не сдерживать, оно раздует пламя, которое поглотит всю цивилизацию. Оно не может выполнить гуманитарную миссию; его злоупотребления не могут остановить юридические и моральные кодексы, у него нет совести (Генри Л. Файнгольд)<sup>4</sup>.

Многие черты современного «цивилизованного» общества поощряют к легкому совершению геноцида и холокостов...

Суверенное территориальное государство требует – в качестве неотъемлемой части своего суверенитета – права на геноцид или проводит геноцид в отношении людей, находящихся под его властью, и... ООН из практических соображений защищает такое право (Лео Купер)<sup>5</sup>.

В определенных пределах, установленных из соображений политической и военной власти, современное государство может делать все что угодно с теми, кто находится под его контролем. Не существует морально-этической границы, через которую государство не может переступить, если захочет, потому что не существует морально-этической власти выше государства. В вопросах этики и морали положение отдельного человека в современном государстве в принципе почти не отличается от положения узника в Освенциме: либо ты ведешь себя в соответствии с господствующими нормами поведения, навязанными властью, либо рискуешь испытать на себе наказание, которое она может придумать...

Современное существование все больше и больше пользуется теми принципами, которые управляли жизнью и смертью в Освенциме. (Джордж М. Крен и Леон Рапопорт)<sup>6</sup>.

Переполюсь чувствами, которые не могут не возникнуть даже после поверхностного чтения свидетельств о холокосте, некоторые из процитированных авторов часто преувеличивают. Отдельные высказывания кажутся попросту немислимыми – и, безусловно, несут в себе оттенки неоправданной паники. Они могут даже привести к обратным результатам; если все, что мы знаем, похоже на Освенцим, тогда можно жить с Освенцимом, и во многих случаях жить относительно хорошо. Если нашей жизнью и смертью управляют те же принципы, что и в Освенциме, тогда к чему были все эти крики и стенания? Несомненно, можно дать хороший совет противостоять искушению использовать нечеловеческий образ холокоста, заставляя его служить фанатичному отношению к более крупным или более мелким, но в целом обычным и повседневным человеческим конфликтам. Массовое уничтожение было крайней формой антагонизма и угнетения, однако не все случаи угнетения, общинной ненависти и несправедливости сродни холокосту. Очевидное и, следовательно, поверхностное сходство является плохим руководством для анализа причин. Вопреки предположениям Крена и Рапопорта, необходимость выбора между конформизмом и непокорностью не обязательно означает, что вы живете в Освенциме, и принципы, проповедуемые и практикуемые современными государствами, не превращают их граждан в жертв холокоста.

Истинная причина для беспокойства, несостоятельность которой не так просто доказать, которую нельзя объяснить естественным, хотя и вводящим в заблуждение итогом постхолокостной травмы, заключается в другом. Ее можно сформулировать, основываясь на двух связанных фактах.

Во-первых, мыслительные процессы, которые по своей собственной внутренней логике могут привести к проектам геноцида, и технические ресурсы, позволяющие осуществление таких проектов, как оказалось, не только полностью совместимы с современной цивилизацией, но также обусловлены, созданы и обеспечены ею. Холокост не просто избежал столкновения с социальными нормами и институтами современности. Именно эти нормы и институты сделали холокост реальным. Без современной цивилизации и ее важнейших ключевых достижений не было бы холокоста.

Во-вторых, все эти запутанные сети проверок и балансов, барьеров и преград, воздвигнутых в процессе цивилизации, которые, как мы надеемся и верим, защитят нас от насилия и станут надежным заслоном от непомерных амбиций и безнравственных сил, оказались неэффективными. Когда дело дошло до массового убийства, жертвы оказались в одиночестве. Их не только одурачило внешне миролюбивое и гуманное, правовое и организованное общество – их собственное чувство безопасности стало главным фактором их гибели.

Откровенно говоря, у нас есть причины для беспокойства, потому что теперь мы знаем – *мы живем в обществе, которое сделало холокост возможным и в котором не было ничего, что могло бы помешать совершению холокоста.* По одним только этим причинам необходимо изучать уроки холокоста. Такое изучение необходимо не только для того, чтобы отдать дань памяти миллионам погибших, свести счеты с убийцами и залечить все еще кровоточащие душевные раны пассивных и молчаливых свидетелей.

Безусловно, само по себе изучение, даже самое тщательное, не может служить достаточной гарантией того, что больше не будет ни массовых убийств, ни беспомощных наблюдателей. Однако без такого изучения мы даже не узнаем, насколько вероятно или невероятно их повторное появление.

## | Исключительный геноцид

Массовое убийство – не современное изобретение. Истории известно множество случаев общинной и сектантской вражды, всегда взаимно разрушительной и потенциально деструктивной, часто выливающейся в неприкрытое насилие, иногда ведущей к массовой бойне и в некоторых случаях приводящей к истреблению целого народа и культуры. На первый взгляд, этот

факт отрицает уникальность холокоста. В частности, этот факт, казалось бы, отрицает наличие тесной связи между холокостом и современностью, «избирательного родства» между холокостом и современной цивилизацией. Вместо этого он предполагает, что кровожадная общинная ненависть всегда была с нами, и, по-видимому, мы никогда от нее не избавимся; и единственное значение современности в этом отношении заключается в том, что, вопреки обещаниям и всеобщим ожиданиям, она не сгладила острые углы человеческого сосуществования и, соответственно, не положила конец нечеловеческому отношению человека к человеку. Современность не выполнила своего обещания. Современность потерпела крах. Но современность не несет ответственности за ведущий к холокосту геноцид, сопровождавший историю человечества с самого начала.

Однако не этот урок следует извлечь из опыта холокоста. Холокост, бесспорно, был еще одним эпизодом в длинной череде неудавшихся попыток массового убийства и почти в столь же длинной череде попыток, достигших своей цели. Холокосту также присущи отдельные характерные черты, которые отсутствуют во всех других прошлых случаях геноцида. Именно эти черты и заслуживают особого внимания. В них отчетливо проступают явные современные признаки. Их наличие наталкивает на мысль, что современность внесла непосредственный вклад в совершение холокоста, а не только по причине собственной слабости и недомыслия. Наличие этих характерных особенностей предполагает, что роль современной цивилизации в совершении холокоста была активной, а отнюдь не пассивной. Оно предполагает, что холокост был в равной степени продуктом и неудачей современной цивилизации. Как и все остальное, что делается с использованием современных – рациональных, спланированных, научных, квалифицированных, эффективно управляемых, скоординированных – методов, холокост превзошел и посрамил все свои предположительно досовременные эквиваленты, которые по сравнению с ним кажутся примитивными, расточительными и неэффективными. Как и все в нашем современном обществе, холокост был во всех отношениях высшим достижением, если оценивать его по стандартам, которые учредило и проповедует это общество. Он по всем параметрам превосходит все прошлые эпизоды геноцида точно так же, как современный промышленный завод превосходит ремесленную мастерскую или современная индустриальная ферма со своими тракторами, комбайнами и пестицидами превосходит крестьянское хозяйство с лошадью, тяпкой и прополкой вручную.

9 ноября 1938 года в Германии произошло событие, которое вошло в историю под названием «Хрустальная ночь». Неуправ-

ляемая, хотя и поощряемая и тайно контролируемая властью толпа громила еврейские магазины, синагоги и дома; их ломали, жгли, оскверняли. Около ста человек лишились жизни. «Хрустальная ночь» была всего лишь широкомасштабным погромом, который произошел на улицах Германии во время холокоста. Это был также один из эпизодов холокоста, следовавший укоренившейся вековой традиции антиеврейского насилия толпы. Он не особенно отличался от погромов прошлого; он практически не выделяется среди длинной череды массового насилия, тянущейся от древних времен, через Средние века и до все еще в значительной степени несовременной России, Польши или Румынии. Если бы отношение нацистов к евреям ограничилось только «Хрустальной ночью» и аналогичными явлениями, маловероятно, что оно стало бы более, чем дополнительным параграфом, максимум – главой в многотомной хронике, ведущей счет вышедшим из-под контроля эмоциям, сумеречным состояниям, толпам линчевателей, солдатам, которые грабят и насилюют побежденные города. Этого, однако, не произошло.

И не произошло по простой причине: невозможно задумать и совершить массовое убийство в масштабах холокоста, прибегая только лишь к «Хрустальной ночи», сколько бы ни было таких «ночей».

Задумайтесь о цифрах. Государство Германия уничтожило приблизительно шесть миллионов евреев. Если убивать по сто человек в день, потребуется почти 200 лет. Насилие, совершаемое толпой, покоится на шаткой психологической основе, на сильных эмоциях. Манипулируя людьми, их можно привести в состояние ярости, но невозможно поддерживать ярость в течение 200 лет. У эмоций и их биологической основы существует естественный временной предел; страсть, даже жажда крови, в конце концов утоляется. Кроме того, общеизвестно, что эмоции весьма непостоянны, их можно направить в другое русло. Нельзя надеяться на толпу линчевателей, иногда в ней может проснуться сочувствие – скажем, при виде страданий ребенка. Чтобы стереть с лица земли целую «расу», нужно убивать детей.

Основательное, полное, всеобъемлющее убийство требовало заменить толпу бюрократией, заменить общую ярость подчинением власти. Правильная бюрократия добьется результата – и неважно, кто войдет в ее состав, ярые или умеренные антисемиты, – значительно расширив запас потенциальных рекрутов; она будет управлять действиями своих членов не с помощью разжигания страстей, а с помощью организованного порядка; она проведет лишь те различия, которые

предписаны, а не те, которые могут провести ее члены, основываясь на чувствах, – различия, скажем, между детьми и взрослыми, учеными и ворами, невинными и виновными; она будет выполнять волю высшей власти через иерархию ответственности – какой бы ни была эта воля<sup>7</sup>.

Ярость и гнев – жалкие, примитивные и неэффективные средства массового уничтожения. Они, как правило, улечиваются, не доведя дело до конца. Нельзя строить на них серьезные проекты. Тем более такие проекты, которые нацелены не на сиюминутные результаты, как волна террора, свержение старого порядка, подготовка почвы для нового правления. Чингисхану и Петру Отшельнику не нужны были современная технология и современные научные методы управления и координации. А Сталину или Гитлеру – нужны. Наше современное рациональное общество дискредитировало и низвергло таких авантюристов и дилетантов, как Чингисхан и Петр Отшельник. И вымостило дорогу для таких опытных профессионалов расчетливого, обстоятельного и систематического геноцида, как Сталин и Гитлер.

Очевидно, что современные случаи геноцида выделяются одними лишь своими масштабами. В период правления Гитлера и Сталина за короткое время было уничтожено огромное число людей. Других подобных примеров история не знает. Тем не менее это не единственное новшество, вероятно, даже не главное – всего лишь побочный продукт других, более конструктивных характерных черт. Современное массовое убийство отличается полным отсутствием спонтанности, с одной стороны, и главенствующим положением рационального обстоятельного расчета, с другой стороны. Оно выделяется практически полным устранением непредвиденных обстоятельств и случайностей и независимостью от клановых эмоций и личных мотивов. Оно стоит особняком в силу мнимой или маргинальной – замаскированной или декоративной – роли идеологической мобилизации. Но прежде всего оно выделяется своей целью.

Существует множество самых разнообразных мотивов убийства в целом и мотивов массового убийства в частности – от чистого хладнокровного расчета на конкурентное преимущество – до не менее чистокровной безразличной ненависти или гетерофобии. Большинство общинных раздоров и кампаний, направленных на геноцид аборигенов, вписываются в эту классификацию. Если они сопровождаются идеологией, последняя не идет дальше простого видения мира типа «мы или они», или принципа «нам двоим здесь нет места», или «хоро-



ший индеец – мертвый индеец». Предполагается, что противник будет следовать «зеркальным» принципам, только если ему позволят. Большинство идеологий геноцида строятся на сомнительной симметрии вымышленных намерений и действий.

Современный геноцид совершенно другой. *Современный геноцид – это геноцид с целью.* Уничтожение противника – еще не конец. Это средство для достижения поставленной задачи: необходимость, продиктованная конечной целью, шаг, который нужно сделать, если хочешь дойти до конца пути. *Конечная цель – это восхитительный образ лучшего и радикально измененного общества.* Современный геноцид является элементом социальной инженерии, призванной построить социальный порядок, соответствующий структуре идеального общества.

Для инициаторов и руководителей современного геноцида общество служит предметом плановой и осознанной разработки. Можно и нужно максимально совершенствовать общество, а не только менять лишь отдельные элементы из многих, улучшать его лишь местами, исцелять лишь некоторые из его тяжелых заболеваний. Можно и нужно ставить перед собой более амбициозные и радикальные цели: можно и нужно перестраивать общество, силой приводить его в соответствие с общим, научно обоснованным планом. Можно создать общество, которое будет объективно лучше того, что «всего лишь существует» – то есть существует без осознанного вмешательства. В подобной разработке, безусловно, присутствует и эстетический компонент: строящийся идеальный мир соответствует стандартам высшей красоты. А когда строительство закончится, этот мир будет полностью совершенен, как гениальное произведение искусства; это будет мир, лучше которого быть не может, и которому, повторяя бессмертные слова Альберти\*, не нужны никакие дополнения, сокращения или изменения.

Это видение садовника, проецируемое на экран размером с весь мир. Каждый достойный своего звания садовник испытывает те же мысли, чувства, мечты и побуждения, что и дизайнеры идеального мира, может, только мыслит он менее масштабно. Некоторые садовники ненавидят сорняки, которые портят ландшафт – это уродство в самом центре красоты, мусор среди идеального порядка. Другие к ним совершенно равнодушны: они видят в них лишь проблему, которую надо решить, дополнительную работу, которую нужно сделать. Правда, для сорняков это ничего не меняет – и тот и другой садовник их истреб-

---

\* Леон Батиста Альберти (1404–1472) – выдающийся итальянский гуманист, художник и архитектор.

ляет. Если спросить их или дать возможность подумать, оба согласятся: сорняки необходимо уничтожить не из-за того, что они – сорняки, а из-за того, что сад должен быть красивым.

Современная культура – это садовая культура. Она определяет себя как основополагающую схему идеальной жизни и совершенной организации человеческих условий. Она строит собственную индивидуальность на недоверии к природе. В сущности, она дает определение себе и природе и различиям между ними через свое эндемическое недоверие к спонтанности и стремление к лучшему, и непременно искусственному, порядку. Помимо общего плана искусственному порядку сада нужны инструменты и сырье. Ему также требуется охрана – против неослабевающей опасности, которую, очевидно, представляет собой беспорядок. Порядок, изначально задуманный как дизайн, сам решает, что является инструментом, что – сырьем, что бесполезно, что не нужно, что вредно, что является сорняком или вредителем. Он классифицирует все элементы вселенной по их отношению к себе. Только это отношение имеет для него значение – и служит единственным оправданием действий садовника, столь же дифференцированных, как и сами отношения. С точки зрения дизайна, все действия являются инструментальными, а все объекты этих действий либо способствуют, либо препятствуют достижению цели.

Современный геноцид, как и современная культура в целом, является работой садовника. Просто рутинная работа, одна из многих, которую люди, относящиеся к обществу как к саду, должны выполнить. Если садовый дизайн дает определение своим сорнякам, значит, сорняки найдутся везде, где есть сад. А сорняки надо уничтожать. Прополка – это созидательная, а не разрушительная деятельность. Она по своей сути ничем не отличается от любой другой деятельности, направленной на создание и поддержание идеального сада. Когда возникает образ «общества-сада», некоторые части социальной среды обитания определяются как человеческие сорняки. И как все прочие сорняки, их нужно изолировать, ограничить, помешать их распространению, устранить и держать за границами общества; если все эти меры ни к чему не приведут, их нужно уничтожить.

Жертвы Сталина и Гитлера были убиты не для того, чтобы захватить и колонизировать территорию, которую они занимали. Их часто убивали тупо, механически, без каких-либо проявлений человеческих эмоций – в том числе и ненависти. Их убивали, потому что они не соответствовали, по той или иной причине, представлениям об идеальном обществе. Убийство было не разрушительной работой, а созидательной. Их уничтожили, чтобы построить объективно лучший мир – более рациональ-

ный, более нравственный, более красивый. Коммунистический мир. Или расово чистый мир истинных арийцев. В обоих случаях – мир гармоничный, без противоречий, покорный, упорядоченный, управляемый. Люди с неискоренимыми пороками в силу своего прошлого или происхождения не могли вписаться в этот безупречный, здоровый и сияющий чистотой мир. Их природу, как и природу сорняков, изменить невозможно. Их нельзя усовершенствовать или перевоспитать. Их необходимо уничтожить по причинам генетической или идейной наследственности – естественного механизма, упругого и невосприимчивого к культурной обработке.

Два самых известных и страшных случая современного геноцида не изменили духу современности. Они не свернули с основного пути процесса цивилизации. Они были наиболее последовательными и свободными выражениями этого духа. Они попытались достичь наиболее амбициозных целей цивилизации, перед которыми спасовали другие процессы, и не обязательно из-за отсутствия доброй воли. Они продемонстрировали, чего способны добиться рациональные, сконструированные, управляемые мечты и усилия современной цивилизации, если их не сдерживать, не обуздывать и не противостоят им.

Эти мечты и усилия давно были с нами. Они породили огромный и мощный арсенал технологий и организаторского искусства. Они произвели на свет институты, которые служат одной-единственной цели – смоделировать поведение человека до такой степени, что он будет продуктивно и энергично преследовать любую цель, причем независимо от того, получил ли он идеологическое обоснование или моральное одобрение со стороны тех, кто поставил перед ним эту цель. Эти мечты и усилия узаконивают монополию правителей на конечные результаты, а управляемым отводят роль средства. Они определяют большинство действий как средства, а средства должны подчиняться конечной цели – тем, кто ее поставил, высшей воле, высшему знанию.

Однако это вовсе не означает, что все мы сегодня живем по принципам Освенцима. Из того факта, что холокост является порождением современности, не следует, что современность – это холокост. Холокост становится побочным продуктом современного стремления к полностью упорядоченному, полностью управляемому миру, как только это стремление выходит из-под контроля и вырывается на свободу. Современности в большинстве случаев удается избежать этой опасности. Ее амбиции сталкиваются с плюрализмом мира людей. Эти амбиции остаются нереализованными из-за отсутствия достаточно абсолютной власти и монополистических инструментов, которые поз-

волили бы игнорировать, не обращать внимания или подавлять все независимые и, следовательно, противодействующие и препятствующие силы.

## Своеобразие современного геноцида

Когда модернистскую мечту поддерживает абсолютная власть, способная монополизировать современные средства, побуждающие к рациональным действиям, и когда такая власть вырывается на свободу из-под эффективного социального контроля, наступает геноцид. Современный геноцид – сродни холокосту. Вероятность короткого замыкания (так и хочется сказать: случайной встречи) между идеологически одержимой элитой власти и колоссальными средствами национального систематического действия, разработанными современным обществом, сравнительно мала. Однако если такое короткое замыкание все-таки происходит, вскрываются определенные аспекты современности, которые менее заметны в других обстоятельствах, потому их можно легко проигнорировать.

Современный холокост уникален в двойном смысле. *Он уникален по сравнению с другими историческими случаями геноцида, потому что он – современный. Он выделяется среди банальности современного общества, потому что объединяет некоторые самые простые факторы современности, которые обычно разъединены.* В этом втором смысле только сочетание факторов является необычным и уникальным, а не сами факторы. По отдельности каждый фактор является вполне обычным и нормальным. Можно знать, что такое селитра, сера или древесный уголь, однако далеко не всем известно, что если их смешать, получится порох.

Уникальность и одновременно нормальность холокоста нашли прекрасное выражение в итоговом заключении аналитической работы Сары Гордон:

систематическое истребление в отличие от спорадических погромов способно было осуществить только правительство, наделенное чрезвычайной властью, и, вероятно, могло в этом преуспеть только под прикрытием обстоятельств войны. Только пришествие Гитлера и его радикальных сторонников-антисемитов и последующая централизация их власти сделало возможным истребление европейского еврейства...

...Процесс организованного исключения из общества и убийства требовал взаимодействия с огромными

подразделениями армии и бюрократии, а также согласия немецкого народа, независимо от того, одобрял он или нет преследование и истребление, устроенное нацистами<sup>8</sup>.

Гордон называет несколько факторов, объединение которых приводит к холокосту; радикальный (и, как мы помним по предыдущей главе, современный: расистский и истребительский) антисемитизм нацистского типа; трансформация этого антисемитизма в утилитарную политику могущественного централизованного государства; наличие в этом государстве огромного эффективного бюрократического аппарата; «чрезвычайное положение» – экстраординарные военные условия, позволившие этому правительству и руководимой им бюрократии безнаказанно вытворять такие вещи, которые в мирное время, вероятно, натолкнулись бы на серьезное сопротивление; и невмешательство, пассивное согласие широких слоев населения. Два из этих факторов (хотя можно поспорить, что два можно сократить до одного: с нацистами у власти война была неизбежной) можно считать случайным совпадением – они не являются неизменными атрибутами современного общества, хотя всегда могут ими стать. Остальные факторы абсолютно «нормальны». Они постоянно присутствуют в каждом современном обществе, и их присутствие стало возможным и неизбежным благодаря процессам, которые ассоциируются с развитием и укреплением современной цивилизации.

В предыдущей главе я попытался обнаружить связь между радикальным истребительским антисемитизмом и социально-политическими и культурными преобразованиями, которые обычно объясняют развитием современного общества. В последней главе книги я попытаюсь проанализировать те социальные механизмы, также запущенные в действие в современных условиях, которые нейтрализуют нравственные запреты и в целом заставляют людей уклоняться от сопротивления злу. В этой главе я намерен сосредоточиться лишь на одном, хотя, вероятно, самом важном из всех составляющих факторов холокоста: типично современных технико-бюрократических образах действия и менталитете, который они проектируют, порождают, укрепляют и воспроизводят.

Существуют два антитетических подхода к объяснению холокоста. Можно воспринимать ужасы массового убийства как доказательство хрупкости цивилизации, или же можно видеть в них доказательство ее чудовищного потенциала. Можно утверждать, что если у власти находятся преступники, цивилизованные правила поведения перестают действовать, и, следова-

тельно, извечный зверь, скрывающийся под кожей социально вымуштрованного существа, может вырваться на свободу. В качестве альтернативы можно также утверждать, что, вооружившись сложными техническими и концептуальными продуктами современной цивилизации, человек может делать такие вещи, на которые в принципе не способен в силу своей природы. Другими словами, следуя традиции Гоббса, можно прийти к заключению, что бесчеловечное доисторическое государство еще не до конца искоренено, несмотря на все усилия цивилизации. Или же можно, наоборот, настаивать, что процесс цивилизации успешно заменил искусственные и гибкие модели поведения человека на естественные побуждения и, следовательно, создал шкалу бесчеловечности и разрушения, которая остается непостижимой до тех пор, пока действиями человека управляют естественные наклонности. Я предлагаю остановиться на втором подходе и развить его в последующем обсуждении.

Тот факт, что большинство людей (включая многих теоретиков общества) инстинктивно выбирают первый, а не второй подход, свидетельствует о поразительном успехе этиологического мифа, который в том или ином варианте западная цивилизация многие годы использовала для оправдания своего пространственного господства, представляя его как превосходство во времени. Западная цивилизация объясняла свое стремление к мировому господству с точки зрения священной войны человечества против варварства, разума против невежества, объективности против предрассудков, прогресса против упадка, истины против религиозных суеверий, науки против колдовства, рациональности против страсти. Она толковала историю своего доминирующего влияния как постепенную, но неумолимую замену властью человека над природой власти природы над человеком. Она представила собственные достижения как прежде всего решительный шаг вперед в области свободы человеческих действий, творческого потенциала и безопасности. Она отождествляла свободу и безопасность с собственным типом социального порядка: западное современное общество определяется как *цивилизованное* общество, а цивилизованное общество, в свою очередь, понимается как государство, которое уничтожило или, по крайней мере, подавило природное уродство и болезненность, а также большинство имманентных склонностей человека к жестокости и насилию. В популярном представлении цивилизованное общество – это общество, в котором отсутствует насилие; благородное, учтивое, приятное, спокойное общество.

Вероятно, наиболее ярким символическим выражением этого эталонного образа цивилизации является неприкосно-

венность человеческого тела: принимаются все меры, чтобы оградить это наиболее личное пространство от вторжения, избежать телесного контакта, держаться на максимальном расстоянии, допустимом культурными нормами; и какое мы испытываем негодование и отвращение, когда видим или слышим о нарушении этого священного пространства. Современная цивилизация может позволить себе байку о неприкосновенности и автономности человеческого тела благодаря развитию эффективных механизмов самоконтроля и их в целом успешному воспроизведению в процессе индивидуального образования. Став эффективными, репродуцированные механизмы самоконтроля избавляют от нужды непосредственного контакта с телом. С другой стороны, неприкосновенность тела подчеркивает личную ответственность за его поведение и, таким образом, предоставляет дополнительные санкции для телесной «дрессировки». (В последние годы суровость санкций, активно эксплуатируемых потребительским рынком, в конечном счете способствовала внутренней потребности в «дрессировке»; развитие индивидуального самоконтроля все более становится самоконтролируемым и осуществляется по принципу «Сделай сам».) Поэтому культурный запрет на слишком близкий контакт с другим телом служит надежной защитой от диффузного, случайного влияния, которое, если ему потворствовать, может вступить в противодействие с регулируемой властью моделью социального устройства. Отсутствие насилия в повседневном человеческом общении является обязательным условием и неизменным результатом централизованного принуждения.

Таким образом, общий ненасильственный характер современной цивилизации является иллюзией. Точнее, это неотъемлемая часть ее самооправдания и самопрославления; другими словами, часть мифа о современной цивилизации, узаконивающего ее право на существование. Неправда, что наша цивилизация истребляет насилие из-за нечеловеческого, деградирующего или безнравственного характера последнего. Если современность в самом деле несовместима с необузданными страстями варваризма, она вполне совместима с эффективным, бесстрастным разрушением, убийством и пытками... Когда образ мысли становится более рациональным, количество разрушений возрастает. В наше время, к примеру, терроризм и пытки больше не являются инструментами страстей; они стали инструментом политической рациональности<sup>9</sup>.

В сущности, в процессе цивилизации произошла передислокация насилия и перераспределение доступа к насилию. Как мно-

гие другие вещи, которые нас учат презирать и ненавидеть, насилие просто убрали с наших глаз, а не вычеркнули из нашей жизни. Оно стало невидимым с позиции узко ограниченного и приватизированного личного опыта. Насилие просто перенесли на обособленные и изолированные территории, недоступные, в целом, обычным членам общества; или выслали в «сумеречные зоны», в которые для большинства членов общества вход запрещен; или экспортировали в удаленные места, неподходящие, в целом, для деловой жизни цивилизованных людей.

Конечным результатом всего этого стала концентрация насилия. Сосредоточившись в одном месте и освободившись от конкурентов, средства принуждения могли бы достичь неслыханных результатов, пусть даже технически несовершенных. Однако их концентрация инициирует и способствует эскалации технических усовершенствований, и, таким образом, последствия концентрации нарастают. Как неоднократно подчеркивал Энтони Гидденс (см. прежде всего его работы «Современная критика исторического материализма» (1981) и «Устроение общества» (1984)), исключение насилия из повседневной жизни цивилизованного общества всегда было тесно связано с бескомпромиссной милитаризацией межсоциального обмена и внутрисоциального учреждения порядка; регулярная армия и полиция объединили технически совершенное оружие и высшую технологию бюрократического управления. В последние два столетия число людей, умерших насильственной смертью в результате такой милитаризации, неуклонно увеличивалось и дошло до таких размеров, о которых страшно даже подумать.

Холокост впитал в себя огромное количество средств принуждения. Поставив их на службу единственной цели, он также дал им дополнительный стимул к их дальнейшей специализации и техническому совершенству. Однако гораздо важнее было не количество средств разрушения и даже не их техническое качество, а способ их использования. Устрашающая эффективность их использования главным образом зависела от исключительно бюрократических, технических решений (благодаря которым их использование приобрело стойкий иммунитет к противодействующему давлению, которому оно могло бы подвергнуться, если бы средства насилия находились под контролем рассредоточенных, разрозненных сил и использовались неорганизованно). Насилие превратилось в методику. Как все методики, оно лишено эмоций и является исключительно рациональным. В сущности, было весьма разумно – если под «разумом» понимать инструментальный разум – применить американскую военную силу, напалм и прочее вооружение в оказавшемся под «коммунистическим гнетом» Вьетнаме (безусловно,



«нежелательный объект») в качестве «устройства» для преобразования его в «желательный объект»<sup>10</sup>.

## Последствия иерархического и функционального разделения труда

Использование насилия становится наиболее эффективным и рентабельным, когда средства подчиняются исключительно инструментальным и рациональным критериям и, следовательно, абстрагируются от моральной оценки результатов. В первой главе я уже говорил, что все бюрократии отлично оперируют подобным абстрагированием. Можно даже сказать, что оно придает смысл бюрократической структуре и бюрократическому процессу и объясняет загадку колоссального роста потенциала мобилизации и координации, рациональности и эффективности действий, которых добилась современная цивилизация благодаря развитию бюрократического управления. Абстрагирование явилось результатом двух параллельных процессов, занимающих центральное место в бюрократической модели поведения. Первый – это *педантичное функциональное разделение труда* (дополняющее линейную градацию власти и субординации, но отличающееся своими последствиями); второй – это *замена моральной ответственности на техническую*.

Разделение труда (а также разделение, происходящее в результате иерархии управления) создает дистанцию между участниками коллективной деятельности, работающими на достижение конечного результата, и самим результатом. К тому моменту, когда последние звенья в бюрократической цепи власти (непосредственные исполнители) столкнутся со своей задачей, большая часть подготовительной работы, которая собственно и привела к этому «столкновению», уже будет выполнена лицами, не имеющими личного опыта, а иногда и знаний относительно поставленной задачи. В отличие от досовременной рабочей группы, когда все ступени иерархической лестницы имеют одинаковые профессиональные навыки, и практическое знание рабочих операций фактически возрастает по мере направления к вершущке лестницы (мастер знает то же, что и его подмастерье или ученик, только больше и лучше), люди, стоящие на разных ступеньках современной бюрократии, резко отличаются по своему опыту и профессиональному обучению. Они могут мысленно поставить себя на место своих подчинен-

ных; это, возможно, даже помогает установить «хорошие человеческие отношения» в офисе – но это не является условием ни для качественного выполнения задачи, ни для эффективности всего бюрократического аппарата в целом. В сущности, большинство бюрократий не воспринимают всерьез романтический «рецепт», предписывающий каждому бюрократу, и особенно тем, кто стоит на верхней ступени, «начинать с самого низа», чтобы по пути к вершине они приобрели и навсегда запомнили опыт всей лестницы снизу доверху. Управленческие должности разной степени важности требуют самых разнообразных профессиональных навыков, и, помня об этом, большинство бюрократий практикуют отдельные способы набора служащих на различные уровни иерархии. Может быть, и правда, что каждый солдат носит в своем рюкзаке маршальский жезл, однако лишь немногие маршалы, а также полковники и капитаны, держат в своих чемоданах солдатские штыки.

Подобная практическая и ментальная дистанция от конечного продукта означает, что большинство функционеров бюрократической иерархии могут отдавать команды, не имея полного представления, каковы будут их последствия. В большинстве случаев им трудно даже представить себе эти последствия. Как правило, они имеют лишь отдаленное, абстрактное представление об этих последствиях; такое представление находит наилучшее выражение в статистике, которая измеряет результаты, не давая им никаких оценок, тем более моральных. В их файлах и в их головах результаты в лучшем случае представляются в виде диаграмм, кривых или секторов круга; в идеале они появятся в виде колонки цифр. В графическом или цифровом представлении конечные результаты их приказов оторваны от реальности. Графики измеряют ход рабочего процесса, они ничего не говорят о природе операции или ее целях. Графики превращают задачи совершенно разного характера во взаимозаменяемые; значение имеют только поддающиеся количественному измерению успехи или неудачи, и с этой точки зрения все задачи одинаковы.

Все эти эффекты дистанции, созданной иерархическим разделением труда, многократно усиливаются, как только разделение становится функциональным. Теперь это уже не просто отсутствие непосредственного личного опыта фактического исполнения задачи, в которое вносит свой вклад успешное командование, но также и отсутствие сходства между практической задачей и задачей «на бумаге» (одна не является миниатюрной копией, или образом, другой), создающее дистанцию между исполнителем и работой, выполняемой бюрократией, частью которой он выступает. Подобное дистанцирование ока-

зывает глубокое и далеко идущее психологическое воздействие. Одно дело – отдать приказ загрузить бомбы в самолет, и совсем другое дело – следить за регулярными поставками стали на заводе по производству бомб. В первом случае человек, отдавший приказ, может не иметь яркого образного представления о том разрушении, которое несет бомба. Во втором случае, однако, менеджеру по поставкам даже не нужно, если он этого не хочет, думать о том, как будут использоваться бомбы. Даже абстрактное, отвлеченное знание конечного результата кажется излишним и, безусловно, ненужным для успешного выполнения его части работы. При функциональном разделении труда вся работа человека в принципе имеет множество конечных результатов; то есть ее можно объединить и интегрировать в несколько смысловых совокупностей. Сама по себе функция не имеет смысла, и действия исполнителей не имеют ни малейшего влияния на тот смысл, который в конечном счете ей будет приписан. Этот смысл определяют «другие» (в большинстве случаев неизвестные и недостижимые), находящиеся в другом месте и в другое время люди. «Готовы ли рабочие химических заводов, производивших напалм, взять на себя ответственность за сожженных младенцев?» – спрашивают Крен и Раппорт. «Осознают ли они хотя бы, что другие обоснованно могут считать их ответственными за это?»<sup>11</sup>. Разумеется, нет. Благодаря разделению процесса сожжения младенцев на мелкие функциональные задачи и затем отделению этих задач друг от друга такое осознание становится неуместным – и, более того, его чрезвычайно трудно достичь. Не забывайте также, что напалм производили химические заводы, а не их рабочие...

Второй процесс, ответственный за дистанцирование, тесно связан с первым. Замена моральной ответственности технической была бы невозможной без педантичного функционального препарирования и разделения задач. Во всяком случае в таких масштабах. В некоторой степени замена происходит уже в рамках исключительно линейной градации контроля. Каждый человек, находящийся внутри иерархии власти, подчиняется своему непосредственному начальнику, и, следовательно, его интересуется мнение этого начальника о его работе и его одобрение. Но сколь бы важным ни было для него такое одобрение, он, тем не менее, все же осознает, хотя и чисто теоретически, каким будет конечный результат его работы. Таким образом, существует хотя бы абстрактная вероятность того, что человек сравнит свои знания со знаниями другого; и тогда благожелательность начальников столкнется с омерзительностью последствий. А когда возникает возможность сравнения, возникает и возможность выбора.

В рамках чисто линейного разделения власти техническая ответственность остается, по крайней мере теоретически, уязвимой. Она по-прежнему может искать себе оправдание с моральной точки зрения и соперничать с нравственной совестью. Функционер, к примеру, может решить, что его начальник, отдав ему конкретный приказ, вышел за рамки своей компетенции, поскольку перешел из области чисто технического интереса в область, имеющую этическое значение (стрелять в солдат можно; а вот расстреливать детей – это уже совсем другое дело); и что, хотя функционер и обязан подчиняться приказам начальства, он при этом не обязан оправдывать то, что считает аморальным деянием. Однако все эти теоретические возможности исчезают или существенно ослабевают, как только линейная иерархия власти дополняется или заменяется функциональным разделением и отделением задач. Тогда торжество технической ответственности становится полным, безусловным и неопровержимым.

Техническая ответственность отличается от моральной ответственности. Она забывает, что действие направлено на достижение какого-то результата, а не совершается ради себя самого. Как только из поля зрения устраняются внешние связи действия, конечной целью становится собственная деятельность бюрократа. Ее можно оценивать только по критериям уместности и успешности. Рука об руку с хваленой относительной автономностью чиновника, обусловленной его функциональной специализацией, идет его удаленность от общих результатов раздельного, но при этом согласованного труда организации в целом. Обособившись от своих удаленных последствий, большинство функционально специализированных актов либо с легкостью проходят моральное тестирование, либо являются морально индифферентными. Не обремененный нравственными терзаниями акт можно оценивать по однозначным критериям рациональности. В этом случае значение имеют только два показателя – выполнение акта в соответствии с лучшими технологическими ноу-хау и рентабельность его результатов. Четкие критерии, которыми легко оперировать.

Для нашей темы наиболее важными являются два последствия подобного контекста бюрократических действий. Первое состоит в том, что навыки, квалифицированные знания, изобретательность и преданность делу действующих лиц в комплексе с их личными мотивами, побудившими их использовать эти качества в полной мере, можно полностью мобилизовать и поставить на службу всеобщей бюрократической цели, даже если (или, вероятно, потому что) действующие лица сохраняют относительную функциональную автономность по отношению

к этой цели, и даже если эта цель не согласуется с нравственной философией действующих лиц. Говоря прямо, результатом является непригодность моральных норм для технического успеха бюрократической операции. Инстинкт созидательной деятельности, присущий, по утверждению Торстейна Веблена\*, каждому человеку, полностью сфокусирован на качественном выполнении работы. Действительную преданность работе можно усилить еще больше, если человек обладает малодушным характером и имеет строгое начальство, или он заинтересован в продвижении по службе, имеет амбиции или безучастное любопытство или многие другие личные обстоятельства, мотивы или черты характера – но в целом созидательная деятельность и так не пострадает. В общем и целом люди хотят выделиться; что бы они ни делали, они хотят делать это хорошо. Как только они благодаря комплексной функциональной дифференциации внутри бюрократии окажутся на расстоянии от конечных результатов своей работы, их нравственные устремления могут полностью сосредоточиться на хорошем выполнении работы. Нравственность сводится к одной заповеди – нужно быть хорошим, полезным и старательным специалистом и работником.

### Дегуманизация объектов бюрократических операций

Еще одним, не менее важным последствием бюрократического контекста действия является *дегуманизация объектов бюрократической операции*, возможность выразить эти объекты в чисто технических, этически нейтральных терминах.

Дегуманизация ассоциируется у нас со страшными картинами узников концентрационных лагерей – все их действия сводятся к низшему уровню примитивного выживания, они лишены возможности пользоваться культурными (как телесными, так и поведенческими) символами человеческого достоинства, они утратили даже отдаленное сходство с человеком – таким было их унижение. По выражению Питера Марша: «Стоя у забора Освенцима, глядя на эти высохшие скелеты со сморщенной кожей и запавшими глазами – кто мог поверить, что это действительно люди?»<sup>12</sup>. Эти картины, однако, отражают лишь

---

\* Торстейн Веблен (1857–1929) – американский экономист и социолог, основоположник институционального направления в политической экономии.

крайнее проявление тенденции, которая наблюдается у всех бюрократий, какими бы благодушными и безобидными ни казались их текущие задачи. Я считаю, обсуждение тенденции к дегуманизации должно сосредоточиться не на вопиющих и отвратительных и, к счастью, редких, а на более универсальных и по этой причине потенциально более опасных ее проявлениях.

Дегуманизация начинается с той минуты, когда благодаря дистанцированию объекты бюрократической операции могут свестись к набору количественных критериев. Для железнодорожных начальников единственное смысловое значение их цели выражается в тонна-километрах. Они не имеют дела с людьми, овцами или колючей проволокой, они имеют дело только с грузами, а грузы состоят из одних лишь размеров и не имеют качества. Для большинства бюрократов даже такая категория, как груз, слишком тесно связана с качеством. Они имеют дело только с финансовыми результатами своих действий. Их объектом являются деньги. Деньги – это единственный объект, который появляется на обоих концах – на входе и выходе, – а, как пронципально заметили древние, *ресуниа поп olet\**. По мере роста бюрократические компании редко позволяют себе ограничиться только одной областью деятельности. Они разрастаются в разные стороны, движимые *лукротропизмом\*\** – своего рода гравитационной силой, направленной на получение максимальной прибыли со своего капитала. Как мы помним, руководство всей операцией холокоста было передано отделу экономического управления Главного имперского управления безопасности. Мы знаем, что это было сделано не в целях военной хитрости или маскировки.

Сведенные, как все другие объекты бюрократического управления, к обычным, лишенным качества измерениям, человеческие объекты теряют свои индивидуальные отличия. Они уже дегуманизированы – в том смысле, что все, что с ними происходит (или все, что с ними делают), описывается языком, ограждающим исполнителей от этических оценок. В сущности, этот язык не подходит для нормативно-моральной речи. Только люди могут стать объектами этических высказываний. (Да, нравственные высказывания иногда распространяются на других живых существ, но это становится возможным

---

\* «Деньги не пахнут» (лат.). Фраза приписывается римскому императору Веспасиану (9–19 гг. н. э.).

\*\* Термин неизвестного происхождения, составленный из латинского слова *lucrit* – «прибыль», «выгода» и греческого *tropos* – «оборот». Его можно перевести как «оборот капитала».

только в отрыве от их первоначальной антропоморфической основы.) Люди утрачивают эту способность, когда их превращают в ничтожества.

Дегуманизация неразрывно связана с наиболее существенной рациональной тенденцией современной бюрократии. Поскольку все бюрократии в некоторой степени оказывают влияние на отдельные человеческие объекты, неблагоприятное воздействие дегуманизации оказывается гораздо более распространенным, чем можно было бы предположить из практически повсеместной склонности отождествлять ее с геноцидом. Солдатам приказывают стрелять по *мишеням*, которые *падают*, когда в них *попадают*. Служащих крупных компаний поощряют к противодействию *конкуренции*. Работники служб социального обеспечения оперируют то *дискреционными пособиями*, то *индивидуальными займами*. Их объектами являются *получатели дополнительных пособий*. Сложно понять и запомнить, что за этими техническими терминами скрываются люди. Суть в том, что, когда дело касается бюрократических целей, лучше их не понимать и не запоминать.

Когда дегуманизация человеческих объектов бюрократических задач успешно завершена и, следовательно, они устранены как потенциальные субъекты нравственных требований, к этим человеческим объектам относятся с этическим равнодушием, которое вскоре перерастает в осуждение и порицание, если их сопротивление или нежелание сотрудничать замедляет плавный ход бюрократической рутины.

У дегуманизированных объектов не может быть «дела», тем более «правого»; у них нет «интересов», которые надо учитывать, в общем, никакой претензии на индивидуальность. Таким образом, человеческие объекты становятся «помехой». Их досадная непокорность повышает самооценку и чувство локтя, которые служат единению функционеров. Последние видят себя соратниками в трудной борьбе, требующей от них мужества, самопожертвования и бескорыстной преданности делу. Не объекты, а субъекты бюрократических действий по-настоящему страдают и заслуживают сочувствия и нравственной похвалы. Сокрушив сопротивление своих жертв, они могут по праву испытывать гордость и уверенность в собственном достоинстве — точно так же они гордятся, когда преодолевают другие препятствия. Дегуманизация объектов и позитивная моральная самооценка подкрепляют друг друга. Функционеры могут верно служить любой цели, и при этом их нравственная совесть остается нетронутой.

Общий вывод заключается в следующем: бюрократический образ действия, развившийся в процессе модернизации, содер-

жит в себе все технические элементы, необходимые для исполнения задач геноцида. Этот образ действия можно поставить на службу целям геноцида, не внося крупных изменений в его структуру, механизмы или нормы поведения.

Более того, вопреки широко распространенному мнению, бюрократия не является всего лишь орудием, которое с равным успехом можно использовать как в жестоких и нравственно неприемлемых, так и в исключительно гуманных целях. Даже если она движется в любом направлении, которое ей укажут, бюрократия похожа на «крапленые» карты. У нее собственная логика и движущая сила. Она создает возможность принятия одних решений и отмены других. Получив первоначальный толчок (столкнувшись с целью), она, как ведьма на помеле, легко преодолевает любые преграды, которые остановили бы тех, кто дал этот толчок, если бы они все еще управляли процессом, который инициировали. Бюрократия запрограммирована на поиск оптимального решения. Она запрограммирована на выражение оптимума в таких терминах, которые не позволят отличить один человеческий объект от другого или человеческий объект от нечеловеческого. Значение имеют только эффективность и снижение затрат на их обработку.

## Роль бюрократии в холокосте

Так сложилось, что полвека назад бюрократия получила задание очистить Германию от евреев. Бюрократия начала с того, с чего всегда начинают бюрократии: с формулировки точного определения объекта, потом зарегистрировала всех, кто соответствовал определению, и на каждого завела дело. Далее она отделила тех, кто внесен в картотеку, от остального населения, на которое не распространялась полученная директива. И, наконец, она приступила к выселению сегрегированной категории с территории арийцев – сначала вынуждая ее эмигрировать, а потом депортируя ее на другие территории, когда эти территории оказались под контролем Германии. К тому времени у бюрократии развились замечательные навыки чистки – не пропадать же им втуне. *Бюрократия успешно справилась с задачей по очистке Германии, и теперь можно было ставить перед собой более амбициозные цели, и ее выбор выглядел вполне естественным.* Имея столь превосходное чистящее средство, зачем останавливаться на арийском отечестве? Почему бы не очистить всю их империю? Правда, теперь империя стала всемир-



ной, у нее не было внешней территории, где можно было устроить свалку, чтобы сбрасывать еврейский «мусор». Осталось только одно направление для депортации: вверх, в виде дыма.

Многие годы историки холокоста делятся на лагерь «интенционалистов» и «функционалистов». Первые настаивают, что Гитлер с самого начала твердо решил истребить евреев и ждал только подходящего случая. Вторые считают, что у Гитлера была лишь общая идея «найти решение» «еврейской проблемы»: отчетливая в том, что касается видения «чистой Германии», и весьма невнятная и расплывчатая в том, что касается практических мер, которые следует предпринять, чтобы приблизить это видение. Историческая наука убедительно поддерживает точку зрения функционалистов. Тем не менее, чем бы в конечном счете ни закончились эти дебаты, нет никаких сомнений в том, что пространство между замыслом и его выполнением было плотно заполнено бюрократической деятельностью. Как нет никаких сомнений в том, что, каким бы живым ни было воображение Гитлера, оно не имело бы никаких последствий, если бы громадный и рациональный бюрократический аппарат не перевел это воображение на язык рутинного процесса решения проблем. И последнее, и, вероятно, самое важное – бюрократический образ действия поставил неизгладимую печать на процесс холокоста. Его следы разбросаны по всей истории холокоста, и любой может их увидеть. Правда, бюрократия так и не избавилась от страха перед загрязнением расы и от одержимости расовой гигиеной. Для этого ей требовались «мечтатели» – ведь бюрократия вступает в дело там, где останавливаются «мечтатели». Но бюрократия совершила холокост. И совершила его так, как себе представляла.

Губерг предположил, что судьба европейского еврейства была решена в ту минуту, когда первый германский чиновник составил первое правило исключения евреев. В этом комментарии заключена абсолютная и страшная истина. Бюрократии нужно было только дать определение своей задаче. При ее рациональности и эффективности можно было не сомневаться, что она доведет ее до конца.

Бюрократия способствовала увековечиванию холокоста не только благодаря присущим ей способностям и умениям, но и благодаря своим имманентным недостаткам. Склонность всех бюрократий терять из вида первоначальную цель и сосредотачиваться только на средствах – средствах, которые превращаются в цели, – всем известна, проанализирована и подробно описана. Нацистская бюрократия не была исключением. Запущенная в действие машина убийства разработала собственную движущую силу: чем успешнее она очищала свои территории от евреев, тем активнее

искала новые земли, где можно было бы применить вновь приобретенные навыки. С приближением поражения Германии в войне первоначальная цель «окончательного решения» становилась все менее достижимой. Машина убийств продолжала работать только благодаря налаженному порядку и собственной движущей силе. Навыки массового убийства приходилось использовать просто потому, что они были. Эксперты создали объекты для собственной экспертизы. Мы помним, что эксперты отделов по делам евреев в Берлине вводили все новые мелкие ограничения для немецких евреев, которые давно исчезли с немецкой земли; мы помним, как командиры СС не позволяли генералам вермахта сохранить жизнь еврейским ремесленникам, которые были им жизненно необходимы для военных операций. Но нигде болезненная тенденция к замещению целей средствами не проступала так явно, как в жутком и зловещем эпизоде убийства румынских и венгерских евреев на Восточном фронте, которое дорого обошлось армии: бесценные железнодорожные составы и локомотивы, войска и административные ресурсы были переключены с военных задач на очистку удаленных частей Европы для германского жизненного пространства, которое так и не образовалось.

Бюрократия по своей сути *способна* на совершение геноцида. Чтобы приступить к такому действию, ей нужно «встретиться» с другим изобретением современности: дерзким планом построения лучшего, более целесообразного и рационального социального порядка – например, с обществом одной расы или бесклассовым обществом, – и прежде всего со способностью составлять такие планы и решимостью воплотить их в жизнь. Если эти два распространенных изобретения современности встретятся, начнется геноцид. Вот только эти встречи до сих пор были редкими.

## Банкротство современных гарантов безопасности

Физическое насилие и угроза его применения

более не воспринимаются как фактор постоянной нестабильности, как опасность для жизни отдельного человека, которая привносится извне в жизнь людей, теперь это – специфическая форма безопасности... на индивидуальную жизнь оказывает непрекращающееся давление физическое насилие, скрытое за явлениями повседневной жизни, давление, хорошо всем знакомое и потому едва ощущаемое...<sup>13</sup>

В этих словах Норберт Элиас дал новую формулировку известному определению цивилизованного общества, тому, как это общество само себя определяет. Исключение насилия из повседневной жизни – основное утверждение, вокруг которого строится это определение. Как мы уже видели, это лишь кажущееся исчезновение насилия: на самом деле оно не исчезает, а просто смещается в иные области в рамках социальной системы, происходит перераспределение средств насилия. Согласно Элиасу, эти два процесса тесно взаимосвязаны. Сфера обыденной жизни относительно свободна от насилия прежде всего потому, что насилие теперь сконцентрировано где-то на ее «периферии» – в количествах, которые выводят его за рамки контроля со стороны рядовых членов общества и обеспечивают достаточной мощностью для подавления «незаконных» вспышек насилия. Манера повседневного поведения смягчилась в основном из-за того, что граждане теперь находятся под угрозой применения насилия (в случае если они сами позволят себе насильственные действия) – они не в состоянии ни что-либо противопоставить этому насилию, ни как-то его избежать.

Исчезновение насилия с горизонта повседневной жизни, таким образом, оказывается еще одним проявлением тенденций современной власти к централизации и монополизации: насилие отсутствует в личных взаимоотношениях людей потому, что теперь оно подконтрольно силам, находящимся вне их досягаемости. Впрочем, кое для кого эти силы вполне досягаемы. Таким образом, сильно превозносимое смягчение нравов (которое Элиас, следуя этиологическому мифу о Западе, с предвкушением празднует) и проистекающая из этого безопасность обыденной жизни имеют свою цену. Эту цену нас, обитателей современного мира, могут призвать заплатить в любой момент. Или просто вынудят заплатить – безо всяких предварительных призывов.

«Умиротворение» повседневной жизни означает одновременно ее незащитность. Отказываясь – добровольно или по принуждению – от применения физической силы в отношении друг друга, граждане современного общества оказываются безоружными перед лицом неведомых им и обычно невидимых, но потенциально очень опасных и неизменно могущественных «управляющих» силами принуждения. Собственная слабость не очень их беспокоит из-за высокой вероятности того, что упомянутые «управляющие» насилием действительно воспользуются преимуществом своего положения и поспешат обернуть подконтрольные им средства принуждения против оказавшегося безоружным общества, а также потому, что рядовые мужчины и женщины не могут принципиально повлиять

на то, будут или не будут реализованы подобные преимущества, что бы они ни делали. Сами по себе члены современного общества не могут предотвратить применение массового принуждения. Смягчение нравов и манер идет рука об руку с радикальным изменением контроля над насилием.

Ощущение постоянной угрозы – являющееся одним из характерных признаков современного неравновесия власти – сделало бы жизнь невыносимой, если бы не наша вера в гарантии безопасности, которые, по нашему убеждению, встроены в самую ткань современного цивилизованного общества. По большей части у нас просто нет повода думать, что эта вера ошибочна. Лишь в самых исключительных случаях возникают сомнения, насколько же надежны эти гарантии безопасности. Возможно, главное значение холокоста заключается в том, что на сегодня это – один из самых страшных таких «случаев». В годы, предшествовавшие «окончательному решению», гарантии безопасности, казавшиеся прежде самыми надежными, подверглись испытанию, и они этого испытания не выдержали – и каждая по отдельности, и все вместе.

Пожалуй, самым впечатляющим в этом отношении оказался крах науки – и как свода идей, и как системы учреждений просвещения и воспитания. Был наглядно продемонстрирован смертоносный потенциал наиболее почитаемых принципов и достижений современной науки. Освобождение рассудка от эмоций, рациональности – от нормативного давления, эффективности – от этики были лозунгами науки с самого ее начала. Когда же все это осуществилось на практике, наука – и порожденные ею зловещие технологические новшества – стала послушным инструментом в руках беспринципных и неразборчивых в средствах сил. Мрачная и постыдная роль, которую сыграла наука в увековечении холокоста, проявилась как напрямую, так и опосредованно.

Неявно (хотя, с точки зрения ее общесоциальной функции, это был как раз центральный момент) отрицательная роль науки проявилась в том, что она расчистила дорогу геноциду, подтачивая авторитет и лишая сдерживающей силы всякое «нормативное» мышление – прежде всего религию и этику. Наука воспринимает собственную историю как долгую и победоносную борьбу разума с предрассудками и иррациональным началом. Поскольку ни религия, ни этика были не в состоянии рационально обосновать выдвигаемые ими требования к поведению человека, они были признаны негодными и лишились былого авторитета. Поскольку бывшие ценности и нормы были провозглашены категорией исключительно и имманентно субъективной, прикладное начало осталось единственной сфе-

рой, где возможно достижение совершенства. Наука желала освободиться от моральных ценностей – и была горда, когда ей это удалось. Путем давления и насмешек она вынудила замолчать проповедников морали. И по ходу дела обрекла саму себя на моральную слепоту и нищету. Наука смела все барьеры, которые могли бы оградить ее от участия (которое она осуществляла с большим энтузиазмом) в создании наиболее эффективных и быстрых способов массовой стерилизации и массового убийства; или от замысла по созданию рабской системы концентрационных лагерей как уникальной и многообещающей возможности проведения медицинских исследований во имя развития науки и – конечно же! – человечества.

Наука (хотя в данном случае точнее было бы сказать ученые) также напрямую помогала тем, кто вершил холокост. Современная наука – гигантское и очень сложное образование. Исследования обходятся недешево, поскольку требуют огромных помещений, дорогого оборудования и больших команд высокооплачиваемых специалистов. Наука нуждается в постоянных финансовых вливаниях, а также в неденежных источниках: и то и другое в состоянии предложить и гарантировать лишь крупные учреждения. Наука сама по себе не меркантильна, как и отдельные ученые. В науке главное – истина, это то, к чему стремятся ученые. Учеными движет любопытство, их возбуждает непознанное. По меркам всех прочих земных забот, которые включают денежные, любопытство – бескорыстно. Главное для ученого – ценность знания, истина. Так получается – и в какой-то степени это не может не раздражать, – что невозможно удовлетворять любопытство и искать истину без постоянно растущих фондов, все более и более дорогих лабораторий. И бесконечно увеличивающихся ведомостей на зарплату. Все, чего хотят ученые, – это чтобы им позволили идти туда, куда их влечет жажда знания.

Правительство, которое протягивает им руку помощи и предлагает все это, вправе рассчитывать на благодарность со стороны ученых и готовность к сотрудничеству. Ученые должны быть готовы к тому, что им придется безропотно подчиниться предписаниям свыше, список которых довольно обширен. Они, к примеру, должны быть готовы к тому, что им придется мириться с внезапным исчезновением некоторых их коллег с неправильной формой носа или неподходящим пунктом в биографии. Они-то, возможно, не возражали, если бы всех их коллег постигла подобная участь, но тогда под угрозой срыва оказался бы график научных исследований. (Это не навет и не пасквиль: не много зафиксировано случаев, когда немецкие ученые, врачи и инженеры пытались протестовать, еще меньше известно подобных примеров, связанных с «чистками» в СССР.)

Ученые Германии вполне охотно занимали места в поезде, ведомом нацистским локомотивом – вперед, в абсолютно новый, радикально очищенный мир, где доминирует немецкая нация. Исследовательские проекты становились амбициознее день ото дня, а человеческие и материальные ресурсы научно-исследовательских институтов росли час от часу. Все остальное не имело существенного значения.

В своем потрясающем новом исследовании, посвященном вкладу биологии и медицинской науки в создание и осуществление нацистской расовой политики, Роберт Проктор останавливается на популярном мифе о науке времен нацизма: согласно этому мифу, восходящему к «Нацистской атаке на международную науку» (*Nazi Attack on International Science*) Йозефа Нидхэма, опубликованной в 1941 году, наука была жертвой гонений и объектом постоянной идеологической обработки сверху, вышестоящими инстанциями. В свете подробнейшего исследования Проктора выясняется, что сторонники подобного широко распространенного мнения недооценивают следующий момент: научное сообщество и само генерировало политические инициативы (включая самые отвратительные из них), а не просто подчинялось – по малодушию и с большой неохотой – инициативам извне. Недооценивается, насколько расовая политика инициировалась и направлялась признанными учеными с безупречной академической репутацией. Если здесь и было какое-то принуждение, то нередко это было принуждение одной части научного сообщества по отношению к другой. В целом многие социальные и интеллектуальные основы (расовых программ) были заложены задолго до прихода Гитлера к власти, представители биомедицинской науки сыграли активную, и даже ведущую роль в инициировании, управлении и осуществлении нацистских расовых программ<sup>14</sup>. Упомянутые ученые ни в коей мере не были безумцами или слепыми фанатиками-профессионалами – это убедительно доказывает проведенное Проктором тщательное изучение состава редколлегий 147 медицинских журналов, издававшихся в нацистской Германии. После прихода к власти Гитлера состав этих редколлегий или остался неизменным, или подвергся незначительным изменениям (по всей вероятности, связанным с удалением ученых-евреев)<sup>15</sup>.

В лучшем случае культ рационального начала, обретший свое институциональное выражение в виде современной науки, оказался неспособным предотвратить превращение государства в разновидность организованной преступности; в худшем – оказался инструментом, с помощью которого была осуществлена подобная трансформация. Их конкуренты, впрочем, тоже вели себя не лучшим образом. Было немало тех, кто мол-

чал за компанию с немецкими учеными. Больше всего бросается в глаза, что к молчавшим присоединились Церкви – всех конфессий. Молчание перед лицом организованной бесчеловечности – единственное, в чем представители разных Церквей, столь часто пребывающие в натянутых отношениях друг с другом, пришли к полному согласию. Никто из них не попытался поддержать свой погранный авторитет. Ни одна Церковь (за исключением отдельных служителей, оказавшихся в этом отношении в полном одиночестве) не признала свою ответственность за деяния, творившиеся в стране, которая считалась ее вотчиной, и творившиеся людьми, принадлежащими к ее пастве. (Гитлер никогда не отрекался от католической веры и не был отлучен от церкви.) Ни одна Церковь не воспользовалась своим правом на моральный суд над паствой и не призвала к раскаянию заблудших.

Взращивавшееся предшествующей культурной традицией отвращение к насилию оказалось плохой гарантией от организованного насилия, цивилизованные манеры продемонстрировали свою поразительную способность к сожительству – вполне мирному и гармоничному – с массовыми убийствами. Затяжной, нередко болезненный цивилизационный процесс оказался не в состоянии обеспечить хоть один барьер против геноцида. Эти механизмы понадобились для того, чтобы привести преступные деяния в соответствие с цивилизованным кодексом поведения – причем так, чтобы не вызывать сомнений в собственной правоте у тех, кто вершил эти деяния. У очевидцев же цивилизованное отвращение к бесчеловечности оказалось не настолько сильным, чтобы подвигнуть их на активное сопротивление. Большинство их реагировали на все это так, как предписывается реагировать на неприглядные и варварские вещи с точки зрения цивилизованных норм: они отводили глаза в сторону. Те немногие, кто поднялся против жестокости, не имели социальных санкций на то, чтобы поддерживать или убеждать их. Они были одиночками, которые в оправдание своей борьбы против зла могли лишь процитировать одного из своих выдающихся предшественников: *«Ich kann nicht anders»* («Я не могу поступить иначе»).

Перед лицом беспринципных возникших, оседлавших мощную машину современного государства с его монополией на физическое насилие и принуждение, все самые превозносимые достижения нынешней цивилизации оказались непригодными в качестве гарантии безопасности против варварства. *Цивилизация доказала свою неспособность обеспечить нравственное использование тех мощных сил, которые она же сама породила.*

## | Заключение

Если мы теперь зададимся вопросом, каков же был «первородный грех», позволивший случиться всему этому, то, похоже, наиболее убедительным ответом будет коллапс (или недоразвитость) демократии. В отсутствие традиционных авторитетов и ценностей политическая демократия – единственное, что может предохранить политику от экстремистских крайностей. Но демократия не может возникнуть в одночасье, еще больше времени ей требуется на то, чтобы прижиться и пустить корни, когда влияние бывших ценностей и системы контроля разрушено – особенно если все это было разрушено с излишней поспешностью. Подобные положения «междоусарствия» и нестабильности обычно имеют место во время и после масштабных перемен, когда старые основания социальной власти оказываются парализованными, а те, что должны прийти им на смену, пока недостаточно оформлены – в результате чего создается такое положение вещей, при котором различные *политические и военные силы не служат друг другу противовесом и никак не ограничены мощными и влиятельными социальными силами.*

Подобные ситуации случались и прежде – вслед за кровавыми завоеваниями или длительными междоусобными раздорами, которые заканчивались полным уничтожением традиционных элит. Возможные последствия подобных ситуаций могли быть различными. Как правило, следовал общий коллапс социального устройства. Военная разруха редко проникала в глубинные общинные системы социального контроля, но регулируемые на общинном уровне островки местного социального порядка подвергались воздействию беспорядочных актов насилия и мародерства и не выдерживали, поскольку социальная организация на более высоком уровне была дезинтегрирована. В большинстве случаев даже самые мощные удары по традиционной властной структуре в общественных устройствах предшествующих эпох отличались от современных общественных сдвигов в двух существенных аспектах: во-первых, они оставляли нетронутым – или по крайней мере жизнеспособным – первобытный общинный контроль за порядком и, во-вторых, они скорее ослабляли, чем усиливали возможность организованных действий на уровне выше общинного, поскольку социальная организация более высокого порядка разваливалась, и какое бы взаимодействие ни осуществлялось между отдельными местностями, все это оказывалось во власти сил, которые невозможно было координировать.

В современных условиях, напротив, происходят сдвиги – ввиду того, что общинные механизмы социальной регуляции



исчезли и местные общины теперь лишены былой самостоятельности и независимости. Вместо инстинктивного рефлекса полагаться на собственные (источники), образовавшийся вакуум заполняется новыми, но опять-таки силами, стоящими над общинными, которые стремятся внедрить государственную монополию насилия и принуждения – с тем чтобы насадить новый порядок на уровне всего общества. Вместо коллапса политическая власть оказывается фактически единственной силой, стоящей за вновь возникающим порядком. И в этом ее не могут ни остановить, ни сколько-нибудь заметно ограничить экономические и социальные силы, на которые серьезно повлияло разрушение или паралич старой властной структуры.

Это, конечно, лишь теоретическая модель, редко осуществляемая в полном объеме в реальной исторической практике. Тем не менее она заставляет обратить внимание на те социальные «вывихи», которые делают реализацию тенденций к геноциду весьма вероятной. Подобные «вывихи» могут различаться по форме и масштабам, но их объединяет общее следствие, проистекающее из явно *выраженного превосходства политического начала над экономическим и социальным, превосходство государства над обществом*. Возможно, в случае с русской революцией все это проявилось гораздо глубже. Но и в Германии подобный процесс зашел дальше и глубже, чем принято считать. Возникшее вскоре после Веймарской «интерлюдии» правление нацистов завершило революцию, которой Веймарская республика – с ее сложным взаимодействием старых и новых (еще незрелых) элит, которое лишь на первый взгляд походило на политическую демократию, – по разным причинам, была не в состоянии руководить. Старые элиты были заметно ослаблены и лишены былого влияния. Шаг за шагом на смену привычным формам экономического и социального влияния пришли новые, централизованные формы, исходящие от государства и им же узаконенные. Это сильно повлияло на все классы, но наиболее заметное воздействие оказало на те из них, которые могут реализовывать свою политическую мощь лишь коллективно, то есть классы, не являющиеся собственниками – и прежде всего на рабочий класс. Этатизация и сопутствующий ей роспуск всех автономных трудовых институтов и полное подчинение органов местного управления центральному – почти тотальному – контролю сделали эти классы по сути бесправными и практически исключили их из политического процесса. К тому же, возможное сопротивление социальных сил предотвращалось тем, что деятельность государства была окружена монолитной стеной секретности – по сути это был «заговор молчания» государства против населения, которым оно управ-

ляло. Всеобъемлющим следствием подобного положения вещей стала замена традиционной власти не иными гибкими формами самоуправления граждан, а практически тотальной монополией государственной власти, при которой социальные силы были лишены самоартикуляции, а значит, становилось невозможным формирование основ политической демократии.

Современные условия делают возможным появление «изобретательного» государства, способного заменить всю систему социального и экономического контроля на политическое управление и администрирование. Что еще более важно: современные условия обеспечивают необходимый «материал» для такого управления и администрирования. Современная эпоха, как мы помним, это время искусственного порядка и грандиозных социальных «дизайн-проектов», время плановиков, визионеров и – в более общем плане – культивирующих нечто «садовников», воспринимающих общество как целинную землю, которая должна культивироваться в соответствии с их планами.

Нет предела их амбициям и самонадеянности. Действительно, если смотреть на человечество сквозь очки современной власти, оно кажется столь всемогущим, а отдельные его представители – столь несовершенными, покорными и испытывающими нужду в совершенствовании, что отношение к людям как к растениям, которые надо подрезать (а при необходимости и вырывать с корнем), или как к разводимому скоту не представляется чем-то фантастическим или одиозным с моральной точки зрения. Один из ранних и самых главных идеологов немецкого национал-социализма Рихард Вальтер Дарре взял принципы животноводства за основу «политики народонаселения», которая, по его замыслу, должна была быть осуществлена будущим народным правительством:

Тот, кто оставляет растения в саду без присмотра, вскоре обнаружит, к своему удивлению, что там развелось множество сорняков, а основные характеристики оставленных на произвол растений претерпели существенные изменения. Если сад должен остаться местом разведения культурных растений, если, другими словами, он должен подняться выше жестких правил, диктуемых силами природы, требуется воля садовника, садовника, который, обеспечивая необходимые условия для роста или предохраняя от опасных воздействий извне (или делая и то и другое одновременно), заботливо ухаживает за тем, что требует ухода, и безжалостно изводит сорняки, которые лишают нужные растения питания, воздуха, света и солнечного тепла... Таким образом,

мы приходим к осознанию того, что вопросы культивации не есть нечто малозначительное для политической мысли, наоборот: они должны быть в самом ее центре, а соответствующие ответы должны проистекать из идеологического подхода. Приходится признать, что люди могут достичь духовного и морального равновесия лишь в том случае, если хорошо продуманный план по культивации стоит в центре культуры...<sup>16</sup>

Дарре озвучил в самых недвусмысленных и радикальных терминах амбиции всех одержимых «улучшением действительности», которое составляет самую суть современной позиции и которое с учетом возможностей нынешних властей требует от нас самого серьезного к себе отношения.

Периоды серьезных социальных «вывихов» – время, когда эта самая примечательная особенность современности становится наиболее очевидной. Действительно, ни в какое другое время общество не предстает таким бесформенным – «незавершенным», несовершенным и легко поддающимся влиянию извне, – в буквальном смысле ожидающим умелого и изобретательного дизайнера, который придаст бы ему нужную форму. Ни в какое другое время общество не кажется лишившимся сил и внутренних тенденций, неспособным противостоять рукам садовника и готовым покорно принять любую форму по его выбору. *Наличие плана придает всему происходящему законность, государственная бюрократия обеспечивает необходимые средства, а паралич общества как бы дает знак: «путь открыт».*

Условия, допускающие осуществление геноцида, есть нечто особенное, но не исключительное. Редкое, но не уникальное. Они не являются непременным атрибутом современного общества, но и не кажутся совершенно чужеродным элементом. В современных условиях геноцид не является ни проявлением ненормальности, ни признаком неисправности. Он наглядно демонстрирует, к чему может привести присущая современности «рациональная», «инженерная» тенденция, если ее никак не сдерживать, если вытравить плюрализм социальных сил – таков современный идеал разумно устроенного общества, бесконфликтного, полностью контролируемого, опрятного и гармоничного. Всякое ущемление возможности рядовых граждан высказывать свои интересы и «самоуправляться», каждая атака на социальный и культурный плюрализм и возможности их политического выражения, каждая попытка прикрыть беспредельную свободу государства завесой политической секретности, каждый шаг к ослаблению социальных основ политической демократии делает социальную катастрофу, сопостави-

мую по масштабам с холокостом, вполне возможной. Любой преступный замысел нуждается в определенных социальных средствах для их осуществления. Как и бдительность тех, кто хотел бы предотвратить реализацию подобных замыслов.

Нет недостатка в институтах, которые, как кажется, в состоянии осуществить преступные планы или – что еще хуже – не в состоянии сделать так, чтобы обычная, проблемно-ориентированная деятельность не приняла вдруг преступной направленности. Йозеф Вайзенбаум, один из самых проницательных наблюдателей и аналитиков, исследующих влияние на социальную сферу информационных технологий (недавнее достижение, недоступное во времена нацистского холокоста), полагает, что возможности для проведения геноцида в наше время, пожалуй, даже возросли:

Германия дала «окончательное решение еврейского вопроса» – как если бы это была задача из учебника по логике. Человечество на миг содрогнулось, когда не могло больше отводить взор от того, что творилось: когда стали появляться фотографии, сделанные самими убийцами, и когда заговорили те несчастные, кому удалось выжить. Но в конце концов все осталось, как прежде. Та же логика, та же холодная и бездушная калькуляция за следующие двадцать лет привели к убийству не меньшего числа людей, чем во времена «тысячелетнего» рейха. Мы так ничему и не научились. Цивилизация сегодня в такой же опасности, как и тогда<sup>17</sup>.

И причины, по которым «инструментальный рационализм» и человеческие ресурсы, предназначенные для его обслуживания, страдают, как и прежде, моральной слепотой, остаются все теми же. В 1966 году, более чем двадцать лет спустя после того, как открылась правда о преступлениях нацистов, группа выдающихся ученых разработала изящный, с научной точки зрения, и исключительно рациональный проект *электронного поля боя* для использования генералитетом в ходе вьетнамской войны. «Они могли давать свои советы, потому что находились на огромном “психологическом” расстоянии от тех людей, которых калечили и убивали с помощью систем вооружения, появившихся благодаря идеям, которые они озвучили своим заказчикам»<sup>18</sup>.

Благодаря быстро развивающимся информационным технологиям, которые – как ни одна из предшествующих технологий – преуспели в избавлении человечества от его человеческих объектов (люди, вещи и события программируются), раз-

говор идет о затратах на производство и производственной выработке, переменных обратной связи, процентах, процессах и т. д., в итоге контакт с конкретными ситуациями оказывается предельно абстрагированным. Остается лишь вывести графики и данные на печатающее устройство<sup>19</sup>, психологическая дистанция неотвратно растет – причем беспрецедентными темпами. Как растет и автономность технологического прогресса как такового от любых специально выбранных и впопыхах утвержденных человеческих целей. Сегодня, как никогда прежде, доступные технологические средства устанавливают критерии действенности и эффективности. К тому же, политическая и моральная оценка действия свелась к минимуму, если вообще не дискредитировала себя как неуместная и ненужная. Действие более не нуждается в каком-то ином обосновании для его совершения, кроме того, что доступные ныне технологии делают его вполне осуществимым.

Жак Эллюль предостерегает, что, освободившись от «ограничений» социальных задач, технология движется вперед лишь потому, что ее подталкивают сзади. Специалист не знает, с какой целью он работает, да это его не очень-то и беспокоит. Он работает лишь потому, что у него есть инструменты, позволяющие ему выполнить определенную задачу, преуспеть в новой операции. Он не видит перед собой конечной цели, для него есть лишь двигатель, не позволяющий стоять на месте, для него главное – обеспечить бесперебойную работу машины<sup>20</sup>.

Похоже, в наше время осталось еще меньше надежд на цивилизованные гарантии против бесчеловечности, вряд ли на них можно положиться в плане контроля за применением человеческого «инструментально-рационального потенциала» – коль скоро расчет эффективности превозносится как высшая доблесть при определении политических задач.

## Склоняя жертвы к сотрудничеству

*«Рок – это взаимодействие злодеев и их жертв».*  
Рауль Хильберг

В памятном утверждении Ханны Арендт (о том, что если бы не постыдное поведение евреев-коллаборационистов и не усердие юденратов\*, то число жертв было бы гораздо меньше) ее позиция сформулирована предельно полно и ясно. Резкая оценка Арендт мало соотносится с тем фактом, что при всем разнообразии линий поведения, избранных лидерами гонимых общин: будь то самоубийство Чернякова\*\*, активное и сознательное сотрудничество с нацистскими властями Румковского\*\*\* и Генса\*\*\*\* или по-

---

\* Юденрат (*Judischer Ordnungsdienst*) – еврейский административный орган самоуправления. Был создан по инициативе немецких оккупационных властей в 1939 году при Генерал-губернаторстве Польши. На территории Европы во время Второй мировой действовал 101 юденрат. Представители некоторых юденратов, например, в гетто Минска и Лавы, активно поддерживали связь с движением Сопротивления. В большинстве случаев юденраты сотрудничали с нацистами.

\*\* Адам Черняков (1880–1942) – глава юденрата Варшавского гетто, покончил с собой, когда узнал о планах нацистов о массовой депортации евреев в концлагерь Трешлинка.

\*\*\* Мордехай Хаим Румковский (1877–1944) – глава юденрата Лодзинского гетто, сотрудничал с нацистами, погиб в Освенциме.

\*\*\*\* Якоб Генс (1902–1943) – начальник полиции Вильнюсского гетто, ликвидирован нацистами.

луофициальная поддержка вооруженного сопротивления юденратом в польском городе Белостоке, – финальный исход был всегда одним и тем же: практически поголовное уничтожение общин и их лидеров. Необходимо также отметить, что около трети евреев, уничтоженных нацистами, были убиты ими без всяких предварительных обращений в еврейские советы и комитеты за прямым или косвенным содействием. (Для сравнения: войну против России Гитлер недвусмысленно назвал «истребительной войной», вслед за победоносно наступавшим в самом ее начале вермахтом следовали печально известные айнзатцгруппы (*Einsatzgruppen*), спецотряды, безжалостно выметавшие все на захваченной советской территории, – на этот раз нацисты не стали чересчур утруждать себя созданием еврейских гетто и назначением юденратов.) Тем не менее и сейчас продолжают звучать заявления о том, насколько сотрудничество евреев с нацистами повлияло на уничтожение евреев в Европе. Прямо противоположная точка зрения сформулирована Исайей Транком в заключении к самому полному и всеобъемлющему исследованию обширных записей юденратов. Согласно этой точке зрения, «участие или неучастие евреев в депортации не оказывало существенного влияния на окончательный исход холокоста в Восточной Европе». В подтверждение своих слов Транк указывает на многочисленные случаи, когда отказ представителя того или иного юденрата подчиниться приказаниям СС либо приводил к замене его на более покорного человека, или же к тому, что эсэсовцы обходились без еврейского посредничества и сами производили «отбор» очередных жертв (правда, в большинстве случаев это делалось с помощью еврейской полиции). Очевидно, что *отдельные* случаи неповиновения не имели сколь-либо заметных последствий – прежде всего из-за того, что во многих других случаях нацисты *могли* рассчитывать на сотрудничество со стороны евреев и при проведении операций по уничтожению задействовали собственные силы по минимуму. Остается лишь гадать, насколько эффективнее было бы неповиновение, если бы нацисты могли ожидать его проявления в массовом порядке. Тем не менее, представляется вполне вероятным, что, будь подобное сотрудничество не столь предсказуемым и менее обширным, организаторам сложных операций по массовому уничтожению людей пришлось бы столкнуться с управленческими, техническими и финансовыми проблемами совсем иного масштаба. Как я уже упоминал в первой главе, лидеры обреченных коммун выполняли большую часть подготовительной бюрократической работы, необходимой для проведения подобных операций (обеспечивая нацистов необходимой документацией и храня данные на будущих жертв), следили за тем, чтобы жертвы дожили до момента, когда газовые каме-

ры будут готовы принять их, обеспечивали поддержание правопорядка среди захваченного населения – избавляя от этого захватчиков, обеспечивали бесперебойность процесса уничтожения, намечая будущие «объекты» и доставляя затем в места, где их можно было собрать, и изыскивая финансовые ресурсы, необходимые для оплаты «последнего путешествия». Без всей этой существенной и весьма разнообразной помощи холокост, наверное, все равно имел бы место – но при этом вошел бы в историю как другой, возможно, не столь жуткий эпизод. Это был бы еще один из множества имевших место случаев массового насилия над незащищенным населением со стороны кровожадных оккупантов, движимых чувством мести или ненависти. С другой стороны, холокост ставит историков и социологов перед принципиально новым выбором. Он оказывается, по сути, окном, через которое можно разглядеть процессы, ставшие возможными благодаря сугубо современному искусству рационального действия; новые возможности и новые горизонты, открывшиеся перед современной властью, что сделало возможным осуществление подобных процессов во имя удобных ей целей. Что касается этого ужасающего аспекта холокоста, то верную точку зрения на него можно выработать, исходя не столько из кровавой истории впечатляющего насилия времен геноцида, сколько из «обычной» практики властей в процессе управления современным обществом.

В целом практика геноцида исключает подобное сотрудничество со стороны жертв, столь характерное для холокоста. «Обычный» геноцид редко – если такое вообще бывает – ставит целью полное уничтожение той или иной группы населения, цель насилия в данном случае (если оно осуществляется преднамеренно и по заранее составленному плану) – разрушить избранную категорию (нацию, народность, религиозную секту) как жизнеспособную общность людей, отстаивающую свою сохранность и идентичность. Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы: 1) масштабы насилия были достаточными для подрыва воли и устойчивости жертв, они должны подчиниться силе выше и принять навязываемый им порядок; 2) указанная группа должна быть лишена средств, необходимых для дальнейшего сопротивления. При соблюдении двух этих условий жертвам не остается ничего другого, кроме как сдаться на милость своих мучителей. Преследуемые могут надолго оказаться в положении рабов или же будут вынуждены занять отведенное им место в новом порядке – на условиях, установленных победителями: какой из этих двух вариантов будет выбран, всецело зависит от желания угнетателей. Но какой бы вариант ни был избран, преступники останутся в выигрыше. Они распространяют и укрепляют свою власть, с корнем вырывая ростки оппозиции.



Среди средств сопротивления, которые подлежат уничтожению с тем, чтобы сделать насилие максимально эффективным (уничтожение этих средств, возможно, – центральный пункт проводимого геноцида и, безусловно, мера его эффективности), самыми важными по-прежнему остаются традиционные элиты обреченных сообществ. Максимальный эффект дает «обезглавливание» противника. Считается, что в этом случае сообщество, против которого направлено насилие, лишившись признанных лидеров и центров власти, утрачивает свои связующие свойства и способность отстаивать собственную идентичность, а значит, и «оборонительный потенциал». Внутренняя структура группы распадается, вместо нее остается лишь скопление отдельных индивидуумов, которых будет несложно вырвать по отдельности и «встроить» затем в новую структуру, управляемую победителями, – или же насильственно превратить эту группу в покорное, лишенное внутреннего единства образование, целиком находящееся во власти правителей нового порядка. Таким образом, традиционные элиты обреченного сообщества – это главная мишень геноцида, поскольку геноцид проводится с целью разрушить избранную группу как единое сообщество, как внутренне связную и автономную сущность. Поскольку Гитлер воспринимал Восточную Европу как огромное жизненное пространство (*Lebensraum*) для постоянно увеличивающейся немецкой расы, а на нынешних обитателей этих земель смотрел как на будущих рабов, призванных обслуживать интересы новых хозяев, оккупационные силы Германии методично искореняли любые признаки местной политической структуры и культурной автономии. Они преследовали, сажали в тюрьму или пытались уничтожить физически все активные элементы покоренных славянских народов, а чтобы исключить воспроизводство национальных элит, закрыли все образовательные учреждения, за исключением начальных, и запретили все местные «культурные инициативы» – за исключением орально уцербных. Но, поступая так, захватчики исключали и всякую возможность сотрудничества с представителями поработанных народов (если они вообще рассматривали подобную возможность) – не считая услуг, оказываемых местными маргинальными и криминальными элементами. Поскольку местные элиты были изначально обречены на уничтожение, захватчики могли рассчитывать лишь на собственные средства и должны были проводить любые действия с местным населением по графе «убыль», а не «прибыль».

В отношении евреев нацисты никогда не ставили своей целью их порабощение. Если поначалу и не замыслились столь масштабные убийства, в любом случае положение, которое на-

цисты стремились создать, подразумевало тотальное эффективное удаление (*Entfernung*) евреев из сферы жизненного пространства германской расы. Гитлер и его последователи не нуждались в услугах, которые могли предложить евреи – даже в виде рабского труда. Осуществление этого замысла – будь то эмиграция, насильственное выселение или физическое уничтожение – требовало «особого отношения» к традиционным еврейским элитам. Им предстояло разделить участь своих собратьев: какое бы положение ни было уготовано евреям в целом, оно не предполагало исключений ни для кого, оно в равной мере и форме относилось ко всем представителям расы. Возможно, вследствие подобного «тотального» подхода к еврейской проблеме и удалось выжить еврейской общинной структуре, автономии и традиционным формам самоуправления (при том что похожие факторы на всех оккупированных славянских землях целенаправленно уничтожались). А это выживание означало, что традиционные еврейские элиты сохраняли былые позиции – и в управленческом, и в духовном плане – на всем протяжении холокоста. Возможно, их традиционное положение даже укрепилось – и сделало в этом плане бессмысленной практику создания гетто, где евреи жили обособленно от всех остальных граждан.

Методы, используемые для утверждения еврейских элит в их новой роли (в качестве юденратов), могли различаться: от проводимых нацистами выборов в некоторых наиболее крупных гетто на Востоке и прочно укоренившихся еврейских коммунах на Западе до назначения председателей совета из числа наиболее уважаемых стариков, проводившегося на местной рыночной площади. Есть немало доказательств, что нацистские управляющие «еврейскими кварталами» стремились сохранить и даже повысить авторитет назначенных еврейских лидеров: престиж «еврейских советов» обеспечивал инертность еврейских масс. В своем знаменитом приказе, отправленном из Берлина 21 сентября 1939 года всем немецким комендантам в недавно оккупированных польских городах, Гейдрих настаивал, что еврейские советы старейшин «должны состоять из пользующихся авторитетом лиц и раввинов» – и далее оглашал длинный список жизненно важных задач, за выполнение которых эти советы, наделенные соответствующими полномочиями, должны нести полную ответственность. Можно предположить, что стремление нацистов делать все в гетто «еврейскими руками» диктовалось, среди прочего, их желанием придать больше внушительности власти еврейских лидеров. Еврейское население было полностью исключено (в Германии – постепенно, на оккупированных территориях – резко, в один мо-

мент) из юрисдикции обычных властей и отдано целиком и полностью в руки их лидеров-единоверцев, которые, в свою очередь, получали соответствующие указания (и были им подотчетны) от немецких органов управления, которые, опять-таки, не были включены в «нормальную» властную структуру. Юридические принципы, на которых строилась жизнь гетто (представлявшая собой странную смесь самоуправления с полной изоляцией от внешнего мира), были изложены и кодифицированы в 1940 году Германом Эрихом Зайфертом:

Для германских властей на оккупированных территориях не существует евреев-индивидуумов. Они в принципе не имеют с евреями-одиночками никаких дел... но исключительно с еврейскими советами старейшин (*Alttestenrate*). С их помощью евреи могут решать все свои внутренние вопросы, включая религиозные, с другой стороны, они обязаны полностью и неукоснительно соблюдать требования и предписания немецкой администрации. Члены совета старейшин – *Alttestenrate* – в большинстве случаев это наиболее состоятельные и уважаемые люди общины – лично отвечают за исполнение подобных указаний. Отдаленно эти *Alttestenrate* напоминают Кагалы, с помощью которых осуществлялась «еврейская политика» в (царской) России, но с одним существенным отличием: Кагалы наделяли евреев правами и эти права защищали; через *Alttestenrate* распределяются обязанности евреев... Какое-либо обсуждение или спор по поводу Немецкого порядка исключен<sup>1</sup>.

Еврейские лидеры формально обладали ничем и никем не ограниченной властью над населением, оказавшимся на положении пленных. Относительно же вышестоящих они были полностью во власти криминальной организации, свободной от контроля конституционных органов власти. Еврейские элиты, таким образом, выполняли основную посредническую роль в системе ограничения прав евреев; довольно нетипичное для геноцида обстоятельство: тотальная подчиненность населения захватчикам достигалась не путем разрушения, а, напротив, усиления общинной структуры, и главную роль в этом играли их собственные элиты.

Парадокс заключается в том, что на начальных стадиях «окончательного решения» положение евреев было больше сродни положению подчиненной группы в рамках нормальной властной структуры, нежели напоминало положение жертв в условиях «обычного» геноцида. В значительной степени *евреи*

*были частью социального установления, порядка, который должен был их уничтожить. Они представляли собой важное звено в цепи скоординированных действий, их собственное поведение было необходимой частью всей операции в целом – и решающим условием ее успеха. При «обычном» геноциде действующие лица четко и недвусмысленно делятся на тех, кто убивает, и тех, кого убивают: для последних сопротивление представляется единственно разумным и приемлемым ответом на творимое по отношению к ним насилие. При холокосте же не было столь четкого деления. Встроенное определенным образом в общую структуру власти, наделенное в рамках этой структуры немалым числом задач и функций, обреченное население имело некоторый выбор. В его сотрудничестве с заклятыми врагами и будущими убийцами присутствовала немалая доля расчета. Евреи, таким образом, могли играть на руку своим притеснителям, выполнять предписанные ими задачи, приближать собственную погибель, при этом руководствуясь собственным расчетом, направленным на то, чтобы выжить.*

В силу указанного парадокса документы времен холокоста дают уникальную возможность представить основные принципы подавления посредством бюрократических структур. Холокост, безусловно, является экстремальным вариантом явления, которое обычно проявляется в более мягких формах и редко направлено на тотальное уничтожение притесняемых. Как раз по причине его экстремальности холокост обнажает те аспекты бюрократического притеснения, которые в иной ситуации остаются незамеченными. В их общем виде эти аспекты имеют широкую сферу применения, и для того чтобы понять, каким образом осуществляется власть в современном обществе, необходимо принять их во внимание. Наиболее заметный среди всех этих аспектов – *способность современной, рациональной, бюрократически организованной власти инициировать действия, функционально необходимые для поставленных ею целей и в то же время находящиеся в резком противоречии с жизненными интересами тех, кто эти действия осуществляет.*

Способность блокировать жертвы не является универсальной: чтобы обладать ею, бюрократическая система должна выполнить следующие условия – вдобавок к ее собственной внутренней иерархии управления и принципам скоординированных действий. Бюрократия должна быть, прежде всего, полностью специализированной – и иметь безусловную монополию в осуществлении этих специальных функций. Говоря проще, это значит: на какие бы целевые объекты ни была направлена деятельность той или иной бюрократической структуры, она должна быть сосредоточена только на этой одной конкретной

категории – и больше никакой. Она не в состоянии повлиять на ситуацию в неподвластных ей вотчинах, но и ее деятельность пребывает исключительно в ее компетенции – и ничьей больше. Первое условие делает невозможными какие-либо внешние вмешательства в бюрократический процесс. Когда проблема рассматривается с двух разных позиций, этим сторонам не просто прийти к общему знаменателю и осуществить единые слаженные действия. При соблюдении второго условия целевая категория изначально понимает или очень скоро начинает осознавать, что всякая апелляция к властным бюрократическим структурам – помимо той, в ведении которой она находится, – напрасна и неэффективна; в некоторых случаях сама по себе подобная апелляция может быть расценена как нарушение правил игры (устанавливать которые дано все той же бюрократии) и привести к тяжелым последствиям. Таким образом, если оба условия соблюдены, целевая категория оказывается лицом к лицу со «своей» бюрократией, которая одна способна принимать разумные решения по данному вопросу. Другими словами, бюрократия, осуществляющая целенаправленную политику в каком-то вопросе и обладающая исключительным правом на ее осуществление, вправе устанавливать собственные параметры поведения для ее жертв – и, соответственно, может включать их рациональные мотивы в число имеющихся у нее средств для выполнения собственных задач. Чтобы бюрократически организованная власть могла рассчитывать на сотрудничество той самой категории, которой предстоит быть частично или полностью уничтоженной, необходимо эту категорию эффективно «блокировать»: или физически – путем ее изъятия из контекста привычной повседневной жизни и контактов с другими группами, или психологически – за счет открытых и недвусмысленных дискриминационных дефиниций и давления на уникальность целевой категории.

В речи, произнесенной им в апреле 1935 года, берлинский раввин Йохим Принц суммировал житейский опыт «блокированной» категории: «Гетто – это весь мир. Все, что за стенами твоего дома, – это гетто. На рыночной площади, на улице, в кафе – повсюду гетто. У него есть свой характерный признак: отсутствие соседей. Наверное, ничего подобного не было прежде нигде в мире, а потому никто не знает, насколько у человека может хватить терпения, чтобы выносить это: жизнь без соседей...»<sup>2</sup>

К 1935 году будущие жертвы холокоста уже знали, что они – в одиночестве. Они не могли рассчитывать на поддержку со стороны. Они остались один на один с собственными страданиями. Люди, столь близкие физически, в душевном плане оказались

бесконечно далекими друг от друга: они не делились пережитым. Говорить о перенесенном страдании непросто. Евреи, от имени которых говорил раввин Принц, знали, что чиновники в еврейских управах – это тоже «часть игры»: они устанавливали правила, они же их меняли, и они определяли ставки. Таким образом, их действия были единственным реальным фактом, который следовало принимать в расчет и учитывать, выстраивая собственную линию поведения. Изъятие из большого мира чрезвычайно сузило границы житейских обстоятельств, главным из них теперь была власть гонителей, от которой не было спасения. «Физическое изгнание евреев, по большому счету, осталось незамеченным, потому что задолго до этого немцы изгнали их из своих голов и сердец»<sup>3</sup>. Сначала была изоляция духовная. Достигалась она самыми разными средствами.

Наиболее явным была прямая апелляция к довольно распространенным антисемитским настроениям и разжигание подобных настроений среди людей, прежде индифферентно относившихся к евреям и «еврейской проблеме». Этим занималась нацистская пропаганда – и занималась более чем успешно: ни одно ее усилие, ни одна материальная затрата не пропали даром. Евреев обвиняли в одиозных преступлениях, постыдных намерениях и чудовищных наследственных пороках. Мало того: не обошли стороной и присущую современной цивилизации одержимость гигиеной – нагнетались страхи и фобии, прежде возникавшие только из-за микробов и паразитов. Еврейство преподносилось как чуть ли не заразная болезнь, а каждый из ее «носителей» – как печально известная тифозная Мэри. Любой контакт с евреем был чреват большими неприятностями. Были задействованы социально-психологические механизмы, провоцировавшие чувство неприятия и отвращения (как, скажем, при виде сырого мяса или запаха человеческой мочи – реакции, столь убедительно описанные Норбертом Элиасом в его рассуждениях о развитии цивилизованного начала), чтобы само по себе присутствие поблизости евреев вызывало реакцию отторжения.

Впрочем, эффективность проповеди антисемитизма была не безграничной. Немало людей обладали иммунитетом против пропаганды ненависти или – в более общем плане – против иррациональной интерпретации окружающего мира, усиленно насаждавшейся нацистской пропагандой. Еще больше людей, без особых возражений принимавших официальное определение сущности еврейства, отказывались использовать его применительно к конкретным евреям, которых они знали лично. Будь антисемитская пропаганда единственным средством изоляции евреев от общей жизни, она, скорее всего, потерпела бы неудачу – и привела бы, в лучшем случае, к расколу населения

на лагерь убежденных юдофобов и, возможно, более разобщенную и менее организованную, но все же внушительную массу нон-коллаборационистов и активных защитников «беспричинно преследуемых». Но ее оказалось бы совершенно недостаточно, чтобы удалить евреев «из голов и сердец» множества немцев настолько радикально, чтобы последующее физическое устранение евреев не вызвало протеста и возмущения.

Воздействие антисемитской пропаганды, однако, поддерживалось и заметно усиливалось тем, что одновременно были задействованы и иные антиеврейские меры, бившие в одну цель. Каждая успешная акция, пусть даже оказавшаяся недостаточно эффективной в плане достижения конкретной декларируемой цели, вносила свой вклад в осуществление общего замысла: она углубляла пропасть между евреями и всеми остальными, лишней раз подчеркивала внушаемую всем главную мысль. Сколь ни были ужасны вещи, творившиеся по отношению к евреям, они практически никак не затрагивали положения всех остальных граждан, а потому мало кого беспокоили помимо самих евреев. Теперь мы знаем из тщательно проанализированных исторических свидетельств, сколько энергии приложили высшие чины нацистской бюрократии и нанятые ими эксперты, чтобы создать наиболее устраивающее их определение евреев: при всей изощренности использованных там юридических формулировок, оно выглядит смехотворным и неуместным на фоне чудовищного насилия в отношении евреев. На самом деле поиск юридически безупречного определения был не просто «пережитком» культуры юридического мышления (*Jurisprudenzkultur*), которую нацисты так и не смогли до конца изжить, или знаком уважения к не совсем еще забытой традиции правового государства (*Rechtsstaat*). Правильно сформулированное «определение еврейства» требовалось для того, чтобы внушить очевидцу творимого беззакония: то, что он видит – или о чем догадывается, – с ним самим никогда не случится, а следовательно, никак не затрагивает его собственные интересы. Чтобы добиться подобного эффекта, требовалось однозначное определение, которое позволяло бы с ходу определить, кто еврей, а кто – нет, которое исключало бы малейшую возможность неясного, путаного, смешанного или двоякого толкования, не допускало бы противоречивой интерпретации. При всей абсурдности их сути и мнимой функциональной уместности, печально известные Нюрнбергские законы идеально соответствовали указанной выше задаче<sup>4</sup>. Они не оставляли никакой «нейтральной полосы» между евреями и неевреями. Они породили целую категорию людей, которым было уготовано «специальное обращение» (*Sonderbehandlung*) и, в конечном

счете, уничтожение. А еще они одним махом сотворили гораздо более многочисленную категорию надежных и безупречных граждан рейха, чистокровных арийцев. С той же целью – но с разной степенью успеха – ставили специальные знаки на еврейских магазинах (подчеркивая таким образом принадлежность и безопасность магазинов, оставшихся «непомеченными»), а уцелевших немецких евреев заставляли «украшать» свою одежду специальными желтыми значками. Как следствие, «примечательный, если можно так выразиться, еврейский вопрос у большинства немцев вызывал минимальный интерес». Когда рейх двинулся на Восток и настало время принудительного выселения (*Aussiedlung*), большинство людей «мало задумывались и еще меньше спрашивали вслух, что происходит с евреями на Востоке. Большинство относилось к евреям по принципу “с глаз долой – из сердца вон”... Дорога на Освенцим была проложена ненавистью, но вымощена равнодушием»<sup>5</sup>.

Своеобразным аккомпанементом к процессу изгнания евреев была оглушительная тишина всех признанных и авторитетных элит немецкого общества: всех тех, кто теоретически мог поднять свой голос против страшного бедствия и заставить прислушаться к себе. Причина молчания отчасти кроется в широкой поддержке разработанного наверху плана по отчуждению и отстранению (*Entfernung*) нации и культуры, которая воспринималась как нечто чужеродное и нежелательное. Но это все же не единственная – и, пожалуй, не решающая причина. Захват власти нацистами не внес изменений в привычные правила «профессионального поведения»; оно подразумевало лояльность властям, как это повелось еще до начала новой эры, принцип «морального нейтралитета разума» и стремление к рациональности, не допускавшее компромисса с факторами, не имеющими отношения к техническому успеху того или иного научного исследования. В германских университетах, как и в подобных заведениях других стран, культивировалось «идеальное» представление о науке как о деятельности, свободной от ценностных категорий, ученые отстаивали свое право и долг служить «интересам истины и знания» и игнорировать все прочие соображения, которые идут вразрез с сутью и целью научных программ. В свете всего вышесказанного молчание, и даже содействие, оказанное немецкими научными институтами в осуществлении нацистских замыслов, уже не кажется таким уж неожиданным и шокирующим. Американец Франклин Ч. Литтелл настаивает, что:

Кризис доверия к современным университетам порожден тем обстоятельством, что лагеря смерти спланировали, построили и снабдили соответствующей техни-



ческой «начинкой» вовсе не неучи и не дикари-недоумки. Центры убийств, как и их разработчики, стали порождением того, что на памяти не одного поколения считалось одной из лучших университетских систем мира...

Наши выпускники работают – не испытывая при этом душевных мук – в Чили при социал-демократах и при фашистах, на греческую хунту и Греческую республику, на франкистскую Испанию и Испанию республиканскую, на Россию, на Китай, на Кувейт и на Израиль, на Америку, Англию, Индонезию или Пакистан... Это суммирует, если говорить прямо, историческую роль высокообразованных специалистов, тех, кто приобрел определенные профессиональные навыки и впитал при этом моральную, этическую и религиозную индифферентность современных университетов...

Далее автор сетует, что много лет в его стране было куда проще обсуждать осквернение и использование науки в неблагоприятных целях нацистами, нежели говорить о сомнительных услугах, оказанных американскими университетами компаниям «Доу Кемикал», «Ханиуэлл» и «Боинг Эйркрафт» или, скажем, корпорации «Ай-Ти-Ти», причастной к установлению фашизма в Чили<sup>6</sup>.

Что было по-настоящему важно и существенно для немецких научных (и, шире, интеллектуальных) элит, а также для самых лучших, самых выдающихся их представителей – это сохранить в первозданном виде свою чистоту ученых и полномочных представителей Разума. Подобная постановка вопроса не включала (а в случае внутреннего конфликта полностью исключала) озабоченность этической сутью их профессиональной деятельности. Алан Байерхен обнаружил, что весной и летом 1933 года такие светила германской науки, как Планк, Зоммерфельд, Гейзенберг или фон Лау, все в один голос рекомендовали коллегам проявлять сдержанность и выдержку во всем, что касается взаимоотношений с новыми властями – особенно с учетом возможных увольнений и эмиграции. Основная цель деятелей науки заключалась в том, чтобы сохранить профессиональную автономию избранной ими отрасли знаний, избегая открытой конфронтации – и ожидая скорого восстановления размеренного уклада жизни<sup>7</sup>. Они все стремились защитить и спасти то, что было самым важным для них, – а это было возможно лишь при условии, что они проявят полную готовность забыть о менее существенных для них вещах. И они охотно демонстрировали подобную готовность – тем более что

«размеренный уклад», установившийся после безумств нацистского «медового месяца», не очень отличался от того, к чему эти профессора привыкли и что они так ценили. (Разве что куда-то исчезли некоторые из их старых коллег, а входя в аудиторию, где в основном сидели теперь студенты в форме, надо было приветствовать их по-новому.) Их профессиональные услуги были востребованы и ценились по достоинству, амбициозные и захватывающие научные проекты щедро финансировались – любая запрошенная за это цена не показалась бы им чрезмерной. Гейзенберг отправился к Гиммлеру в надежде получить высочайшее заверение, что ему и его коллегам (за исключением тех, что внезапно куда-то пропали) будет дозволено и дальше заниматься тем, чем они хотели заниматься и что ценили превыше всего. В беседе с ученым Гиммлер заявил, что надо четко различать научные изыскания физиков и их «политическое поведение». Надо полагать, для Гейзенберга это прозвучало как музыка: это как раз то, что его с самого начала и учили делать! Он энергично взялся за дело, активно отстаивая нацистские идеи – особенно в заграничных поездках и во время военных действий, – и с большим усердием направлял деятельность одной из двух научных групп, привлеченных к созданию ядерных зарядов. Без сомнения, двигало им, ученым до мозга костей, желание «увидеть, как оно все будет» и преуспеть в решении поставленной задачи<sup>8</sup>.

«История того, как интеллектуалы лишались былого влияния, это всегда история их добровольной сдачи, – пишет Йохим С. Фест. – Если они чему-то и сопротивлялись, то разве что соблазну наложить на себя руки»<sup>9</sup>. Как правило, у интеллектуалов – вчерашних жертв, а ныне придворных при нацистском режиме, – оказывалось мало причин для самоубийства, зато находилось великое множество поводов для добровольной – иногда очень даже охотной – сдачи. Примечательный момент: трудно сказать, где начинается эта сдача – и практически невозможно предугадать, где она завершится. Во время погромов «Хрустальной ночи» видели, как жена видного ориенталиста профессора Какле помогала своей приятельнице-еврейке наводить порядок в ее разгромленном магазине. После чего ее супругу был объявлен бойкот, он впал в немилость и вынужден был уйти в отставку.

Последующие месяцы стали периодом настоящего «карантина», во время которого лишь три человека – из всего окружения профессора, научного и социального, – осмелились позвонить ему под покровом темноты. Еще одной весточкой из внешнего мира стало письмо от группы коллег, в котором те выражали со-

жаление, что неосмотрительное поведение жены, лишенной необходимой доли инстинкта, стоило ему «почетной отставки» из университета<sup>10</sup>.

Примечательно и другое: сколь бы болезненной ни была эта процедура пособничества на первых порах, со временем она из повода для стыда превращалась чуть ли не в предмет гордости. Сдавшиеся становились соучастниками преступления, а значит, сталкивались с презрением, которое вызывает всякое пособничество в совершении преступления. Люди, поначалу с презрением и отвращением воспринимавшие антисемитские благоглупости нацистской пропаганды и хранившие молчание «лишь во имя спасения высших ценностей», несколько лет спустя обнаруживали вдруг, что их искренне радует благословенная кадровая чистота университетов и однородность германской науки. Их собственный – «разумный» – антисемитизм становился тем прочнее, чем сильнее преследовали евреев. Тому есть простое – и гнетущее – объяснение: когда люди осознают, хотя бы отчасти, какая большая несправедливость творится вокруг, и по недостатку великодушия или смелости не протестуют против этого, они автоматически перекалдывают вину за все происходящее на самих жертв – простейший способ избавиться от мук собственную совесть<sup>11</sup>.

Так или иначе, одиночество евреев в Германии стало тотальным. Они теперь жили в мире без соседей. Все, что было столь значимо для их дальнейшей судьбы, для остальных жителей страны просто не существовало. Нацистская власть была единственной «другой составляющей» еврейского мира. Как бы евреи ни воспринимали свое положение, суть его сводилась к одному-единственному фактору: действиям, которые нацистские палачи считали наиболее нужными и подходящими. Как существа разумные, евреи вынуждены были вести себя с учетом возможной реакции на это нацистов.

Как существа разумные, они допускали, что существует определенная логическая связь между любыми действиями и реакцией на них, а в их случае подобные действия должны были быть более чем взвешенными и целесообразными. Как существам разумным, им приходилось руководствоваться теми принципами поведения, которые поощрялись их надзирателями-бюрократами: эффективность, максимум выгоды, минимум затрат.

Поскольку у нацистов был неделимый и неоспоримый свод правил и ставок в игре, они могли использовать эту еврейскую рассудительность как средство достижения своих собственных

целей. Они могли корректировать правила и ставки так, что всякое разумное, по идее, действие лишь усугубляло беспомощное положение их будущих жертв и приближало на дюйм или два к окончательному уничтожению.

## Игра «Спаси то, что еще возможно»

Игра, в которую евреи оказались насильно втянутыми по воле нацистов, была игрой не на жизнь, а на смерть. А потому всякое разумное действие в этом случае могло быть направлено (и, соответственно, оценивалось по этому критерию) на то, чтобы повысить свои шансы на выживание – или хотя бы уменьшить масштабы бедствия. Все значимые вещи мира свелись теперь к одному-единственному желанию (или, во всяком случае, явно уступали ему по значимости): остаться в живых. Сейчас это более чем ясно, однако в то время жертвам это было не столь очевидно – по крайней мере на ранних этапах «извилистой дороги в Аушвиц». Мы уже знаем, что сами нацисты, включая их лидеров, затевали войну против евреев, не вполне ясно представляя себе ее окончательный исход. Поначалу была поставлена весьма скромная цель: отчуждение, отделение евреев от немецкой расы, в перспективе Германия должна была стать «очищенной от еврейства» (*judenrein*).

Это уж потом, на более позднем этапе – в бюрократическом стремлении к поставленной цели, – идея физического уничтожения евреев показалась «разумным» – и технически вполне осуществимым – «решением». Но и после того как роковое решение Гитлера об уничтожении русских евреев открыло новые горизонты на прежде даже не рассматривавшиеся возможности перед рьяными «экспертами по еврейскому вопросу», составной – и решающей – частью нового плана нацистов было сохранение в тайне истинной сути «окончательного решения».

Отправка жертв в газовые камеры именовалась «переселением», а подлинное предназначение центров уничтожения скрывалось за общим понятием «Восток». Когда представители гетто обращались к чинам СС с вопросом, имеют ли слухи о предстоящих убийствах хоть какое-то основание под собой, те все отрицали. Все это держалось в тайне до самого конца. Евреям из зондеркоманд, обслуживавших газовые камеры, грозила немедленная гибель, если они сообщали только что прибывшим на железнодорожных платформах для скота жертвам, что

вон то здание – вовсе не общественная баня. Делалось это, разумеется, не для того, чтобы облегчить предсмертные физические и душевные муки жертв, а чтобы они не создавали лишних проблем своим мучителям и входили в газовые камеры без принуждения.

На всех стадиях холокоста жертвы *оказывались перед выбором* на субъективном уровне – объективно никакого выбора уже не оставалось (участь жертв была предрешена секретным решением об их уничтожении). Они не могли выбирать между более и менее благоприятными ситуациями, но по крайней мере у них был выбор между большим и меньшим злом. Самое важное, что они могли облегчать собственную участь, подчеркивая свое право на исключение или особое отношение. Другими словами, им *было что спасать*. Чтобы поведение их жертв было более предсказуемым, а значит, более контролируемым и манипулируемым, нацисты должны были навязать им определенную «модель рационального поведения». А для этого надо было заставить жертв поверить, что им есть что спасать, что есть четкие правила, следуя которым, можно этого добиться. Требовалось внушить, что нет единого, унифицированного отношения ко всей группе, что множество ее членов будут дифференцированы, и отношение к каждому из них в отдельности будет зависеть от его заслуг. Другими словами, надо было навязать жертвам мысль, что их поведение имеет какое-то значение, что их участь хотя бы отчасти зависит от них самих.

Существование бюрократически определенных категорий, отличавшихся друг от друга набором определенных прав и ограничений, вызывало яростные попытки добиться «ре-классификации», доказать, что человек «заслуживает» того, чтобы его зачислили в категорию получше. Нигде это не проявлялось так явно, как в случае с полукровками (*Mischlinge*) – то есть «третьей расой», сотворенной в недрах германского законодательства и занимавшей промежуточное положение между лишенными всяких гражданских прав «полными евреями» и непорочными членами немецкого народа. «Из-за подобной дискриминации под прессом особого отношения оказывались коллеги, начальство, друзья и родственники. В результате в 1935 году была установлена процедура “переведения полукровок в более высокую категорию”... Эта процедура получила название *Befreiung* (освобождение). Зная, что усилия могут быть не напрасными, что возможно оспорить, и даже добиться отмены присвоенной тебе категории «по крови», люди удвоили рвение. Можно было – и многим это удалось – получить «истинное» освобождение, натурализацию, подтвердив

свои заслуги (Высший суд Германии постановил, что «поведения недостаточно, решающее значение имеет позиция, отношение, которые кроются за этим поведением»). Возможно было даже – как в случае с одним правительственным чиновником из среды полукровок, человеком, внесшим немалый вклад в истребление евреев, – получить сертификат о *Befreiung* в качестве рождественского подарка, доставленного спецкурьером прямо под семейную елку<sup>12</sup>.

Дьявольский аспект подобного порядка вещей заключался в том, что санкционированные им мнения и взгляды, а также вызванные им действия придавали видимость законности общему замыслу нацистов, делали его удобоваримым для всех, включая жертв. Отчаянно сражаясь за незначительные привилегии, статус освобожденного лица или хотя бы отсрочку будущей «казни» (то есть того, ради чего и разрабатывался сам план уничтожения), жертвы и те, кто пытался им как-то помочь, по сути, принимали всю эту систему в целом. Доказывая, что то или иное лицо имеет право не подвергаться профессиональному суду в силу имеющихся у него заслуг, ходатай тем самым признавал, что, не имея подобных заслуг, профессионального суда избежать никак нельзя.

Подлинной катастрофой, с моральной точки зрения, в признании этих привилегированных категорий было то, что всякий, требовавший в том или ином случае «исключения» для себя лично, косвенно признавал само правило в целом. Но этот момент, похоже, не доходил до всех «добрых людей», евреев и неевреев, занятых исключительно своими «особыми случаями», которые давали им право рассчитывать на какое-то иное, не такое, как ко всем, отношение. Даже после окончания войны Каштнер (лидер венгерских евреев, в свое время договорившийся с нацистами об освобождении из лагерей смерти некоторых из его «подопечных») чрезвычайно гордился своими заслугами в спасении «выдающихся евреев» – подобная категория была официально утверждена нацистами в 1942 году, – следуя его логике, получается, что знаменитый еврей изначально имел больше прав на то, чтобы остаться в живых, чем еврей обычный<sup>13</sup>.

Борьба за исключение из того или иного правила придавала ему еще больше веса и значительности: ведь это правило не только накладывало определенное ограничение, но и давало возможность получить индивидуальную привилегию. Таких возможностей было немало – и самых разных. Они предоста-

влялись – хотя форма их время от времени менялась – на всех этапах холокоста. В случае с немецкими евреями такие возможности были особенно многочисленными и тщательно проработанными. Так, евреи, сражавшиеся на немецкой стороне в Первой мировой войне, получившие боевое ранение или награжденные за храбрость, были на особом положении и освобождались на значительный промежуток времени от большинства ограничений, накладывавшихся на их менее удачливых собратьев. Это «благосклонное» исключение из правила отвлекало внимание от самого правила, куда более обширного и серьезного. Всякий, кто видел в этом свой личный шанс, мог что-то получить, принимая одновременно и само общее правило, и исключения из него (признавая тем самым законность и того и другого): «нормальные» евреи, евреи «как таковые», сами по себе не заслуживают обычных гражданских прав, гарантируемых немецким законодательством. Поток подробно аргументированных заявлений, рекомендательных писем, обращений в поддержку отдельных выдающихся личностей, друзей или деловых партнеров, поиск необходимых документов и свидетельских показаний, требовавшихся, согласно правилам, – все это было еще одним, не менее значительным вкладом в общее молчаливое согласие с новым положением вещей, установленным антиеврейским законодательством. Добродетельные граждане из числа неевреев прикладывали все силы, чтобы добиться привилегий для тех, кого они знали, любили или уважали, в своих посланиях к властям делая особый упор на то, что *вот этот конкретный человек* не заслуживает столь резкого обращения в силу его *особых* заслуг перед немецким народом. Священники хлопотали за *новообращенных* евреев – христиан еврейского происхождения. Таким образом сам принцип, что человек должен быть *какой-то особенной разновидностью* еврея, чтобы избежать дискриминации и преследования, сомнению не подвергался – его молчаливо признавали, и им пытались, в той или иной степени, воспользоваться.

В целом не было недостатка в людях и группах, которые слишком горячо приняли идею собственной исключительности, дававшей им право на более благосклонное отношение. Один из самых заметных примеров – пресловутый раскол между «коренными» и «приезжими» евреями, имевший место в оккупированных странах Западной Европы. У раскола имелся прецедент: давняя вражда прочно укоренившихся и частично ассимилировавшихся еврейских общин по отношению к их невежественным, говорящим на идише собратьям из Восточной Европы, которые своей бесцеремонностью и навязчиво-

стью, по мнению «коренных» евреев, подрывали их собственный почтенный статус, давшийся им немалой ценой. (Старые и состоятельные еврейские семейства в Великобритании были совсем не прочь оплатить обратную дорогу массе нищих и невежественных евреев, в начале века бежавших от российских погромов. В Германии «ббльшие немцы, чем сами немцы», евреи старой закалки «надеялись избавиться от антипатии к себе... “переадресовав” ее в сторону бедных и еще не ассимилировавшихся собратьев-иммигрантов»<sup>14</sup>.) Давняя традиция высокомерного, пренебрежительного отношения к евреям из местечек ввела лидеров еврейских общин на Западе в серьезное заблуждение: они не смогли разглядеть в печальной судьбе восточноевропейских евреев модель своего собственного будущего. Само различие историй и культур, казалось бы, не предполагало сходных судеб, а значит, и солидарной стратегии. Когда в Голландии узнали из сообщений радио Би-би-си о массовых убийствах в Польше, президент еврейского совета Дэвид Коэн решительно отверг саму мысль о том, что нечто подобное может в перспективе ожидать и евреев, проживающих в Голландии:

Тот факт, что немцы чинили подобные зверства против польских евреев, никоим образом не позволяет думать, что они могут повести себя подобным образом и в отношении голландских евреев. Во-первых, польские евреи всегда пользовались среди немцев дурной славой, а во-вторых, здесь Голландия, а не Польша, и немцам придется быть более сдержанными и считаться с общественным мнением<sup>15</sup>.

Причина подобного самодовольства и самоуспокоенности — не только в причудливом, сказочном восприятии мира, чреватом убийственными последствиями для его носителей. Определенный взгляд на мир предопределял и соответствующее поведение, а поведение организованных еврейских общин, уверенных в своем превосходстве, заметно снижало возможность единой еврейской реакции на политику нацистов и позволяло последним проводить поэтапное уничтожение. Если даже лидеры еврейских общин, испытывая сочувствие к евреям-иммигрантам, лишенным свободы и депортированным у них на глазах, обращались к членам своих общин с призывом сохранять спокойствие и воздерживаться от сопротивления «во имя высших ценностей». Обратившись к исследованию Жака Адлера, мы увидим, что стратегия французского еврейства, ясно изложенная в сентябре 1940 года в ответ на провозглашенный немецкими оккупационными властями диффе-



ренцированный подход, строилась на своеобразной «иерархии преференций»:

Основным приоритетом этой стратегии провозглашалось дальнейшее существование французского иудаизма – при этом еврей-иностранцы не принимались во внимание. Считалось, что «еврей-иммигранты представляют собой препятствие» на пути выживания французских евреев. Еврейское руководство с одобрением восприняло резолюцию Виши, гласившую, что платой немцам за безопасность французских евреев должны стать иммигранты. Не остается никаких сомнений, что французское еврейство разделяло мнение Виши, воспринимавшего евреев-иностранцев как социально и политически нежелательные элементы<sup>16</sup>.

Отрицание солидарности во имя личных или групповых привилегий (а это, пусть и не напрямую, означало согласие с тем принципом, что не все члены данной категории заслуживают права на выживание и что должен проводиться дифференцированный подход – на основе должным образом оцененных «объективных» качеств) было характерным не только для взаимоотношений между коммунами. Внутри каждой коммуны дифференцированный подход становился источником надежд и борьбы, юденраты при этом выступали в роли посредников, или «оценщиков выживания». Действуя в соответствии со стратегией «спасай все, что можешь», будущие жертвы упускали из виду – пусть всего лишь на время, – что всех их ждет одна общая, неотвратимо надвигающаяся судьба. Это давало нацистам возможность достигать своей цели, не тратя больших сил и средств. По словам Хильберга,

немцы заметно преуспели в поэтапной депортации евреев, потому что те, кто оставался, полагали, что необходимо пожертвовать несколькими во имя многих. Подобную психологическую «операцию» проделала, например, венская еврейская община, которая даже заключила с местным гестапо «соглашение о депортации», где было записано, что шесть категорий евреев не подлежат переселению. Еще один пример: евреи в Варшавском гетто выступали за сотрудничество с немцами и против какого бы то ни было сопротивления на том основании, что пусть лучше депортируют 60 тысяч евреев, чем сотни тысяч. Нечто подобное имело место в Салониках, где еврейское руководство сотрудничало с немецким управлением

по депортации – под гарантии, что депортировать будут лишь «коммунистические» элементы из бедных районов, а «средний класс» не тронут. Смертельная арифметика применялась и в Вильнюсе, где глава юденрата Генс провозгласил следующее: «За счет сотни жертв я спасу тысячу людей. Ценой тысячи уберегу 10 000»<sup>17</sup>.

Жизнь под гнетом была устроена так, что – с точки зрения повседневного жителя-бытия – казалось, будто шансы на выживание распределены неравномерно, больше того: возникало ощущение, что на это можно как-то повлиять. Имеющиеся у отдельного человека или целой группы средства можно использовать, обратив общую несправедливость себе на пользу. Как отмечает Хелен Файн,

угроза общей смерти не ощущалась: социальное устройство гетто каждый день давало людям неодинаковые шансы погибнуть. Шанс каждого на выживание зависел от его или ее места в «классовой системе», ее устройство, проистекавшее из нехватки самого необходимого и политического террора, ставило в более выгодное положение тех, кто мог быть так или иначе полезен нацистам... Существовавшая система контроля не давала разглядеть общего врага, гнев направлялся не против захватчиков, а против юденратов, в людях крепло убеждение, что это война всех против всех, а не нас против них<sup>18</sup>.

Стратегия выживания в одиночку вела к борьбе за роли и позиции, которые, как казалось, сулят некие привилегии и блага, и к попыткам снискать расположение угнетателей – в том числе за счет других жертв. Накапливавшийся гнев и злоба разряжались на юденратах, выступавших в роли громоотводов; при этом на каждом этапе уничтожения юденрат мог рассчитывать на определенную часть подчиненных ему людей, при благоприятном раскладе те получали определенную выгоду и охотно поддерживали должностных лиц общины, обеспечивая тем самым легитимность очередных предпринимаемых ими мер. На всех стадиях уничтожения – за исключением самого последнего – были лица и группы, готовые любой ценой спасти то, что еще можно спасти, защищать то, что еще можно защитить, и освободить то, что еще можно освободить, и, следовательно, готовые – хотя и не напрямую – к сотрудничеству.

## Индивидуальный рационализм на службе коллективного уничтожения

Нечеловеческое давление нацистского типа оставляет совсем немного места для маневра. Многие возможности, из которых люди привыкли выбирать в нормальных условиях, теперь исключены или просто недоступны им. Исключительные условия диктуют, по определению, и исключительное поведение. Но оно исключительно лишь по форме и возможным последствиям, это не значит, что принципы выбора и мотивы, которыми руководствуется человек, тоже должны быть исключительными. Нельзя сказать, что на пути к окончательному разрушению большая часть людей большую часть времени полностью лишена какой бы то ни было возможности выбора. А там, где есть выбор, есть шанс для рационального поведения. Многие люди как раз так и поступают. Имея в своем распоряжении средства подавления, нацисты понимали, что со стороны жертв *рационализм означает сотрудничество* и что все, что евреи делают, сообразуясь со своими интересами, приближает нацистов к успешному решению их собственной задачи.

Возможно, сотрудничество – слишком расплывчатое и многозначное понятие. Было бы, скажем, несправедливым считать ситуацию, когда человек едва удерживается от открытого неповиновения (но все же следует установившемуся порядку) актом сотрудничества. Все обязанности будущих еврейских советов, озвученные Гейдрихом в его *Schnellbrief*, касались обязательств еврейских лидеров перед немецкими властями. Гейдриха мало заботили прочие возможные функции юденратов. Он, возможно, полагал, что они будут осуществляться по собственной инициативе советов исходя из насущных потребностей общины, собранной вместе на небольшом пространстве и столкнувшейся с необходимостью обеспечивать свое сосуществование и выживание. Этот расчет себя оправдал. Советы не нуждались в немецких инструкциях, как им обеспечивать религиозные, образовательные, культурные и бытовые нужды евреев. Занимаясь всем этим, они волей-неволей оказались в роли нижнего звена германской административной иерархии. Их деятельность, связанная с каждодневными проблемами евреев, от которых немцы были полностью избавлены, уже была в некотором роде сотрудничеством. Роль, которую выполняли еврейские общинные власти, несмотря на крайности деспотического режима, по сути своей не очень отличалась от той роли,

которую обычно выполняют лидеры угнетаемых меньшинств, делая возможным продолжение репрессий (то есть крайнего проявления деспотического режима). С другой стороны, она не сильно отличалась по своей сути от традиционных форм еврейского самоуправления (особенно в Польше и некоторых других частях Восточной Европы) и тщательно оберегаемой автономии общины.

В начальный период немецкой оккупации, еще до того как юденраты стали официальным звеном в германской административной структуре, старейшины общины по собственной инициативе выработали *modus vivendi* с новыми властями, попытавшись представить интересы евреев. Опираясь на свой опыт, они решили использовать старые проверенные средства в виде петиций и жалоб (в которых излагались их обиды), переговоров – и взятки. Они не противились решению немцев сконцентрировать евреев в гетто. Отделенное забором от всего остального мира, еврейское население, похоже, обрело неплохую защиту от преследований и погромов. Это также позволяло усилить роль еврейского самоуправления и сохранить еврейский образ жизни в грозном и враждебном окружении. Другими словами, создавалось ощущение, что заключение евреев в гетто отвечало – при данных обстоятельствах – интересам самих евреев и что согласие на это заключение было рациональной позицией, с которой согласились бы все, кому близки и дороги интересы евреев.

В то же время подобное согласие было на руку нацистам. Со временем очевидной стала роль гетто именно как «инструмента концентрации» – и обязательной предварительной стадии на пути к депортации и уничтожению. Гетто позволяли одному немецкому чиновнику заведовать десятками тысяч евреев – с помощью самих евреев, занятых конторским и ручным трудом, в инфраструктуре повседневной жизни общины и в органах, обеспечивавших соблюдение правопорядка. В этом смысле вся система еврейского самоуправления *объективно* означала сотрудничество. И со временем элемент сотрудничества в деятельности юденратов разросся за счет других его функций. Рациональные решения, принимавшиеся вчера ради защиты еврейских интересов, изменили суть действия так, что сегодня принимать рациональное решение стало гораздо труднее; вчерашний рациональный выбор сегодня уже просто невозможен.

Подробнейшее исследование юденратов Исайи Транка наглядно показывает, какую отчаянную борьбу вели еврейские советы, пытаясь найти рациональное решение проблем, которые с каждым разом становились все жестче и требовали все большей изобретательности. Не вина советов, что перед лицом

более мощного противника и при полном уничтожении – бюрократической машиной антиеврейской войны – всех моральных «сдержек» просто не могло быть верного выбора из числа имевшихся у них возможностей, которые в конечном счете не служили бы интересам немцев. Сама конечная цель, на которую работала немецкая бюрократическая машина, была необъяснимой и иррациональной. Цель заключалась в уничтожении евреев, абсолютно всех: старых и молодых, здоровых и немощных, трудоспособных и иждивенцев. Ни при каких обстоятельствах евреи не могли бы снискать расположения немецкой бюрократии, доказать свою ей полезность или, на худой конец, безвредность. Говоря другими словами, эта война была проиграна евреями еще до того, как она началась. И все же на каждой ее стадии принимались какие-то решения, осуществлялись какие-то шаги, ставились какие-то разумные цели. Каждый день предлагал и требовал рационального поведения. Поскольку сама конечная цель холокоста не поддавалась никакому разумному расчету, успех всего замысла мог быть построен на рациональном поведении будущих жертв. Нечто подобное пережил задолго до холокоста К., землемер из романа Кафки «Замок». Он проиграл в борьбе против Замка – не потому, что вел себя иррационально, а потому, что, напротив, исходил из доводов разума в своих отношениях с силой, которая (как он ошибочно полагал) будет на рациональные инициативы давать рациональный отклик, она же вела себя совсем не так.

Один из самых трагических эпизодов короткой и кровавой истории гетто – кампании «спасения через работу», проведенные по инициативе еврейских советов в некоторых крупных восточноевропейских гетто. В предвоенное время в Восточной Европе евреев нередко обвиняли в экономическом паразитизме, считая, что все они торгаши и посредники, не способные на производительный труд, и в целом представляют собой группу, без которой остальное население вполне может обойтись. Ничемность и бесполезность евреев декларировалась и в документах немецких оккупантов, потому было очень важно изменить их первоначальное намерение в отношении евреев, показав зримые плоды их исключительной полезности. В этом отношении обстоятельства складывались в их пользу: немцы, до предела истощившие свои ресурсы в ходе войны, приветствовали любые дополнительные производительные источники и людские ресурсы, которые они могли прибрать к рукам. Вряд ли кто-нибудь станет обвинять Хаима Румковски, главу Лодзинского гетто, за его иррациональный ответ на угрозу немцев. Он действительно недооценил убийственную иррациональность немцев и переоценил присущую им деловую хватку (то

есть значимость ценностей и принципов, якобы правящих в мире, организованном на началах эффективности). С другой стороны, трудно предположить, что бы он еще мог сделать, даже если бы осознал свою ошибку. Ему приходилось вести себя так, как если бы его противники действительно были людьми рациональными, без подобного предположения просто невозможно выработать собственный верный курс. В царстве слепых одноглазый – король. В расчетливом мире современной бюрократии иррациональный авантюрист – диктатор.

Румковски приходилось действовать, ориентируясь на рациональность оппонентов, какой бы лживой и вероломной она ни была.

При каждом удобном случае, во всех своих публичных выступлениях, до и во время «переселений», он не уставал повторять, что физическое существование гетто зависит исключительно от труда его обитателей на благо немцев и что ни при каких обстоятельствах, даже самых трагических, гетто не должно отказываться от этой возможности, оправдывающей его дальнейшее существование<sup>19</sup>.

Румковски в Лодзи, Эфраим Бараш в Белостоке, Генс в Вильнюсе и многие другие твердили о том, что прилежный труд может повлиять на благосклонность немецких хозяев. Похоже, они и вправду верили, что, оценив продуктивность и прибыльность еврейского труда, немецкие комиссии откажутся от депортаций и убийств, – или же заставляли самих себя верить. К слову, своим трудом евреи внесли немалый вклад в усиление военной мощи Германии. *Они трудились, чтобы отдалить окончательный разгром той самой злобной силы, которая поклялась уничтожить их.* Прежде чем проложить дорогу в Освенцим, проворные и искусные еврейские руки воздвигли немало мостов через реку Квай\*.

На не столь зашоренных идеологией функционеров немецкой бюрократии это действительно произвело впечатление. Разумеется, по сугубо прагматическим соображениям. То, что евреи «занимали самое последнее место в системе мироздания», просто не приходило им в голову, зато они хорошо понимали, что в эксплуатации трудового порыва евреев куда больше смысла, с экономической (и военной) точки зре-

---

\* Автор, по-видимому, имеет в виду фильм режиссера Дэвида Лина «Мост через реку Квай» (1957), рассказывающий о трагической судьбе английских военнопленных, вынужденных строить мост по приказу японского командования.

ния, чем в их истреблении. Есть свидетельства, что некоторые военачальники на Востоке стали откладывать запланированные массовые убийства, когда увидели, что большинство местных ремесленников – евреи, навыки которых оказались весьма полезными для поддержания на ходу немецкой боевой машины. Впрочем, их попытки защитить рабский труд евреев от пулеметов оперативных групп (*Einsatzgruppen*) были вскоре пресечены властями свыше, признававшими разумные доводы только в том случае и в той мере, в какой они приближали конечную иррациональную цель. Резолюция министра оккупированных восточных территорий не оставляла места для дискуссий:

В принципе, ни один экономический фактор не должен приниматься во внимание при решении еврейского вопроса. Если впредь возникнут какие-то проблемы, обращайтесь за советом к высшим чинам СС или полиции<sup>20</sup>.

Похоже, «полезный» труд, инициированный еврейскими советами, никого в итоге не спас (хотя некоторым и продлил жизнь). Восхваления от Румковски или Бараша мастеровитых и старательных – а потому «незаменимых» – еврейских работников не могло изменить тот прискорбный факт, что эти работники были евреями. Даже когда рабочие исправно смазывали германскую военную машину, они оставались прежде всего евреями и уж только потом – мастерами.

Подлинное испытание на рациональность началось, когда юденратам приказали заняться «переселением». Вынужденные мобилизовать все свои оперативные силы для борьбы с постоянно растущим давлением русских на фронте, нацисты уже не могли обеспечить выполнение «окончательного решения» собственными силами военнослужащих. На этот раз пришлось признать, что еврейская рабочая сила и вправду нужна. На юденраты была возложена ответственность за всю работу по подготовке к предстоящим убийствам. Они должны были представить подробные списки тех обитателей гетто, которым предстояла депортация. Сначала их надо было выбрать. Потом доставить на железнодорожные станции. В случае сопротивления или укрывательства еврейская полиция должна была схватить или выследить упряма и силой заставить его подчиниться. В идеале нацисты отводили себе роль сторонних наблюдателей.

Если бы евреям предстояло погибнуть всем сразу, выбор (или, точнее, отсутствие выбора) был бы ясным и недвусмысленным для всех. Призыв к всеобщему сопротивлению, каким бы безнадежным оно ни казалось, был бы очевидным ответом –

с единственной альтернативой: «покорно, как овцы, проследовать на бойню». С точки зрения немцев, подобная ясность заметно повысила бы затраты на осуществление всего замысла. И они бы не могли использовать рациональные доводы и поступки жертв с тем, чтобы осуществить их же уничтожение. Проще говоря, жертвы не пошли бы на сотрудничество. Обратив рационализм жертв себе на пользу было более разумным решением. И потому там, где это было возможно, немцы старались избегать массовых депортаций, предпочитая делать работу по частям.

В городах, где ликвидация евреев осуществлялась поэтапно, немцы каждый раз уверяли, что эта «акция» была последней... При осуществлении «окончательного решения» они намеренно и хладнокровно шли на обман, чтобы усыпить бдительность склонных к панике евреев, уменьшить их настороженность и держать в неведении до самого последнего момента, когда они, наконец, догадывались, что подразумевалось под «переселением». Инстинкт самосохранения, заставляющий людей противиться мысли о надвигающемся конце и цепляться даже за самую призрачную надежду, был на руку палачам<sup>21</sup>.

Во многих маленьких городах в западной части СССР, которые наступающая немецкая армия быстро превратила в задворки ада, уловки были не нужны. Как внушал войскам Гитлер, война против СССР не похожа ни на какую другую войну: здесь все позволено, нет никаких запретов и ограничений. Вермахт, а особенно *Einsatzgruppen*, действовали так, будто единственным оставшимся для них правилом было *убей столько, сколько сможешь*. Евреев сгоняли в ближайший лес или овраг и там расстреливали из пулемета. Лишь в немногих местах, где еврейское население было значительным или потребность в мастерах-евреях была особенно острой, немцы организовывали советы и создавали еврейскую полицию – при том что на захваченных польских землях подобная практика была повсеместной. Там, где создавались гетто, сотрудничество евреев в деле их собственного уничтожения требовалось – и принималось.

На сравнительно ранней стадии советы знали – или по крайней мере могли знать, хотя не очень к этому стремились, – какова была истинная цель «отборов», которые им поручали проводить. Лишь немногие члены советов отказывались сотрудничать. Кто-то из них покончил жизнь самоубийством, кто-то добровольно сел на транспорт, отправлявшийся в лагерь смерти, нередко введя перед этим в заблуждение немцев, которым со-



ветники-евреи были нужны живыми. Большинство же участвовало в «последних акциях». Подобному поведению есть множество объяснений. Вообще еврейская традиция запрещает спасать жизнь одних ценой жизни других<sup>22</sup>, но тут тоже была своя «игра в числа». *Пожертвовать немногими, чтобы спасти многих*, было основным рефреном дошедших до нас извинений от лидеров юденратов. Они говорили не о тех, кого обрекли на смерть, а о тех, кто благодаря им выжил. «Не мы решали, кто должен умереть, мы лишь решали, кто будет жить». Многие лидеры юденратов хотели бы остаться в людской памяти как боги-защитники. Отправив тысячи стариков, больных и детей на смерть, Румковски заявляет 4 сентября 1942 года: «Мы руководствовались... не мыслью о том, скольких мы потеряем, а тем, как много людей возможно спасти»<sup>23</sup>. Кое-кто прибегал к медицинским метафорам, заявляя что-то вроде: «Если можно спасти все тело, отрезав больную руку, это должно быть сделано».

Вынесение, по сути, смертных приговоров преподносится как достойное похвалы достижение современной рациональной мысли и доброго еврейского сердца. Но остается вопрос, который мучил даже самых нетребовательных к себе коллаборационистов: допустим, удаления конечности не избежать, но смог бы я сказать это так же уверенно, если бы отрезать ее должен был я сам? Еще более тяжелый вопрос: если надо жертвовать кем-то, чтобы остальные могли жить дальше, кто я такой, чтобы решать, кто должен быть принесен в жертву?

Есть свидетельства, что подобные вопросы терзали многих еврейских лидеров, даже тех (и особенно тех), кто не отказывался служить хозяевам и не пытался избежать этого путем самоубийства. Достойный уход Чернякова (Варшавское гетто) – пример известный. Было немало других советников-евреев, проводивших для себя черту, преступить которую им не позволила собственная совесть. Еще не все они известны. Вот лишь несколько примеров. Перед тем как совершить самоубийство, председатель юденрата в Ровно доктор Бергман заявил немцам, что может отправить на «переселение» только себя и свою семью. Мотель Чайкин из Косова Полески презрительно отверг предложение штадткомиссара спасти его. Давид Либерман из Лукова бросил в лицо немецкому чиновнику деньги, собранные на неудавшуюся взятку, со словами: «Это твоя плата за наше путешествие, кровопийца!» Он был убит на месте. В ответ на требование нацистов отобрать контингент для отправки «на работу в Россию» весь еврейский совет Береза-Каргушки покончил с собой 1 сентября 1942 года.

А что же могут сказать те, другие? Попросить прощения? Как-то оправдаться? Привести моральный или рациональный

довод в свою защиту? В большинстве письменно зафиксированных случаев фигурирует как раз последнее. Наиболее убедительное – и приемлемое для большинства. После каждой «акции» люди вроде Генса или Румковски ощущали потребность созвать на общее собрание оставшихся жителей гетто, чтобы объяснить им, почему они решили «сделать это сами». (В случае с Генсом «сделать это» означало отправить 400 стариков и детей на место казни, где с ними расправилась еврейская полиция.) Ошеломленной аудитории приводили рациональные доводы, называли цифры. «Если бы это делали не мы, а немцы, погибло бы гораздо больше людей». Звучали доводы и в свою защиту: «Если б я отказался выполнять приказ, немцы поставили бы на мое место более жестокого человека, понимаете, чем бы это кончилось». Скрупулезно подсчитанную «выгоду» обращали в моральный долг. «Да, я должен был запачкать руки», – заявил Генс, самопровозглашенный Бог вильнюсских евреев, убийца, умерший в полной уверенности, что он Спаситель.

Стратегия «спасай все, что можно спасти» действовала вплоть до того момента, пока последний еврей не оказывался погребенным в безымянном украинском овраге или не поднимался в виде дыма из трубы газовой камеры в Трешлинке. Эту стратегию насаждали люди, подкованные по части логики и прошедшие хорошую школу рационального мышления. Сама эта стратегия была триумфом рациональности. Всегда было, что и кого спасать, поэтому всегда был повод проявить свои рациональные способности. Рационально и логично мыслящие еврейские советники убеждали себя, что они должны взяться за работу убийц. Их логика и их рациональность были частью общего плана. Карательное подразделение могло быть недоукомплектовано, или оружия в нужный момент могло не оказаться под рукой. Но логика и рациональность всегда были наготове – и эффективное сотрудничество было обеспечено. Кто-то словно перефразировал древнюю мудрость. Оказалось, что если Бог хочет наказать кого-то, он вовсе не лишает человека разума – наоборот, он делает его рациональным.

Как мы хорошо сегодня знаем, эта стратегия, какой бы разумной она ни казалась, жертвам не помогла. Но это и не была изначально стратегия жертв. Это была стратегия убийства, разработанная палачами. Создавалась ситуация, при которой надо было что-то спасать, а потом шел подсчет «цены выживания» и «меньшего из зол». В подобной ситуации рациональность жертв становилась оружием их убийц. Но *расчетливость тех, кем правят, это всегда оружие в руках их правителей.*

## Рациональность самосохранения

В гетто создавалась видимость, будто «выборочное» выживание – это вполне достижимая цель. И с этого момента поведение, продиктованное стремлением к самосохранению, оказывалось и рациональным, и эмоциональным. Коль скоро самосохранение становится главным критерием, его значимость растет и растет, пока все остальные моменты не оказываются полностью девальвированными, а все моральные и религиозные запреты – сломанными. По мучительному признанию печально известного Резво Каштнера, «Поначалу (еврейскому совету) поступают требования сугубо материального свойства: вещи, деньги, квартиры. Потом речь заходит о свободе людей. И, наконец, нацисты требуют саму жизнь»<sup>24</sup>. Моральная индифферентность, изначально присущая принципу самосохранения, доводится до крайности и эксплуатируется вовсю. Логика самосохранения идет вразрез с моральным долгом.

По свидетельству очевидцев, на Пасху 1942 года окружной комиссар (*Amtskomissar*) Сокои приказал местному юденрату вывести из города всех трудоспособных мужчин. Когда в назначенное время представитель еврейской общины сообщил, что ему не удалось выполнить поручение,

окружной комиссар вышел из себя и стал бить его по голове и по лицу. Затем пригрозил, что если приказание не будет исполнено, юденрат ожидает жестокая расправа. Совет потерял лицо, стал не похож сам на себя. Все его двенадцать человек с помощниками и ассистентами стали прочесывать улицы городка, переходили из дома в дом, хватая всех подряд, и старого, и малого. Ничто не могло остановить их. Построив всех, кого они сумели отловить, они заявили, что если «симулянты» срочно не явятся сюда, немецкий уполномоченный комиссар накажет всех. Через 15 минут улицы были полны людей, и юденрат построил их в колонну по два и повел в назначенное место<sup>25</sup>.

Подобные сцены с пугающей регулярностью повторялись на всей европейской территории, оказавшейся во власти нацистов. Еврейские советники и полицейские оказывались перед простым выбором: умереть самим или отправить на смерть кого-то другого. Многие предпочитали отодвинуть собственный смертный час.

Невозможно сказать, сколько людей из числа тех, что предпочли «запачкать руки», надеялись выжить. Было бы нечестно и неправильно осуждать людей, оказавшихся в таких условиях и перед таким выбором. Все это не имеет ничего общего с нашими обычными житейскими проблемами. Но обитателям гетто специально создавали «необычные» условия. Проходя один за другим круги ада, человек все меньше думал о морали и все больше – о своем самосохранении. Добиться с его стороны сотрудничества было теперь несложно. Происходил «естественный отбор». Уцелеть, не замарав при этом рук, было просто невозможно. Выживали самые замаранные. Угнетатели очень хотели превратить население гетто в скопище жалких беспринципных людишек.

Марек Эдельман, один из лидеров и совсем немногих выживших участников восстания в Варшавском гетто, сразу же после войны записал свои воспоминания о жизни там:

Полное отделение от внешнего мира, отсутствие всякой связи с ним преследовало определенную цель и оказывало определенное влияние на еврейское население. Все, что происходило вовне, считалось чем-то далеким и несущественным. Важно было лишь то, что творилось здесь, в этом замкнутом мире. И самым главным было – остаться в живых. Само понятие «жизнь» у каждого было свое – в зависимости от имевшихся у человека средств и условий. Вполне комфортных – для людей зажиточных, вызывающе роскошных – для лиц, сотрудничавших с гестапо, и контрабандистов, и ужасных, на грани голода – для основной массы работающих и безработных, питавшихся жидким супчиком из благотворительной кухни и скудным рационным хлебом. Соответственно, разными были у людей и цели жизни. Те, что с деньгами, стремились к комфорту и удовольствиям, получаемым в кафе, ночных клубах и дансингах. Не имевшие ничего почитали за счастье найти картофелину в мусорном баке или заполучить кусок хлеба в протянутую руку от прохожего, они лишь хотели забыть о голоде – хотя бы на миг. Но голод рос день ото дня, выбирался из домов на улицы. Он был виден в распухших телах и гноящихся конечностях, слышен в словах побирающихся детей и стариков... Нищета была уже столь ужасающей, что люди умирали от голода прямо на улице. Каждый день, в 4–5 часов, специальные похоронные команды собирали тела умерших, прикрытые газетами. Тех, что умирали дома, семьи раздевали догола (чтобы продать

потом их одежду) и выкидывали прямо на тротуар – пусть еврейский совет возьмет на себя расходы по захоронению. Одну за одной лошадь тянула по улицам повозки с обнаженными трупами.... В какой-то момент в гетто начался тиф. Больницы были переполнены больными, они лежали вдвоем-втроем на одной кровати, но места все равно не хватало, и многие лежали прямо на полу. Если кто-то умирал, это не вызывало у окружающих никаких эмоций, его место тут же занимал кто-то другой... Умерших хоронили по 500 человек в одной общей могиле, но сотни их лежали пока еще не погребенными и издавали жуткий смрад... Но и этой ужасающей жизни еврейского гетто немцы пытались придать некоторую видимость порядка и организованности. С самого первого дня власть официально осуществлял еврейский совет. Для поддержания порядка создали еврейскую полицию, имевшую специальную форму... На самом деле оба эти образования, призванные внести в жизнь гетто некую организованность и «нормальность», стали источником беззакония, подкупа и разложения<sup>26</sup>.

В гетто расстояние между классами было расстоянием между жизнью и смертью. Остаться в живых подразумевало закрывать глаза на тяжкое положение и агонию других людей. Первыми умирали самые бедные. А также самые наивные, покорные и честные. С самого начала огромную массу людей втиснули в пространство, в котором едва могли разместиться не больше трети из них. Пищевой рацион был рассчитан так, чтобы едва-едва поддерживать человека на грани жизни, источников к существованию практически не было. Как не было настоящего медицинского ухода, из-за чего случались эпидемии. Сама жизнь в гетто стала своего рода игрой, в которой у игрока не было в кармане ни гроша, а главным призом в игре была его собственная жизнь. Классовые различия, и без того ужасающие, когда речь шла просто о куске хлеба и крыше над головой, стали убийственными, как только началась борьба за то, чтобы избежать казни. К тому моменту бедняки уже не могли защищать собственную жизнь. Во время проводившихся в гетто зачисток многие семьи были не в состоянии как-то бороться, жаловаться или куда-то прятаться. Они даже не могли самостоятельно передвигаться к «пунктам сбора» и покорно ожидали непрошенных гостей у себя дома<sup>27</sup>. Те, что побогаче, пытались «перебить цену» друг у друга в попытках (часто оказывавшихся бесполезными) приобрести один из пропусков на выход, кото-

рые нацисты обычно швыряли в обезумевшую толпу. Успех кого-то, как правило, подразумевал гибель другого. Процветало взяточничество. Владислав Шленгель, незабываемый бард Варшавского гетто, оставил страшное описание «акции», проводившейся 19 января 1943 года:

Телефоны оказались в настоящей осаде. Помогите! Помогите! Помогите! Мобилизуйте всех высших чинов гестапо. Позвоните на станцию: у них есть свободные места? Господин Шмерлинг на месте? Послушайте, меня... Перехватили! Господин Скосовски? Умоляю: помогите! За любые деньги! 100 000! Сколько хотите! Дам полмиллиона за двадцать человек! За десять! За одного!!!

У евреев есть деньги! Евреи могут раскошелиться! Евреям некуда деться! Знаем мы, как они нажили свои баснословные состояния, – и как теперь мечутся в поисках хотя бы глотка воды, как предлагают украинцам свои миллионы, как они уезжают, увозя с собой такие суммы, которых хватило бы, чтобы прокормить сотни тех, что остались на станции, в течение многих месяцев...

Те, кому достались спасительные номера, в панике бегут. Кому не достались, стоят беспомощно среди руин...

Богатство рейха преумножается.

Евреи умирают<sup>28</sup>.

Чем выше была цена жизни, тем ниже – цена предательства. Все моральные соображения оказались забытыми. Все, что помогало твоему самосохранению, считалось правильным. Тут все средства были хороши. Нацисты обращались к еврейским чинам со все более отвратительными поручениями. Впрочем, и ставки в игре постоянно росли. И потому соответствующие «услуги» чаще оказывались, чем не оказывались. В борьбе за то, чтобы прожить еще хотя бы день, должность в еврейском совете или еврейской полиции значила больше и ценилась гораздо выше, чем деньги и драгоценности.

Это вовсе не значит, что деньги и бриллианты совсем ничего теперь не значили. Сохранились многочисленные свидетельства выживших в этом кошмаре о мошенничестве и подкупе, царивших в юденратах. Многие из наделенных хоть минимальным правом отделять жизнь от смерти, пользовались своим положением. Огромные суммы денег и фамильные драгоценности переключивались в карманы официальных чинов за оказанные услуги – будь то законная привилегия или поддельное удосто-

верение личности. Предметом всеобщей зависти были места в специальных зданиях, предназначенных для членов совета и служивших в полиции, а также членов их семей. Туда не заходили даже вездесущие эсэсовцы, их обходили стороной во время «акций». По мере того как ставки становились все выше, а общее отчаяние – все глубже, росли и цены на услуги, оплатить которые могли лишь самые состоятельные обитатели гетто.

Подобное поведение юденратов отражало общее разложение населения, оказавшегося в положении жертвы. Сначала евреев объявили алчными, аморальными и эгоистичными людьми, за рассуждениями которых о человечности и доброте кроется один лишь голый расчет. Затем их поставили в столь бесчеловечные условия, что пропагандистский штамп «ожил» и стал реальностью. Операторам из министерства Геббельса не приходилось особо утруждать себя поисками подходящего материала для съемки. Нищие, умирающие от голода возле роскошных ресторанов гетто, стали привычно попадать в кадр кинохроники.

У процесса разложения была своя логика. Он проходил через несколько этапов, и с каждым новым шагом сделать следующий становилось все легче и легче. Начиналось все примерно так:

Вице-председатель совета в Сидлце живет все роскошней... Огромные суммы денег, попадающие ему в руки, и другие внезапно открывшиеся перед ним возможности вскружили ему голову. Он поверил, что обладает неограниченной властью и всячески пользуется своим положением, наживаясь на общем горе. Ему достается львиная часть тех денег и драгоценностей, которые ему доверили просители с тем, чтобы в нужный момент расплатиться с немцами...

Дальше было примерно следующее:

(Председатель совета в Жавиерце) во время кампании по «переселению» в августе 1943 года получил информацию, что все евреи, за исключением небольшой группы квалифицированных рабочих, будут депортированы в Аушвиц (тогда все уже знали, что это означает), и внес имена 40 членов своей семьи в этот список.

Заканчивалось же все вот так:

(В гетто Скалат) оберштурмбанфюрер Мюллер договорился с представителями местного совета и начальником полиции гетто доктором Йозефом Брифом об их активном участии в «акции», пообещав, что сами они и члены их семей не пострадают... После завершения

«акции»... группа чинов СС направилась в еврейский совет, где они неплохо провели время. Там их ждал банкет... Хозяева суетились вокруг обильных столов и старались всячески угодить гостям. Раздавался веселый смех, звучала музыка, гости были вполне довольны. А в это самое время 2000 человек, запертых в синагоге, чуть не задохнулись от недостатка воздуха, а остальные жертвы замерзли в чистом поле возле железнодорожных путей<sup>29</sup>.

На самом деле это был еще не конец. Конечная остановка поезда под названием «самосохранение» – на станции Трешлинка.

## | Заключение

Если бы у них был выбор, никто из еврейских советников или полицейских не сел бы в поезд самоуничтожения. Никто бы не помогал убивать других. Никто бы не поддался на взятку, зараженную вирусом чумы. Но у них не было такого выбора. Или скорее ими не был установлен диапазон выбора. Большинство из них – в том числе страшно коррумпированные и безжалостные – использовали свой разум и свое умение рационально оценивать возможности, которые предоставлялись им. Что опыт холокоста во всех своих ужасающих результатах прежде всего показал, так это различие между рациональностью актора – исполнителя преступления (психологический феномен) и рациональностью действия (оцененного его объективными последствиями для исполнителя). Смысл, причина – это отличное руководство для отдельного поступка только в таких случаях, когда эти две рациональности резонируют и накладываются друг на друга. В противном случае все это превращается в суицидальное оружие, разрушает свою собственную цель, ломая по пути нравственные запреты – свой единственный ограничитель и средство потенциального спасения. *И самое главное – при резко асимметричных властных условиях рациональность управляемых – это комбинированное противоречивое благо.* Оно может служить им выгодным подспорьем. Но точно так же может и уничтожить их.

Совпадение двух рациональностей – рациональности актора-исполнителя и самого действия – не зависит от действующего лица. Оно зависит от контекста действия, которое в свою очередь зависит от ставок и ресурсов, – ни то ни другое не контролируется исполнителем преступления. Ставки и ресурсы манипулируются теми, кто действительно контролирует ситуа-



цию: кто может делать определенный выбор, чересчур затратный, чтобы быть часто выбираемым теми, кем они управляют, тогда как безопасный частый и широкий выбор из множества вариантов, приближающих их цели, усиливает их контроль. Этот потенциал не меняется, независимо от того, выгодны ли цели правителей, или они ущемляют интересы управляемых. *И самое главное – при резко несоразмерных условиях действующих сил рациональность управляемых – это комбинированное противоречивое благо.* Оно может работать на их пользу. Но точно так же может и уничтожить их.

Воспринимаемый как комплексная целенаправленная операция, холокост может служить парадигмой современной бюрократической рациональности. Почти все было сделано для того, чтобы достичь максимальных результатов минимальными средствами и при минимальных усилиях. Почти все (в рамках возможного) было сделано для того, чтобы использовать навыки и ресурсы всех участников, включая тех, кому предстояло стать жертвами успешной операции. Почти все рычаги – посторонние или антагонистические по отношению к цели операции были нейтрализованы или вообще исключены из действия. Разумеется, историю организации ужасов холокоста можно было бы внести в учебник по научному менеджменту. Если бы моральное и политическое осуждение его цели не было показано миру вследствие военного поражения его исполнителей, он был бы внесен в учебник. Не было бы недостатка в учениках, которые бы захотели изучить и обобщить его опыт с целью его использования ради усовершенствования организации будущей человеческой деятельности.

С точки зрения его жертв, холокост содержит разные уроки. Один из самых жестоких из них – раздражающая недостаточность рациональности как единственного критерия оценки организационного опыта. Этот урок еще предстоит сполна усвоить ученым-социологам. Пока этого не сделано, мы вправе продолжить изучать и обобщать устрашающие «достижения» в сфере эффективности человеческой деятельности, обусловленные исключением количественных критериев, в том числе моральных норм – и крайне редко анализируемых последствий.

(В первой редакции текст был написан для юбилейного сборника в честь профессора Бронислава Бажко.)

# Глава 6 I

## Этика послушания (читая Милгрэма)

Не вполне оправившись от шокирующей правды холокоста, Дуайт Макдональд\* предупреждал в 1945 году, что нам теперь следует более опасаться законопослушных людей, чем тех, кто нарушает закон. После холокоста все знакомые и затверженные образцы зла кажутся уже незначительными. Он перевернул все установленные объяснения злодеяний. Внезапно оказалось, что самое ужасающее зло, памятное человечеству, исходило не от нарушения порядка, а от его безупречного, неукоснительного соблюдения. Он не явился следствием действий буйной и неконтролируемой толпы, но людей в униформе, дисциплинированных и послушных, следующих правилам и педантичных в отношении духа и буквы поставленной задачи. Очень скоро оказалось, что эти люди вовсе не злодеи, стоило им только снять униформу. Они были совсем, как мы. Они любили жен и баловали детей, помогали своим друзьям и утешали их в несчастье. Казалось невероятным, что, надев униформу, те же люди или сами расстреливали, отравляли газом, или руководили расстрелами и отравлением газом тысяч других людей, включая женщин, чьих-то любимых жен и обожаемых детей. И это ужасало. Как могли обычные люди вроде вас и меня делать это? Должно быть, все же, что они были особенными, другими, не такими, как мы? Должно быть, их просто не коснулось облагораживающее, гуманизирующее воздействие нашего просвещенного, цивилизованного общества? Или, должно быть, находясь под воздействием какого-то

---

\* Дуайт Макдональд (1906–1982) – американский писатель, философ, социальный критик левого толка.

порочного или просто несчастливого сочетания образовательных факторов, они оказались испорчены, превращены в больных личностей? Доказывать, что эти предположения неверны, – значило бы столкнуться с возмущением – не только потому, что это уничтожило бы иллюзию личной безопасности, которую обещает жизнь в цивилизованном обществе. Не понравилось бы это и по более важной причине; это бы выставило безнадежно неубедительным любое лестное, с точки зрения морали, представление о самом себе, чистую совесть любого. Отныне всем предстояло очищать свою совесть до особого распоряжения.

*Самой пугающей в холокосте, а также в том, что мы узнали о его исполнителях, была не вероятность того, что с нами могли сделать «такое», но понимание того, что это могли бы сделать мы.* Стэнли Милгрэм, американский психолог из Йельского университета, сделал пугающее открытие, когда неосмотрительно провел эмпирический тест некоторых предположений, основанных на эмоциональном стремлении не замечать очевидного\*; еще более опрометчиво поступил Милгрэм в 1974 году, когда опубликовал результаты своих исследований. Открытие Милгрэма оказалось действительно недвусмысленным: да, мы могли бы сделать это, и все еще можем – при соответствующих условиях.

Жить с такими находками было нелегко. Неудивительно, что на Милгрэма обрушилось научное сообщество. Техника исследования Милгрэма рассматривалась в микроскоп, расчленялась, объявлялась ошибочной и даже бесчестной, она была подвергнута хуле и брани. Любой ценой, любыми средствами, всеми правдами и неправдами академический мир пытался дискредитировать и дезавуировать открытия, которые порождали

---

\* Речь идет об эксперименте Стенли Милгрэма (1933–1984), впервые описанном им в работе «Подчинение: исследование поведения» (1963). Целью эксперимента было выяснить степень готовности обычного человека подчиняться аморальным приказам вышестоящего начальства. В эксперименте участвовали три человека: экспериментатор, «учитель» и «ученик». Испытуемым являлся «учитель», которому внушалось, что он принимает участие в опыте по изучению воздействия боли на механизм памяти. «Ученик» (роль которого исполнял специальный актер) должен был решать задачи на запоминание. Когда он совершал ошибки, «учителю» предлагалось наказывать его ударом тока. Начав с 45 вольт, «учитель» с каждой новой ошибкой должен был увеличивать напряжение до 450 вольт. Эксперимент продемонстрировал высокую степень готовности обычного человека приносить страдание невинным людям, когда тот подчиняется условиям игры и авторитету экспериментатора.

страх и ужас там, где должны бы царить благодушие и спокойствие. Мало примеров в истории науки, которые бы так полно вскрывали реальность научного поиска, вроде бы свободного от оценочных суждений. «Я уверен, – сказал Милгрэм в ответ своим недоброжелателям, – что большинство критики, вне зависимости от того, насколько знакомы люди с проблемой, обусловлено результатами эксперимента. Если бы каждый, испытывающий легкий шок или умеренный стресс, сломавшись, прекращал опыт (на первоначальной стадии, прежде чем последствия приказов экспериментаторов означали бы принесение боли и страдания предполагаемым жертвам), это было бы очень обнадеживающим открытием, и никто бы не протестовал»<sup>1</sup>. Милгрэм был, конечно, прав. И он все еще прав. С момента его первого эксперимента прошли годы, однако его открытия, которые должны были привести к коренной ревизии наших воззрений на механизм человеческого поведения, цитируются в большинстве курсов по социологии как занимательный, но не слишком показательный и странный опыт, не затрагивающий основ социологической аргументации. Если нельзя отвергнуть открытие, его можно маргинализировать.

Шаблоны мышления чрезвычайно живучи. Вскоре после войны группа возглавляемых Адорно ученых опубликовала книгу «Авторитарная личность», которой было уготовано стать образцом для исследователей на многие годы. Самым же важным в книге были не какие-то определенные утверждения – фактически все они были впоследствии оспорены и опровергнуты, – но способ определения проблемы и та исследовательская стратегия, которая из него исходила. Этот последний вклад Адорно и его сотоварищей, уязвимый для эмпирической проверки, но утешительный для ученой публики и ее неосознанных желаний, оказался весьма жизнестойким. Как предполагало название книги, авторы стремились объяснить нацистское правление и последующую жестокость наличием особого типа индивида – личности, склонной повиноваться более сильному и одновременно жестко и властно вести себя по отношению к слабому. Триумф нацистов, скорее всего, был следствием необычайного скопления подобных личностей. Почему это произошло, авторы не объяснили, и не желали объяснить. Они аккуратно уклонились от объяснения всех над- или вне-индивидуальных факторов, которые могли привести к появлению авторитарной личности; не заботила их и возможность, что подобные факторы могут вызвать авторитарное поведение в людях, которые в других отношениях были лишены свойств авторитарной личности. Для Адорно и его коллег нацизм был жестоким, поскольку жестоки были нацисты; а нацисты жестоки,

поскольку жестокие люди были склонны к тому, чтобы становиться нацистами. Как признался один из членов группы несколько лет спустя, «Авторитарная личность» подчеркивала чисто личностные детерминанты потенциального фашизма и этноцентризма и недооценивала современные социальные влияния»<sup>2</sup>. Стиль, в котором Адорно и его команда артикулировали проблему, был важен не столько из-за того способа, каким устанавливались виновные, но из-за грубой простоты, с которой все остальное человечество было оправдано. Адорно разделял мир на врожденных протонацистов и их жертв. Зловещая и мрачная правда о том, что множество приятных людей при определенных обстоятельствах могут стать жестокими, замалчивалась. Подозрение, что жертвы могут потерять человеческий облик на пути к своей гибели, находилось под молчаливым запретом, доведенным до абсурда в изображении холокоста на американском телевидении.

Своим исследованием Милгрэм бросал вызов именно такой академической традиции и общественному мнению. Эта традиция и это мнение успели глубоко укорениться и укрепиться. Они усиливают друг друга. Особое возмущение и ярость вызвала его гипотеза, что жестокие действия совершаются не жестокими индивидами, но обычными людьми, старающимися хорошо исполнять повседневные обязанности. Возмущало также его открытие, что жестокость находится в слабой зависимости от личностных качеств преступников и, наоборот, – в прямой зависимости от нашей обычной, данной в повседневном опыте, структуры власти и повиновения.

Человек, по своим убеждениям отвергающий воровство, убийство и оскорбление, тем не менее, способен довольно легко пойти на них, получив соответствующую команду вышестоящих. Поступки, совершенно недопустимые для того или иного индивида, пока он действует исходя из собственных убеждений, могут без колебаний совершаться в случае выполнения приказов<sup>3</sup>.

Вполне возможно, что некоторые индивиды сами по себе склонны к жестокости. Что, однако, совершенно точно, так это то, что индивидуальные качества не останавливают их от совершения жестокостей, когда они оказываются в контексте взаимодействия, побуждающем их быть жестокими.

Не будем забывать, что единственным случаем, когда мы традиционно, следуя Лебону\*, допускали, что порядочные люди

---

\* Гюстав Ле Бон (1841–1931) – французский социолог, антрополог, психолог. Основатель социальной психологии.

могут совершать неподобающие поступки, была ситуация, в которой обычные цивилизованные, рациональные образцы человеческих взаимоотношений были разрушены. Речь шла о толпе, сплоченной ненавистью или паникой; о случайном столкновении незнакомых людей, вырванных из своего обычного контекста и на какое-то время оказавшихся в социальном вакууме; о тесной и переполненной народом городской площади, где правит только паника и где напор толпы, а не власть, определяет направление движения. Мы привыкли полагать, что невысказанное становится возможным только тогда, когда люди перестают думать: когда крышка рациональности снимается с котла досоциальных и нецивилизованных человеческих страстей. Открытия Милгрэма переворачивают и эту устаревшую картину мира, согласно которой человечность целиком принадлежит рациональному порядку, тогда как бесчеловечность ограничивается лишь отдельными сбоями в этом порядке.

Говоря вкратце, Милгрэм предположил и доказал, что *бесчеловечность зависит от социальных отношений. Насколько последние рационализированы и технически совершенны, настолько же сильно и эффективно социальное воспроизводство бесчеловечности.*

Это может показаться тривиальным, но это не так. До экспериментов Милгрэма немного нашлось бы людей, способных предсказать его открытия. Практически все обычные мужчины, представители среднего класса, и все компетентные и уважаемые члены психологического сообщества, у которых Милгрэм спрашивал о возможных результатах его экспериментов, были уверены, что 100 процентов испытуемых откажутся принимать участие в опыте по мере возрастания жестокости предписываемых им действий и в определенный критический момент прекратят их выполнение. На деле же часть людей, действительно отказавшихся от участия в опыте, составила не более 30 процентов. Сила предполагаемых электрических ударов, которые оставшиеся испытуемые были готовы произвести, была в три раза выше той, что могли себе представить как специалисты, так и непрофессионалы.

## **Бесчеловечность как функция социальной дистанции**

Возможно, самым поразительным открытием Милгрэма является *обратная пропорция готовности к жестокости и близости к своей жертве*. Трудно причинять вред человеку, с которым мы находимся в непосредственном контакте. Легче причи-

нять боль человеку, которого мы видим лишь на расстоянии. Еще легче причинить ее тому, кого мы только слышим. И совсем легко быть жестоким по отношению к человеку, которого мы не видим и не слышим.

Если нанесение вреда человеку требует непосредственного телесного контакта, злоумышленник лишается комфорта, когда он не замечает причинно-следственной связи между его действиями и страданиями жертвы. Такая связь проста и очевидна, и потому проста и очевидна ответственность за причиняемую боль. Когда испытуемым говорили, что они должны заставить жертв положить руки на пластину, через которую якобы должен пройти электрический заряд, лишь 30 процентов продолжили выполнение команды до конца эксперимента. Когда вместо физического контакта с рукой жертвы им было приказано управлять лишь рычагами пульта управления, пропорция послушных возросла до 40 процентов. Когда жертв поместили за стены, так что слышны были только их крики, число лиц, готовых «досмотреть все до конца», подскочило до 62,5 процента. Отключение звука не привело к сильным изменениям в процентном отношении – число послушных возросло только до 65 процентов. Видимо, мы чувствуем в основном с помощью глаз. Чем больше была физическая и психическая дистанция от жертвы, тем легче было быть жестоким. Вывод Милгрэма прост и убедителен:

Любая сила или событие, которые находятся между субъектом и последствиями электрошока, применяемого к жертве, приведет к уменьшению психологической нагрузки участника эксперимента и таким образом снизит вероятность непослушания. В современном обществе часто кто-то другой стоит между нами и конечным деструктивным действием, которому мы причастны<sup>4</sup>.

Действительно, опосредование действия, разбивание его на этапы, очерченные и выделенные согласно властной иерархии, а также функциональная специализация действия – одно из самых броских и с удовольствием демонстрируемых достижений нашего рационального общества. Значение открытия Милгрэма состоит в том, что процесс рационализации неизбежно и необратимо способствует бесчеловечному и жестокому поведению – если не в намерениях, так в его последствиях. *Чем рациональнее организация действия, тем легче причинять страдания* – и при этом оставаться в мире с самим собой.

Причина, по которой отдаление от жертвы облегчает проявление жестокости, кажется психологически очевидной: зло-

умышленник освобожден от страдания, которое испытывал бы, наблюдая последствия своих поступков. Он даже может заставить себя поверить в то, что, собственно, ничего ужасного и не произошло, и таким образом унять душевную боль. Но это не единственное объяснение. И вновь причины не только физические. Как и все, что действительно объясняет человеческое поведение, эти причины социальные.

Размещение жертвы в другой комнате не только отделяет ее от испытываемого, но также в чем-то сближает испытываемого и экспериментатора. Существует исходная групповая зависимость между экспериментатором и испытуемым, из которой жертва исключается. Когда дистанция возрастает, жертва в действительности оказывается чужаком, оставшимся в одиночестве, в физическом и психологическом смысле<sup>5</sup>.

Одиночество жертвы – не просто вопрос физического отдаления. Это следствие единства ее мучителей и ее исключения из этого единства. Физический контакт и непрерывное сотрудничество (даже в течение относительно короткого периода – ни один субъект не проходил эксперимент более одного часа) имеет тенденцию заканчиваться групповым чувством вместе с взаимными обязательствами и солидарностью, которые оно обычно вызывает. Это групповое чувство производится совместными действиями, в особенности взаимодополнительностью индивидуальных действий – когда очевидно, что результат достигнут общими усилиями. В экспериментах Милгрэма действие объединяло испытываемого с экспериментатором и одновременно отдаляло обоих от жертвы. Ни при каких обстоятельствах жертве не выделялась роль актора, агента, субъекта. Напротив, она постоянно оказывалась «крайней». Совершенно недвусмысленно она превращалась в объект; и, как это часто бывает в отношении объектов действия, совсем не так уж важно, люди ли они, или неодушевленные предметы. Таким образом, одиночество жертвы и единство ее мучителей обуславливали и обосновывали друг друга.

*Таким образом, эффект физической и чисто психической дистанции в дальнейшем только усиливается благодаря коллективной природе вредоносного действия. Можно догадаться, даже не принимая в расчет очевидные успехи в экономике и эффективность действия, достигнутую благодаря рациональной организации и управлению, что один только факт принадлежности угнетателя к определенной группе должен играть огромную роль, когда речь идет об облегчении совершения жестокости. Может быть, значительную часть бюрократически грубой, бес-*



чувственной эффективности следует отнести на счет иных факторов, нежели рациональная модель разделения труда или порядок соподчиненности: она связана с умелым, причем не обязательно с продуманным и спланированным, использованием естественной склонности к формированию групп в ходе совместного действия. Эта склонность сопровождается установлением границ и исключением чужаков. Контролируя вербовку своих членов и ставя им цели, бюрократическая организация может управлять подобной тенденцией, а также обеспечивать углубляющийся разрыв между актерами (то есть членами организации) и объектами действия. Это сильно облегчает трансформацию акторов в преследователей, а объектов – в жертв.

## Соучастие по факту действия

Каждый, кому случалось увязнуть в болоте, прекрасно знает, что спастись оттуда было сложно в основном потому, что каждое усилие выбраться заканчивалось тем, что он оказывался еще глубже в трясине. Можно даже определить болото как своего рода систему, устроенную таким образом, что как бы ни передвигались объекты, погруженные в нее, их движения всегда только умножают «затягивающую силу» системы.

Последовательные действия, похоже, обладают тем же свойством. Обязанности продолжать начатое действие и трудности, препятствующие отказу от него, имеют тенденцию нарастать с каждым этапом. Первые шаги легки и не требуют больших нравственных терзаний. Однако последующие шаги тревожат все больше и больше. В конце концов они вовсе становятся невыносимыми. Однако к этому времени возрастает и цена отказа. Таким образом, побуждение прекратить выполняемое действие оказывается слабым, когда препятствия к такому отступлению слабы или отсутствуют. Когда же это побуждение усиливается, то и препятствия, с которыми оно сталкивается, оказываются достаточно сильными, чтобы его нейтрализовать. И когда актора переполняет желание отступить, обычно уже слишком поздно сделать это. Милгрэм относит *последовательное действие* к основным «обязывающим факторам» (то есть факторам, запирающим субъекта в его ситуации). Весьма заманчивым было бы приписать силу данного обязывающего фактора *определяющему влиянию прошлых действий самого субъекта*.

Сабини и Сильвер предложили блестящее и убедительное описание данного механизма:

Испытуемые вступают в эксперимент, принимая на себя определенные обязательства ради сотрудничества с экспериментатором; ведь они согласились участвовать, получили от него деньги, и, вероятно, в какой-то мере они одобряют цели научного прогресса. (Участвующим в эксперименте Милгрэма говорили, что проводимое исследование призвано открыть более эффективные методы обучения.) При первой ошибке ученика испытуемым было предложено произвести удар током. Напряжение удара – 15 вольт. 15-вольтовый разряд совершенно безвреден и незаметен. При этом не возникает вопросов о нравственности. Конечно, следующий удар был более мощным, но ненамного. И так каждый последующий удар был не намного мощнее предыдущего. Качество действия испытуемого меняется от чего-то совершенно невинного на что-то поистине вопиющее. Но это происходит постепенно. Где именно следует остановиться испытуемому? В какой именно момент преступается грань между этими двумя видами действия? Как узнать об этом испытуемому? Всем понятно, что должна быть какая-то черта; и совсем неясно, где эта черта должна проходить.

Самым важным фактором в процессе, однако, является, по-видимому, следующее:

Если испытуемый решает, что осуществление следующего удара недопустимо, тогда, поскольку он (и так на каждом этапе) лишь немного сильнее предшествующего, каким же было оправдание последнего электрошока? Чтобы отвергнуть правомерность шага, который он готов предпринять, он должен отказаться в правомерности только что предпринятому им шагу, что подрывает нравственную позицию субъекта. Субъект попадает в ловушку благодаря своему постепенному подчинению логике эксперимента<sup>6</sup>.

В ходе последовательного действия актер становится рабом своих собственных действий в прошлом. Эта зависимость кажется сильнее других обязывающих факторов. Она, несомненно, может превзойти по длительности воздействие тех факторов, которые в начале последовательности казались гораздо более важными и действительно играли решающую роль. В частности, нежелание переоценить (и осудить) свое поведение в прошлом окажется сильным, и даже еще более сильным стимулом для дальнейшего, правда, все более трудного, продвиже-

ния, намного пережив изначальную приверженность «делу». Гладкие и незаметные переходы между этапами эксперимента заманивают актора в ловушку; она заключается в невозможности освобождения без пересмотра и без отказа от оценки своих собственных поступков как правильных или по крайней мере невинных. Ловушка, другими словами, заключается в парадоксе: не запачкавшись, не очистишься. Чтобы скрыть мерзость, надо навсегда замараться в грязи.

Этот парадокс, возможно, является движущим фактором всем известного феномена солидарности сообщников. Ничто так не сближает людей, как общая ответственность за поступок, который они считают преступным. С точки зрения здравого смысла, мы объясняем такой тип солидарности естественным желанием избежать наказания; исследования знаменитой «дилеммы заключенных» в области теории игр также учит нас, что (если никто не спутает ставки) наиболее рациональное решение, которое может принять каждый член, будет основано на предположении солидарности остальной части команды. Другое дело, что мы не знаем, до какой степени солидарность сообщников поддерживается тем фактом, что лишь члены команды, изначально задействованной в последовательном действии, скорее всего, смогут вступить в заговор, чтобы разрешить парадокс, и по общему согласию найдут основания для веры в правомерность прошлого действия, несмотря на возрастающую очевидность обратного. Поэтому я считаю, что другой «обязывающий фактор», названный Милгрэмом *ситуационные обязательства*, является во многом производным первого — *парадокса последовательного действия*.

## Морально оправданная технология

Одним из самых замечательных свойств бюрократической системы власти является исчезающая вероятность того, что странность чьих-либо поступков будет постоянно открываться и, по обнаружении, превращаться в моральную дилемму. В бюрократии нравственные соображения функционера оставлены в стороне, его внимание сосредоточено на объектах действия. И не так уж важно, как поживают и чувствуют себя при этом «объекты» действия. Значение имеет то, насколько искусно и эффективно актер выполняет те или иные приказания вышестоящих. И в этом отношении вышестоящие являются самой компетентной и естественной властью. Обстоятельства и в дальнейшем ук-

репляют власть вышестоящих над их подчиненными. В дополнение к отдаваемым приказам и наказаниям за неподчинение они выносят и моральные суждения – единственные моральные суждения, имеющие значение для самооценки индивида.

Комментаторы постоянно обращают внимание на то, что результаты экспериментов Милгрэма могли быть получены под воздействием убеждения, что опыт производится в научных интересах. Наука – это, несомненно, высокий, редко оспариваемый и, как правило, моральный авторитет. Однако науке, как никакой другой власти, общественное мнение позволяет применять отвратительный с этической точки зрения принцип оправдания цели средствами. Наука служит примером абсолютного несовпадения цели и средств – идеалом рациональной организации человеческого поведения: именно цели подчиняются нравственной эволюции, а не средства. На выражения нравственной обеспокоенности экспериментаторы отвечали вежливой, рутинной и пресной формулировкой: «Никакого длительного причинения вреда тканям организма нанесено не будет». Большинство участников восприняли подобное утешение с радостью и предпочли не обдумывать возможности, которые подобная формулировка не проговаривает (например, моральную сторону временного причинения вреда тканям человека или просто болевой шок). Для них важнее было подтверждение того, что кто-то «наверху» уже разобрался с тем, что является этически приемлемым, а что нет.

Внутри бюрократической системы власти язык морали обретает новый словарь. Он переполнен такими понятиями, как лояльность, долг, дисциплина – все они указывают на вышестоящих как на верховный объект в области нравственности и одновременно высший моральный авторитет. Все они на деле говорят об одном и том же: лояльность означает выполнение своего долга в соответствии с дисциплинарным кодом. Объединяясь и укрепляя друг друга, они возрастают до уровня моральных предписаний до такой степени, что могут подавлять и отметать все остальные моральные соображения – и прежде всего этические проблемы, чуждые задачам воспроизводства системы власти. Они присваивают, используют в интересах бюрократии и монополизуют все обычные социально-психологические средства нравственной саморегуляции. Согласно Милгрэму, «подчиненный испытывает стыд или гордость в зависимости от того, насколько адекватно им были выполнены действия, предписанные властями:

Суперэго сдвигается от оценки положительности или отрицательности действий к оценке того, насколько хорошо или плохо индивид функционирует в системе власти<sup>7</sup>.

Из этого следует, что, вопреки распространенному толкованию, бюрократическая система власти не выступает против нравственных норм как таковых и не отбрасывает их, как по сути иррациональные эмоциональные воздействия, противоречащие холодной рациональности подлинно эффективного действия. Вместо этого она использует их – или скорее находит им иное применение. *Бюрократия освоила трюк морализации технологии вместе с отрицанием моральной значимости нетехнических вопросов.* Именно технология действия, а не его сущностное содержание, подвергается оценке как плохая или хорошая, уместная или неуместная, правильная и неправильная. Совесть актора требует от него хорошо выполнять свою работу и побуждает измерять его собственную добросовестность точностью, с которой он соблюдает организационные правила и сохраняет преданность задаче, поставленной вышестоящими. То, что заставляло молчать прежнюю, «старомодную» совесть в испытуемых, проходивших эксперимент Милгрэма, и не давало им окончательно выйти из игры, было *замещающей совестью*, сформированной экспериментаторами из «исследовательских интересов» или «требований эксперимента», а также из предупреждений об ущербе, который может повлечь за собой преждевременное завершение эксперимента. В случае с экспериментами Милгрэма такая замещающая совесть была сбита наскоро (ни один эксперимент не длился более часа), и все же оказалась удивительно эффективной.

Не вызывает сомнения, что замещение сущностной морали на мораль технологическую прошло легко именно благодаря нарушению равновесия между близостью испытуемого к объектам действия и его же близостью к властной инстанции. Эксперименты Милгрэма с поразительной устойчивостью указывали на положительную зависимость между эффективностью замещения и отдаленностью (технической в большей степени, нежели физической) субъекта от конечных последствий его действий. Например, один из экспериментов показал, что, когда «испытуемому не приказывали использовать кнопку для нанесения удара током, но просто требовали выполнять вспомогательные действия... перед тем как другой испытуемый осуществлял эту операцию... 37 из 40 взрослых... продолжили выполнять действия до самого высокого уровня разрядов» (один достиг отметки на пульте управления «очень опасно – XX»). Заключение самого Милгрэма таково, что игнорировать ответственность психологически легче, когда являешься лишь посредником в цепи злодеяния, но остаешься вдали от конечных последствий действия<sup>8</sup>. Для посредника в такой цепи его собственные действия предстают техническими, так сказать, с

обоих концов. Непосредственным результатом его действия является решение другой технической задачи – выполнение определенной работы с электроаппаратом или с листом бумаги на пульте. Причинно-следственная связь между его действием и страданием жертвы притупляется и относительно легко игнорируется. Таким образом «долг» и «дисциплина» не встречают серьезного конкурента.

## Блуждающая ответственность

Система власти в экспериментах Милгрэма была простой и содержала немного звеньев. Источник власти для испытуемого – экспериментатор – был главным менеджером системы, хотя испытуемый мог и не знать об этом (с этой точки зрения, сам экспериментатор действовал в качестве посредника; его власть была делегирована вышестоящим, безличным и неопределенным авторитетам «науки» или «исследования»). Простота эксперимента отразилась в откровенности полученных результатов. Было обнаружено, что испытуемый наделял властными полномочиями экспериментатора; и что власть в действительности находилась в руках экспериментатора – конечной властной инстанции, которой не требовалось санкций или одобрения от вышестоящих. Таким образом, эксперимент был сфокусирован на готовности испытуемого отказаться от ответственности за содеянное, и в особенности за то, что он только собирался сделать. Для этой готовности решающим было наделение экспериментатора правом требовать вещи, которые испытуемый не совершил бы по собственной инициативе – даже те, что он предпочел бы не совершать. Возможно, такое уполномочивание исходило из предположения, что в силу определенной туманной логики, незнакомой и непостижимой для испытуемого, вещи, которые экспериментатор требовал выполнить от испытуемого, были правомерны, даже если они казались ошибочными непосвященным; но, возможно, о такой логике даже и не задумывались, поскольку воля уполномоченного лица не нуждалась ни в какой легитимации в глазах субъекта: права командовать и обязанности подчиниться оказалось достаточно. Что мы знаем точно, благодаря Милгрэму, так это то, что испытуемые в его экспериментах продолжали совершать поступки, признаваемые ими же жестокими, только потому, что им приказывали их совершить власти, которые они признавали и облекали ответственностью за свои действия.

Эти исследования подтверждают главное: решающим фактором является скорее реакция на определенные властные полномочия, чем на определенный приказ осуществить электрошок. Приказы, исходящие извне компетенции данной властной инстанции, теряют силу... Важно не то, что испытуемые делают, но для кого они это делают?

Опыты Милгрэма открыли механизм *смещения ответственности* в его чистой, первоначальной и элементарной форме.

А раз ответственность смещена – благодаря согласию актора с правом начальника отдавать приказания, – «актор попадает в состояние агента<sup>10</sup> – ситуацию, в которой он должен выполнять желания других. Это состояние противоположно состоянию автономии. (Как таковое оно практически синонимично *гетерономии*, хотя оно также предполагает самоопределение актора и определяет местоположение внешних источников поведения актора – сил, стоящих за его ориентированностью на других, – в особом пункте институционализированной иерархии.) В состоянии агента актер ориентируется в ситуации точно так, как она определяется и понимается вышестоящими: это определение ситуации включает описание актора как агента властной инстанции.

Однако смещение ответственности в действительности является элементарным актом, одним из звеньев или блоков комплексного процесса. Это явление имеет место в узком пространстве, замкнутом между одним членом властной системы и другим, актором и его непосредственным начальником. Из-за простоты их структуры эксперименты Милгрэма не позволили проследить дальнейшие последствия подобного смещения ответственности. В частности, намеренно сосредотачиваясь на элементарных клетках сложных организмов, они не могли ставить «организменные» вопросы, вроде того, какой была бы бюрократическая организация, если бы смещение ответственности занимало длительный период и проходило на всех уровнях иерархии.

Мы можем предполагать, что общим эффектом подобного продолжительного и повсеместного смещения ответственности будет *блуждающая ответственность*, ситуация, в которой каждый член организации убежден, и при вопросе подтвердил бы, что находится всецело в чьем-то распоряжении, но члены, на которых указывают как на носителей ответственности, снова перелагают ответственность на кого-то другого. Кто-то скажет, что *организация в целом является инструментом забвения ответственности*. Причинные связи в согласованных дей-

ствиях замаскированы, а сам факт маскировки является наиболее мощным фактором их эффективности. Коллективное выполнение жестоких действий намного легче благодаря тому, что ответственность в основном «не закреплена», тогда как каждый участник данных действий убежден, что она на самом деле возложена на «соответствующую властную инстанцию». Это значит, что увиливание от ответственности – не просто уловки после совершения преступления, используемые как подходящее оправдание в случае обвинения в аморальности или еще хуже – противозаконности действия; блуждающая, не закрепленная ответственность как раз и является условием аморального или противозаконного действия, совершаемого при покорном или даже добровольном участии людей, обычно неспособных нарушать правила общепринятой морали. Блуждающая ответственность на практике означает, что власть морали как таковой была низвергнута без какого-либо открытого сопротивления и противостояния ей.

## Плюрализм власти и власть совести

Как и любые опыты, исследования Милгрэма проводились в искусственной, специально спроектированной среде. Она отличалась от контекста повседневной жизни в двух важных отношениях. Во-первых, связь испытуемых с «организацией» (группой исследователей и университетом, в который она входила) была краткой и *ad hoc*<sup>\*</sup>, что было известно заранее; испытуемые были наняты лишь на один час. Во-вторых, в большинстве экспериментов испытуемые контактировали только с одним начальником, который действовал как подлинное воплощение целеустремленности и последовательности, поэтому они относились к власти, санкционировавшей их поведение, как к монолитной и без сомнений убежденной в цели и значимости всей программы. Оба этих условия редко встречаются в обычной жизни. Поэтому следует уточнить, не могли ли они в принципе – и если да, то до какой степени – обуславливать поведение испытуемых.

Начнем с первого из этих пунктов: влияние властной инстанции, так убедительно продемонстрированное Милгрэмом, возможно, даже было бы более глубоким, если бы испытуемые

---

<sup>\*</sup> Специально для этого случая (лат.).



были убеждены в постоянстве их связи с организацией, которую представляет начальство, или по крайней мере были бы убеждены, что случай такого постоянства был реальным. Тогда бы на ситуацию повлияли дополнительные факторы, которые отсутствовали в эксперименте по очевидным причинам: солидарность и чувство взаимного долга (чувство, что «я не могу подвести его»), которые обычно развиваются между членами команды, остающимися вместе и решающими общие проблемы в течение долгого периода; *рассеянная взаимовыгода* (услуги, бескорыстно оказываемые другим членам группы, в надежде на вознаграждение в неопределенном будущем или просто в расчете на хорошее расположение коллеги или начальника, что опять-таки можно будет использовать в неопределенном будущем) и, что самое важное, – рутинная (ставшая совершенно привычной) последовательность поведения, делающая расчеты и выбор излишними, а установленные образцы действия – совершенно неоспоримыми). Вероятнее всего, данные и сходные факторы только усилят тенденции, которые изучал Милгрэм: те тенденции возникали под влиянием легитимной власти, и вышеперечисленные факторы, безусловно, добавляют ей легитимности, которая может только возрастать в течение времени, позволяя развиваться традиции и создавая различные неформальные образцы обмена между участниками.

Второе отклонение от обычных условий, однако, могло бы повлиять на наблюдаемые реакции особым образом. В обычной жизни нам нельзя ожидать подобных явлений. В искусственных условиях, тщательно контролируемых Милгрэмом, был один-единственный источник власти и никакого равнозначного критерия (или даже просто другого независимого мнения), который мог бы помочь испытуемому проверить законную силу получаемого им приказа. Милгрэм прекрасно осознавал возможность искажения, которое могло быть вызвано таким неестественно монолитным характером власти экспериментатора. Чтобы раскрыть степень такого искажения, он добавил к проекту определенное число экспериментов, в которых испытуемые имели дело уже с несколькими экспериментаторами, а экспериментаторов просили открыто не соглашаться друг с другом и обсуждать приказания. Итог был поистине ошеломляющим – рабская покорность, наблюдавшаяся во всех остальных экспериментах, бесследно исчезла. Испытуемые более не желали участвовать в действиях, которые им не нравились. Конечно, ничто теперь не побуждало их причинить страдания даже незнакомым жертвам. Из двадцати испытуемых этого дополнительного эксперимента один отказался еще до инсценированного спора между двумя экспериментаторами, восемнад-

цать отказались от дальнейшего сотрудничества при первом признаке несогласия между ними, а последний выбрал лишь один следующий этап после этого. «Ясно, что несогласие между представителями властной инстанции полностью парализовало действие»<sup>11</sup>.

Такая корректировка в организации эксперимента ясно дала понять следующее: *готовность к действию вопреки своему собственному суждению и вопреки голосу совести – не просто следствие исходящего от власти приказа, но результат воздействия целенаправленного, недвусмысленного и монопольного источника власти*. Такая готовность, вероятнее всего, появляется внутри организации, не допускающей оппозиции, не терпящей автономии, и в которой линейная иерархия субординации не знает исключения – организации, в которой нет двух членов, обладающих равной властью. (Большинство армий, исполнительных учреждений, тоталитарных партий и движений, некоторых сект и закрытых учебных заведений приближаются к данному типу.) Такая организация, однако, скорее всего, эффективна при одном или двух условиях. Она может надежно изолировать своих членов от остального общества, когда она получила или захватила контроль над жизнедеятельностью и нуждами большинства или всех членов (приближаясь тем самым к модели *тотальных институтов* Гоффмана\*), чтобы исключить возможность влияния конкурирующих источников власти. Или же она может быть просто одной из ветвей тоталитарного или квазитоталитарного государства, превращающего все свои ведомства в зеркальное отражение друг друга.

Согласно Милгрэму, «лишь когда у нас есть... власть... действующая на свободном пространстве без всякого противовеса, кроме протестов жертв, мы можем говорить о чистой реакции на власть. В реальной жизни, конечно, мы встречаемся с множеством противодействий, которые отменяют друг друга»<sup>12</sup>. Под «реальной жизнью» Милгрэм, скорее всего, подразумевал жизнь в демократичном обществе и вне тотального института: точнее говоря, жизнь в условиях плюрализма. Самый

---

\* Эрвинг Гоффман (1922–1982) – американский социолог, представитель «второго поколения» Чикагской школы. В 1961 году издал книгу «Приюты», вызвавшую бурную реакцию современников. Он проник в большую психиатрическую больницу под видом ассистента физиотерапевта и наблюдал за происходящим. Увиденное заставило его провести прямые параллели между психиатрическими больницами, тюрьмами, концлагерями, казармами, сиротскими приютами и целым рядом других, как он их назвал, «тотальных институтов».

замечательный вывод, вытекающий из целого ряда экспериментов Милгрэма, состоит в том, что *плюрализм – наилучшее профилактическое средство для морально нормальных людей, вовлеченных в ненормальные действия.* Должно быть, вначале нацисты разрушили остатки политического плюрализма, чтобы начать проекты наподобие холокоста, в которых, среди прочих необходимых – и доступных – ресурсов, они рассчитывали и на ожидаемую готовность обычных людей к аморальным и бесчеловечным действиям. В СССР систематическое уничтожение реальных и предполагаемых противников системы началось всерьез лишь после того, как были искоренены остатки социальной автономии и, следовательно, политического плюрализма, ее отражавшего. Пока плюрализм не уничтожен в глобальном масштабе, организации с криминальными целями, которым необходимо беспрекословное подчинение своих членов для выполнения явно аморальных действий, решают трудную задачу возведения крепких искусственных барьеров, изолирующих их членов от «размягчающего» воздействия разнообразных стандартов и мнений. *Голос индивидуальной совести лучше слышен в шуме политических и социальных разногласий.*

## Социальная природа зла

Большинство выводов, вытекающих из экспериментов Милгрэма, можно рассматривать как вариации на главную тему: жестокость находится в гораздо более тесной корреляции с определенными образцами социального взаимодействия, чем с личностными качествами или другими индивидуальными особенностями злоумышленников. Таким образом, жестокость в своих истоках в большей степени социальна, чем характерологична. Конечно, некоторые индивиды будут склонны к жестокости при условии попадания в контекст, который снимает давление морали и легитимирует бесчеловечность.

Если какие-то сомнения еще могли оставаться после Милгрэма, то они, скорее всего, развеялись при ближайшем рассмотрении результатов, полученных в ходе другого эксперимента, проведенного Филиппом Зимбардо\*<sup>13</sup>. В данном эксперименте даже потенциально тревожный фактор авторитета

---

\* Филипп Зимбардо (род. 1933) – американский социальный психолог, автор знаменитого Стэнфордского тюремного эксперимента.

всеми уважаемого института (науки), воплощенного в личности экспериментатора, был устранен. В эксперименте Зимбардо не было внешней властной инстанции, готовой снять ответственность с плеч испытуемых. Вся власть, задействованная в контексте эксперимента Зимбардо, принадлежала самим испытуемым. Зимбардо лишь запустил процесс, разделив испытуемых по позициям в пределах установленного образца взаимодействия.

В эксперименте Зимбардо (запланированном на две недели, но остановленном уже через неделю из-за опасения непоправимого ущерба телу и сознанию испытуемых) добровольцы в случайном порядке разделялись на узников и охранников. И те и другие получили свои символические отличия. Узники, например, носили туго сидящие колпаки, напоминающие бритые головы, а также робы, придававшие им нелепый вид. Их охранники носили униформу и темные очки, скрывавшие их глаза от взглядов узников. Сторонам было запрещено обращаться друг к другу по имени; полагалось соблюдать строгую безличность. Помимо этого был длинный список мелочных предписаний, унижающий узников и лишаящий их человеческого достоинства. Таким был отправной пункт. То, что последовало потом, превзошло и оставило далеко позади изобретательность организаторов. Инициативность охранников (случайно отобранных мужчин студенческого возраста, успешно выдержавших тщательнейшую проверку, подтвердившую отсутствие у них психических отклонений) не знала границ. В действие была приведена настоящая «схизмогенетическая цепь», выдвинутая в качестве гипотезы Грегори Бейтсоном\*. Расширительное толкование охранниками своего «превосходства» привело к выработке у узников тенденции к повиновению, которая, в свою очередь, подтолкнула охранников к дальнейшим проявлениям своих полномочий, что соответствующим образом сказалось на еще большем самоуничижении со стороны узников... Ох-

---

\* Грегори Бейтсон (1904–1980) – выдающийся мыслитель XX века, британо-американский антрополог, внесший значительный вклад в психиатрию и теорию коммуникации. Методолог биологии и человекознания, исследователь вопросов социализации, лингвистики, кибернетики. Его открытия легли в основу таких передовых направлений, как «системная» семейная терапия и нейролингвистическое программирование. Связывая данные разных наук в логически стройные объяснительные модели, Бейтсон оставил ярчайший след в целом ряде наук. Предложил назвать цепь действий и реакций на них (враждебное отношение, так сказать, оправдывает себя, вызывая враждебное поведение) *схизмогенезисом*.

ранники заставляли распевать узников непотребные песни, испражняться в ведра, которые затем не разрешали опорожнить, чистить туалеты голыми руками; чем больше они делали это, тем больше убеждались в нечеловеческой природе узников и тем меньше чувствовали себя ограниченными в изобретении и осуществлении мер еще более отталкивающей степени бесчеловечности.

Внезапная метаморфоза милых и благопристойных американских юношей в монстров наподобие тех, что встречались лишь в таких местах, как Освенцим и Трешлинка, приводит в ужас. И сбивает с толку. Это заставило некоторых наблюдателей предположить, что в большинстве людей, если не в каждом из нас, живет маленький эсэсовец, ждущий своего часа (Амитай Этциони предположил, что Милгрэм обнаружил скрытого Эйхмана в обычных людях)<sup>14</sup>. Джон Стайнер ввел понятие *спящего*, символизирующее обычно «дремлющую», но иногда бодрствующую способность к жестокости:

Эффект спящего относится к скрытой личностной характеристике склонных к насилию индивидов, таких как автократы, тираны или террористы, в условиях, когда устанавливаются соответствующие взаимоотношения «замка и ключа». Тогда спящий выходит из нормативной стадии своего поведенческого образца, и потенциальные характеристики склонной к насилию личности активируются. В определенном смысле, все люди – это подобного рода спящие, поскольку обладают потенциалом насилия, который при определенных условиях может быть приведен в действие<sup>15</sup>.

И все же ясно то, что оргия жестокости, застигнувшая врасплох Зимбардо и его коллег, была порождена порочным социальным устройством, а не порочностью участников эксперимента. Если бы испытуемые обменялись своими ролями, результат был бы тем же. Важным явилось существование полярности, а не то, кто именно находился с той или иной стороны. *Действительно важным оказалось то, что некоторые люди наделены тотальной, исключительной и ничем не сдерживаемой властью над другими.* Если в каждом из нас есть спящий, он может оставаться спящим всегда, если не возникнет подобной ситуации.

Поражает легкость, с которой большинство людей входят в роль, требующую жестокости или, по крайней мере, нравственной слепоты – если только эта роль была надлежащим образом закреплена и легитимирована вышестоящей властью. Из-за поразительной частоты, с которой каждое «сползание в роль» случалось во всех известных экспериментах, понятие

### 3. Бауман | АКТУАЛЬНОСТЬ ХОЛОКОСТА

спящего кажется не более чем метафизической подпоркой. Мы в самом деле не нуждаемся в нем, чтобы объяснить массовое обращение к жестокости. Однако это понятие действительно имеет значение применительно к довольно редким случаям, когда индивиды находили в себе силы и мужество сопротивляться приказам власти и отказывались их выполнять, найдя их неприемлемыми, по их собственным убеждениям. Обыкновенные люди, обычно законопослушные, скромные, не склонные к бунту и авантюрам, смело выступали против тех, кто был облечен властью, и, пренебрегая последствиями, избирали авторитетом свою собственную совесть – как и те немногие, разрозненные, действующие в одиночку люди, кто бросил вызов всемогущей и беспринципной власти и, рискуя жизнью, пытался спасти жертв холокоста. И напрасно искать социальные, политические или религиозные «детерминанты» их уникальности. Их совесть, дремлющая в отсутствие случая для проявления воинственности, но теперь проснувшаяся, была их настоящей индивидуальной отличительной чертой и достоянием – в отличие от аморальности, которая порождалась обществом.

Их способность сопротивляться злу была «спящей» большую часть их жизни. Она могла остаться спящей всю жизнь, и мы не узнали бы о ней. Но *такое* незнание было бы хорошей новостью.

# Глава 7 |

## По направлению к социологической теории морали

Рассмотрим подробнее проблему, возникшую в конце последней главы – проблему социальной природы зла, или, выражаясь точнее, социального воспроизводства аморального поведения. Несколько ее аспектов (например, механизмы, ответственные за производство нравственного безразличия или, говоря в общем, делегитимация нравственных принципов) были рассмотрены в предыдущих главах. Ни один анализ холокоста не может быть полным, если не включает в себя тщательное исследование отношения, которое существует между обществом и моральным поведением. Необходимость в подобном исследовании, кроме того, подкрепляется тем фактом, что имеющиеся социологические теории феноменов морали при ближайшем рассмотрении оказываются не готовыми предложить удовлетворительное описание опыта холокоста. Задача данной главы – прояснить некоторые ключевые уроки и выводы из того опыта, который подлинной социологической теорией морали, свободной от настоящих недостатков, следовало бы принимать во внимание. Более амбициозным планом, в направлении которого данная глава совершит лишь несколько предварительных шагов, является построение теории морали, способной полностью ассимилировать новые результаты, полученные в ходе исследования холокоста. Какого бы прогресса мы ни достигли в этом направлении, мы сможем дать обзор различных аналитических тем, развиваемых в этой книге.

В ряду предметов, созданных социологическим дискурсом, статус морали затруднителен и двусмыслен. И пока мало что сде-

лано для исправления этого, поскольку считается, что статус морали не имеет важных последствий для развития социологического дискурса. Проблемам морального поведения и морального выбора уделяется далеко не центральное место, они не привлекают к себе большого внимания. Большинство социологических нарративов не имеют дела с моралью. Социологический дискурс следует образцу науки, которая в пору своей молодости достигла эмансипации от религиозного и магического мышления, создав язык, способный порождать законченные нарративы, не используя таких понятий, как «цель» или «воля». *Наука, в сущности, является языковой игрой, которая ведется по правилам, запрещающим использование телеологического словаря.* Неупотребление телеологических терминов не является достаточным условием для того, чтобы высказывание принадлежало научному нарративу, но оно, безусловно, является необходимым условием.

В той мере, в какой социология стремилась сохранить верность правилам научного дискурса, мораль и связанные с ней феномены чувствовали себя неуютно в социальном универсуме, порожденном, теоретизируемом и исследуемом ведущими социологическими нарративами. Социологи поэтому старались не придавать значения качественной характеристике феноменов морали или старались относить их к классу феноменов, которые они могут описывать, не прибегая к телеологическому языку. Они предприняли усилия, которые привели к отрицанию независимой экзистенциальной модальности норм морали. Если мораль и признавалась отдельным фактором социальной реальности, ей приписывался вторичный и производный статус, который в принципе всегда объяснялся обращением к неморальным феноменам, то есть феноменам, полностью и однозначно поддающимся иному, нежели телеологическому, толкованию. Действительно, сама идея специфически социологического подхода к изучению морали стала синонимичной стратегии *социологической редукции* – то есть той стратегии, которая опирается в своем развитии на предположение, что все моральные феномены в целом могут быть исчерпывающе объяснены с помощью неморальных институтов, которые сообщают им свою обязывающую силу.

## Общество как кузница морали

Стратегия социально-каузального объяснения моральных норм (то есть выведение их из социальных условий, рассмотре-



ние их как производных социальных процессов) восходит, по меньшей мере, к Монтескье. Его предположения о том, что, например, многоженство возникает либо от избытка женщин, либо из-за особенно быстрого старения женщин в определенных климатических условиях, сейчас цитируются в книгах по истории, возможно, главным образом для того, чтобы проиллюстрировать прогресс, проделанный социальной наукой с момента ее зарождения. Тем не менее, образец объяснения, примером которого является гипотеза Монтескье, оставался в общем и целом неоспоримым на протяжении длительного времени. Уже стало частью редко оспариваемого социально-научного здравого смысла представление о том, что сама устойчивость моральной нормы свидетельствует о наличии коллективной потребности, с которой она призвана справляться; и что, следовательно, все научные исследования морали должны пытаться обнаружить подобные нужды и перестроить общественные механизмы, которые посредством предписывания норм обеспечат их удовлетворение.

Данное теоретическое предположение и сопутствующая ему стратегия истолкования вызвали циклический способ умозаключения, лучше всего выраженный Клакхоном\*, который настаивал на том, что нравственная норма или обычай не существовали бы, не будь они функциональными (то есть полезными для удовлетворения нужд или укрощения деструктивных поведенческих наклонностей – например, для снижения беспокойства или оттока врожденной агрессивности, которые практиковались колдунами навахо); и что исчезновение потребности, породившей и поддерживавшей нормы, вскоре приведет к исчезновению и самой нормы. Любая неудача нормы морали в служении предписанной ей задаче (то есть ее неспособность адекватно справиться с исходной потребностью) даст сходные результаты. Эта практика научного исследования морали самым исчерпывающим образом была систематизирована Малиновским, который подчеркивал прикладной характер морали, ее подчиненный статус по отношению к таким «сущностным человеческим потребностям», как пища, безопасность или защита от суровых погодных условий.

На первый взгляд, Дюркгейм (чья трактовка феноменов морали стала каноном социологической мудрости и фактически определила значение специфически социологического подхода к изучению морали) отверг призыв увязать нормы с потребно-

---

\* Клайд Клакхон (1905–1960) – видный американский антрополог, автор книги «Колдовство у навахо» (1944).

стями; в конце концов он остро раскритиковал устоявшееся мнение о том, что нормы морали, нашедшие закрепление в определенном обществе, скорее всего, достигли обязательной силы посредством процесса сознательного (не говоря уже о рациональном) анализа и выбора. Явно вразрез с этнографическими представлениями того времени Дюркгейм настаивал на том, что сущность морали следует искать именно в обязывающей силе, которую она демонстрирует, а не в ее рациональной связи с потребностями, которые члены общества стремятся удовлетворить; норма является таковой не потому, что она была отобрана, не потому, что она подходила для задачи продвижения и защиты интересов членов общества, но потому, что члены общества – посредством обучения или горьких последствий своих проступков – наглядно убеждаются в ее присутствии. Однако критика Дюркгейма не была нацелена против принципа «рационального объяснения» как такового. И еще меньше она подрывала практику социологического редукционизма. С этой точки зрения, расхождение Дюркгейма со сложившейся интерпретационной практикой представляло собой не более чем семейную ссору. А то, что казалось выражением радикального разрыва, сводилось, в конце концов, к смещению акцента с индивидуальных на *общественные* потребности; или скорее к одной верховной потребности, отныне приоритетной по отношению ко всем остальным, исходящим от индивидов или от групп – *потребности социальной интеграции*. Любая долговременная система морали призвана сохранять идентичность общества, которое поддерживает свою обязывающую силу посредством социализации и карательных санкций. Устойчивость общества достигается и поддерживается введением ограничений на природные (асоциальные, досоциальные) склонности членов общества: путем принуждения их действовать таким образом, который не противоречит потребности поддерживать социетальное единство.

Возможно даже, что ревизия Дюркгейма сделала социологическое рассуждение о нравственности более циклическим, чем когда-либо. Если единственным экзистенциальным основанием морали является воля общества, а его единственная функция – сделать возможным выживание общества, тогда сама проблема реальной оценки специфических систем морали, по существу, устраняется из социологической повестки. В самом деле, когда социальная интеграция признана единственной системой отсчета, в пределах которой может осуществляться оценка, нет никакой возможности, при которой разнообразные системы морали можно было бы сравнить и дифференцированно оценить. Потребность, которой служит каждая система, возни-

кает внутри общества, в котором она гнездится, и важным здесь является то, что в каждом обществе должна быть система морали, а не субстанция норм морали, которую то или иное общество может навязать для поддержания своего единства. *En gros\**, как сказал бы Дюркгейм, каждое общество имеет необходимую ему мораль. А так как потребность общества является единственной субстанцией морали, все системы морали равны в одном-единственном отношении, в котором они могут легитимно – объективно, научно – измеряться и оцениваться: в отношении их полезности для удовлетворения этой потребности.

Однако в трактовке морали у Дюркгейма есть нечто помимо энергичного подтверждения давнего взгляда на нормы морали как на социальные продукты. Возможно, самым внушительным в том, что касается влияния Дюркгейма на общественно-научную практику, явилась концепция общества как, по существу, активно морализующей силы: «Человек есть существо моральное лишь потому, что он живет в обществе»; «мораль, в любой форме, никогда не встречается, кроме как в обществе»; «индивид подчиняется обществу, и это подчинение является условием его освобождения. Поскольку свобода человека заключается в освобождении от слепых, безумных физических сил, он достигает этого, противопоставляя им великую и разумную силу общества, под защитой которой он укрывается. Прячась под крылом общества, он, в определенной степени, становится зависимым от него. Но это освобождающая зависимость; в этом нет противоречия». Отзвуки этих и сходных памятных высказываний Дюркгейма и до наших дней слышны в социологической практике. Вся мораль исходит от общества; вне общества нравственной жизни нет; общество лучше всего понимается как фабрика по производству морали; общество продвигает нравственно регулируемое поведение и вытесняет, подавляет или предотвращает безнравственность. Альтернативой нравственному контролю общества является не независимость человека, а господство животных страстей. Как раз потому, что до-социальные импульсы-порывы человека-животного были эгоистичными, жестокими и угрожающими, для поддержания социальной жизни их надлежало укротить и подчинить. Стоит только убрать социальное принуждение, как люди снова впадут в варварство, от которого они, хотя и не окончательно, были освобождены силой общества.

Это глубоко укоренившееся доверие к социальному урегулированию как облагораживающему, возвышающему, гумани-

---

\* В целом (франц.).

зирующему фактору противоречит утверждению самого Дюркгейма о том, что поступки являются порочными скорее потому, что они запрещены обществом, но они не запрещаются обществом потому, что являются порочными. Хладнокровный и скептический ученый в Дюркгейме развенчивает все претензии в отношении того, что в зле есть какое-то иное содержание, кроме отрицаемого силой, достаточно могущественной, чтобы превратить свою волю в обязательное правило. Горячий патриот и человек, искренне верующий в превосходство и прогресс цивилизованной жизни, не может не чувствовать, что то, что отвергнуто, в действительности является злом, и что отвержение должно быть освобождающим и возвышающим действием.

Это чувство соответствует самосознанию формы жизни, которая, приобретя и обеспечив свое материальное превосходство, не может не убедиться в превосходстве правил, которым следовала. В конце концов, она не была «обществом как таковым» – абстрактной теоретической категорией, – но современным западным обществом, служившим образцом морализующей миссии. Только благодаря практике воинственных общественных кампаний и прозелитизма специфически современного западного «садоводческого» общества<sup>1</sup> могла появиться самоуверенность, позволившая представить принудительное применение правил как процесс гуманизации, а не как подавление одной формы человечества другой. Та же уверенность позволила отбросить социально нерегулируемые (либо оставленные без внимания, игнорируемые или не вполне контролируемые) проявления человеческой природы как отдельные примеры бесчеловечности или, в лучшем случае, как подозрительные и потенциально опасные. Теоретическое представление в конце концов легитимировало суверенитет общества над его членами и его противниками.

И как только данная самоуверенность была перекована в социальную теорию, для истолкования морали наступили важные последствия. По определению, досоциальные или асоциальные мотивы не могли считаться моральными. К тому же, возможность того, что, по крайней мере, некоторые образцы морали могут корениться в экзистенциальных факторах, не затронутых случайными социальными правилами общежития, не могла быть адекватно сформулирована, не говоря уже о серьезном рассмотрении. Еще в меньшей степени можно представить, не впадая в противоречие, что некоторые виды морального давления, оказываемого самим образом человеческого существования, самим фактом «бытия с другими», могут в определенных обстоятельствах быть нейтрализованы или подавлены противостоящими социальными силами; и что, други-

ми словами, *общество* – в дополнение или даже вопреки своей «морализующей функции» – может, по крайней мере при случае, действовать как сила, «приглушающая мораль».

Поскольку мораль понимается как социальный продукт, она получает каузальное объяснение со ссылкой на механизмы, которые, когда они функционируют надлежащим образом, обеспечивают «постоянное питание» – события, задевающие рассеянные, но глубоко укоренившиеся нравственные чувства, бросающие вызов общепринятой концепции добра и зла (приличного и непристойного поведения) и обычно воспринимаемые как результат неудачи или плохой организации «индустрии морали». Промышленная система служила одной из самых сильных метафор, из которых сплетена теоретическая модель современного общества, и представление о *социальном производстве морали* предлагает самый выдающийся пример ее влияния. Случай аморального поведения толкуется как результат неадекватного обеспечения норм морали или обеспечения ошибочных норм (то есть норм с недостаточной обязывающей силой); последнее, в свою очередь, приписывается техническим или управленческим ошибкам «социальной фабрики морали» – в лучшем случае, «непредвиденным последствиям» неумело согласованных производственных усилий или вмешательству посторонних по отношению к производственной системе факторов (то есть несовершенству контроля над производственными факторами).

Аморальное поведение затем трактуется как «отклонение от нормы», идущее от отсутствия или слабости «социализирующего давления», и, в конечном счете, от несовершенства или дефектности социальных механизмов, призванных подобное давление оказывать<sup>2</sup>. На уровне социальной системы подобное истолкование указывает на нерешенные проблемы в управлении (самым ярким примером чего является *аномия* Дюркгейма). На более низких уровнях оно указывает на недостатки образовательных учреждений, ослабление института семьи или воздействие неискоренимых антисоциальных анклавов с их собственным антиморальным социализирующим давлением. Во всех случаях, однако, феномен аморального поведения понимается как проявление досоциальных или асоциальных импульсов, вырывающихся из тюремных камер, в которые поместило их общество, или избегающих изоляции. Аморальное поведение всегда является возвратом к досоциальному состоянию или неудачным освобождением от него. Оно всегда связано с определенным сопротивлением социальному давлению, или, по крайней мере, «справедливому давлению» (понятие, которое в свете теоретической схемы Дюркгейма может быть

истолковано лишь как идентичное социальной *норме*, то есть *господствующим стандартам* и *средней величине*). Так как мораль является социальным продуктом, сопротивление стандартам, продвигаемым обществом в качестве норм поведения, должно приводить к распространению аморального действия.

Данная теория морали признает право общества (любого общества или, следуя более либеральному истолкованию, каждого социального коллектива, не обязательно «глобального-социетального» масштаба, но способного поддерживать свою коллективную совесть совокупностью эффективных санкций) претворять в жизнь его собственную версию о содержании морального поведения и соглашается с практикой, при которой власти общества притязают на монополию морального суждения. Она молчаливо признает теоретически нелегитимными все суждения, которые не связаны с непосредственным осуществлением такой монополии; так что для всех практических замыслов и целей моральное поведение становится синонимичным социальному конформизму и подчинению нормам, соблюдаемым большинством.

## Вызов холокоста

Циклическое рассуждение, вызываемое фактической идентификацией морали с социальной дисциплиной, делает ежедневную практику социологии, по сути, невосприимчивой к «кризису парадигмы». В принципе, есть лишь несколько возможностей, когда применение существующей парадигмы может привести к затруднениям. Программный релятивизм, встроенный в представление о морали, олицетворяет главный предохранительный клапан, в случае если наблюдаемые нормы действительно вызовут бессознательное нравственное отвращение. Поэтому потребовались бы события исключительной драматической силы, чтобы подорвать власть доминирующей парадигмы и начать лихорадочный поиск оснований для альтернативных этических принципов. Даже в этих условиях необходимость подобного поиска воспринимается с подозрением, и стоит немалых усилий описать драматический опыт в форме, которая бы позволила внедрить его в рамки старой схемы; это обычно достигается либо путем представления событий как поистине уникальных, а отсюда не вполне релевантных применительно к общей *теории* морали (отличной от *истории* морали – подобно тому, как падение гигантских метеоритов не потребо-

вало бы пересмотра теории эволюции), или путем растворения этого опыта в более широкой и знакомой категории неприятных, но обычных и систематических побочных продуктов или ограничений производящей мораль системы. Если же ни одна из двух уловок не соответствует значимости событий, иногда прибегают к третьему средству: отказу допустить очевидный факт в дискурсивный универсум дисциплины и продолжать дело так, как если бы никакого события не произошло.

Все три уловки были использованы в социологической реакции на холокост – событие, по-видимому, самой драматической моральной значимости. Как мы отмечали выше, уже предпринимались многочисленные попытки описать самый ужасный из случаев геноцида как результат деятельности плотной сети нравственно неполноценных индивидов, освобожденных от пут цивилизации при помощи преступной и, главным образом, иррациональной идеологии. Когда подобные попытки провалились, поскольку преступники признавались вменяемыми и морально «нормальными» в большинстве тщательных исторических исследований, внимание было сосредоточено на пересмотре отдельных старых классов девиантных феноменов или на построении новых социологических категорий, к которым мог быть отнесен и таким образом освоен и нейтрализован эпизод холокоста (взять, например, объяснение холокоста в терминах предрассудка или идеологии). Наконец, самый популярный способ обращения со свидетельством холокоста до сих пор состоит в том, чтобы не иметь с ним дела вообще. Сущность и историческая тенденция современности, логика цивилизационного процесса, перспективы и препятствия прогрессивной рационализации общественной жизни часто обсуждаются так, как будто холокоста не было, как будто бы не был правдой или даже не заслуживал серьезного изучения тот факт, что холокост «свидетельствует о прогрессе цивилизации»<sup>3</sup> или что «теперь цивилизация включает лагерь смерти и «мусульман»\* в число своих материальных и духовных достижений»<sup>4</sup>.

И все же холокост упорно сопротивляется всем трем способам обращения с ним. По ряду причин он представляет вызов социальной теории, который нельзя легко отвергнуть, так как решение отвергнуть его не могут принять социальные теоретики, или, во всяком случае, не только они могут принять такое решение. Политические и правовые реакции на нацистские

---

\* «Мусульмане» – так в фашистских концлагерях называли заключенных, находящихся на грани истощения.

преступления ставят на повестку дня необходимость легитимировать приговор об аморальности в отношении действий множества людей, честно следовавших нормам морали их общества. Если бы различие между правильным и неправильным или плохим и хорошим находилось полностью и исключительно в ведении социальной группы, способной «принципиально упорядочивать» свое контролируемое пространство (как утверждает доминирующая социологическая теория), тогда не было бы законного основания для выдвижения обвинения в аморальности таким индивидам, поскольку они не нарушают правил, установленных этой группой. Можно догадаться, что если бы не поражение Германии, подобных проблем просто не возникло бы. Однако Германия потерпела поражение, и необходимость решения этих проблем действительно существует.

Не было бы военных преступников и права допрашивать, приговаривать и казнить Эйхмана, если бы было неоправданным считать дисциплинированное поведение, полностью соответствующее нормам морали, действующим в конкретное время и в конкретном месте, преступным. И не было бы возможности представить себе наказание за подобное поведение чем-то иным, нежели просто местью победителей в отношении побежденных (отношение, которое можно легко перевернуть, не оспаривая принцип наказания), если бы не было сверх- или несоциетальных оснований, которые позволили бы продемонстрировать, что осуждаемые действия сталкиваются не только с имеющей обратную силу правовой нормой, но также с принципами морали, которые общество может приостановить, но не может объявить неуместными. *После холокоста правовая практика и теория морали столкнулись с возможностью того, что мораль может проявляться в неподчинении по отношению к социально поддерживаемым принципам и в действии, открыто бросающем вызов общественному единству и согласию.* Для социологической теории сама идея досоциальных оснований нравственного поведения предвещает необходимость радикального пересмотра традиционных толкований происхождения норм морали и их обязывающей силы. Этот момент наиболее ярко выражен у Ханны Арент:

Мы требовали на этих процессах, где подсудимыми были те, кто совершил преступления против закона, чтобы люди были способны отличить правильное от неправильного, даже когда все, чем они могут руководствоваться – их собственное суждение, которое, кроме того, может совершенно расходиться с тем, что они должны воспринимать как единодушное мнение всех тех, кто их окружает. И этот вопрос тем более



серьезен, что те немногие, кто был достаточно «самонадеян» и доверял лишь их собственному суждению, совершенно не походили на тех, кто продолжал следовать старым ценностям, или тех, кто руководствовался религиозной верой. Поскольку все респектабельное общество так или иначе покорилося Гитлеру, нравственные максимы, определяющие социальное поведение, и религиозные заповеди – «Не убий», – направляющие нашу совесть, практически исчезли. Те немногие, кто еще были способны отличить правильное от неправильного, следовали только лишь своему собственному суждению, и делали это добровольно; не было обязательных правил, позволявших классифицировать случаи, с которыми они сталкивались. Они должны были принимать решение всякий раз, когда это возникало, поскольку для беспрецедентного не существовало никаких правил<sup>5</sup>.

В этих пронизательных словах Ханна Арендт сформулировала вопрос *нравственной ответственности за сопротивление социализации*. Спорный вопрос о социальных основаниях нравственности был отложен; и какое бы решение ни было предложено для данной проблемы, авторитет и обязывающая сила различия между добром и злом не могут обрести легитимность посредством обращения к социальным силам, которые их санкционируют и подкрепляют. Даже если оно осуждается группой – и даже всеми группами – индивидуальное поведение все еще может быть нравственным, а действие, рекомендуемое обществом – пусть даже всем обществом разом, – все еще может быть аморальным. Сопротивление правилам поведения, поддерживаемым данным обществом, не должно и не может утверждать свой авторитет на основе альтернативного нормативного предписания другого общества, например, на основе прошлых традиционных представлений о морали, в настоящее время уже дискредитированных и отброшенных новым социальным порядком. Вопрос о социальных основаниях морального авторитета, другими словами, является морально неуместным.

Социально принудительные системы морали основываются на коллективной поддержке – а потому в плюралистическом, гетерогенном мире они необратимо относительны. *Этот релятивизм, однако, не относится к человеческой «способности отличать правильное от неправильного»*. Такая способность должна быть укоренена в чем-то ином, нежели коллективная совесть общества. Каждое общество сталкивается с этой способностью в уже готовом виде точно таким же образом, как оно

сталкивается с человеческой биологической конституцией, физиологическими потребностями или психологическими склонностями. И оно делает с этой способностью то, что позволяет себе делать с другими проявлениями упрямой реальности: оно старается подавить или использовать ее в своих собственных целях или сообщить ей направление, которое оно считает полезным или безвредным. *Процесс социализации заключается в манипуляции нравственной способностью, а не в ее производстве.* А манипулируемая нравственная способность влечет за собой не только определенные принципы, которые позднее становятся пассивным объектом социальной обработки; она включает также способность сопротивляться, уклоняться этой обработке и осиливать ее, так что в конце концов власть и ответственность за нравственный выбор остается все там же: в руках человека.

Если принять этот взгляд на нравственную способность, кажущиеся решенными и уже закрытыми проблемы социологии морали оказываются вновь открытыми. Проблема морали должна быть перемещена. Из проблематики социализации, образования или цивилизации – другими словами, из области социально управляемых «гуманизирующих процессов» – ее следует перевести в область репрессивных, стандартизирующих и стабилизирующих процессов и институтов как одну из «проблем», которую они призваны решать или преобразовывать. Тогда нравственной способности – цели, но не продукту подобных процессов и учреждений – придется раскрыть свой альтернативный источник. И раз отброшено объяснение моральной тенденции как сознательной или бессознательной склонности к решению «гоббсовской проблемы», факторы, ответственные за наличие нравственных способностей, следует искать в *социальной*, а не *социетальной* сфере. Моральное поведение можно понять лишь в контексте сосуществования, «бытия с другими», то есть в контексте социальном; но оно не обязано своим появлением наличию сверхиндивидуальных факторов тренировки и принуждения (к выполнению действий), то есть социетальному контексту.

## Досоциетальные источники морали

Экзистенциальная модальность социального (в отличие от структуры социетального) редко попадала в фокус социологического внимания. Ее с удовольствием относили к области фи-

лософской антропологии и рассматривали как то, что в лучшем случае создает отдаленную внешнюю границу собственно социологической области. А потому в социологии нет согласия относительно значения, эмпирического содержания и поведенческих последствий изначального состояния «бытия с другими». Способы, благодаря которым это состояние может стать социологически релевантным, еще предстоит обнаружить в социологической практике.

Самая распространенная социологическая практика не наделяет «бытие с другими» (то есть бытие с другими людьми) особым статусом или значимостью. «Другие» растворены в гораздо более инклюзивных понятиях контекста действия, ситуации актора или, вообще говоря, «среды» – в обширных территориях, где находятся силы, которые заставляют актора делать выбор в определенном направлении или ограничивают его свободу выбора и которые задают целенаправленную деятельность актора и сообщают мотивы для совершения действия. «Другие» не наделены субъективностью, которая могла бы выделить их среди прочих составляющих «контекста действия». Если даже признается их уникальный человеческий статус, едва ли он рассматривается на практике как обстоятельство, которое ставит актора перед задачей, имеющей особое качество. Для всех практических намерений и целей «субъективность» «другого» сводится к сниженной предсказуемости его реакций и, следовательно, к ограничению, которое налагается на стремление актора к полному контролю над ситуацией, и к эффективному выполнению поставленной перед ним задачи. Изменчивое поведение *другого человека*, как отличного от неодушевленных элементов области действия, является помехой, и, насколько мы знаем, временной помехой. Контроль, осуществляемый актором над ситуацией, нацелен на такую манипуляцию контекстом действий «другого», которая бы увеличила вероятность специфического варианта поведения и, следовательно, в дальнейшем свела бы позицию «другого» к практически неотличимой от остальных объектов, существенных для успеха действия. Наличие в поле действия *другого человека* представляет собой *технологический* вызов; и действительно, достичь власти над ним, свести его к статусу поддающегося вычислению и управляемого фактора целенаправленной деятельности очевидно не просто. При этом со стороны актора могут потребоваться даже специальные навыки (такие как понимание, ораторское мастерство или знание психологии), которые несущественны или бесполезны в отношениях с другими объектами в поле деятельности.

В рамках этой общей перспективы значимость «другого» полностью исчерпывается его воздействием на шансы актора

достичь своей цели. «Другой» важен лишь постольку, поскольку его изменчивость и непостоянство умаляют вероятность того, что преследование данной цели завершится успехом. Задача актора состоит в обеспечении ситуации, в которой «другой» прекратит иметь значение, и его можно будет не принимать во внимание. Задача и ее выполнение, следовательно, являются предметом технической, а не моральной оценки. Возможности, открывающиеся перед актором в отношении его связи с «другим», делятся на эффективные и неэффективные, на целесообразные и нецелесообразные – иначе говоря, на рациональные и иррациональные, – но не на правильные и неправильные, хорошие или плохие. Сама по себе исходная ситуация «бытия с другими» не порождает (то есть пока не будет применена сила внешнего давления) какой-либо моральной проблематики. И какие бы нравственные соображения ни примешивались сюда, они обязательно будут приводить извне. Какие бы ограничения они ни налагали на выбор актора, они не будут результатом внутренней логики подсчетов по схеме средства – цель. Говоря аналитически, их следует сразу отнести к иррациональным факторам. В ситуации «бытия с другими», полностью организованной в соответствии с целями актора, мораль является инородным элементом.

Альтернативную концепцию происхождения морали можно поискать у Сартра, в его знаменитом изображении отношения *ego* – *alter* как важнейшей и универсальной экзистенциальной модели. Однако еще далеко не ясно, можно ли там ее найти. Если концепция морали и возникает в результате анализа Сартра, то это негативная концепция: мораль выступает скорее как предел, чем долг, скорее как ограничение, чем стимул. В этом отношении (правда, только в этом) сартровские выводы относительно определения статуса морали сильно не отступают от прежней стандартной социологической интерпретации роли морали в контексте элементарного действия.

Радикальное новаторство заключается, конечно, в выделении других людей из всего остального, что составляет горизонт актора, как единиц, наделенных качественно отличными статусом и способностью. У Сартра «другой» превращается в *alter ego*, собрата, субъекта, как и я сам, наделенного субъективностью, о которой я могу помыслить лишь как о копии той, что знакома мне по моему личному внутреннему опыту. От всех остальных, настоящих или воображаемых, предметов этого мира *alter ego* отделяет пропасть. *Alter ego* делает то же, что и я; он думает, оценивает, строит планы, а пока он все это делает, он смотрит на меня, как и я на него. Другой, просто смотря на меня, становится пределом моей свободы. Теперь он захватывает право опре-

делять меня и мои цели, тем самым истощая мою отдельность и независимость, подрывая мою идентичность и мое чувство уюта в этом мире. Само присутствие *alter ego* в этом мире пристыжает меня и остается постоянной причиной моего беспокойства. Я не могу быть всем, чем хочу быть. Я не могу делать все, что хочу. Моя свобода исчезает. В присутствии *alter ego* – то есть в этом мире – мое бытие для меня необратимо является бытием для другого. Когда я действую, я не могу не принимать во внимание это присутствие другого и, следовательно, все определения, точки зрения, перспективы, которые оно за собой влечет.

Кто-то скажет, что неизбежность нравственных соображений присуща сартровскому описанию сопряженности *ego* – *alter*. И все же еще далеко не ясно, какие моральные обязательства, если таковые имеются, могут быть обусловлены этой сопряженностью. Альфред Шюц\* имел полное право истолковать результаты описанного Сартром опыта *ego* – *alter* следующим образом:

Мои собственные возможности превратились в неконтролируемые мной шансы. Я более не владею ситуацией – или, по крайней мере, ситуация приобрела ускользающее от меня измерение. Я стал инструментом, с помощью которого Другой может осуществлять действие. Я реализую данный опыт не посредством мышления, но благодаря чувству неловкости и дискомфорта, которое, согласно Сартру, является одной из главных черт, характеризующих человеческое состояние<sup>6</sup>.

Сартровские неловкость и дискомфорт несут на себе явный отпечаток семейного сходства с той унылой внешней стесненностью, с помощью которой привычная социология характеризует присутствие других людей. Точнее говоря, они представляют собой субъективную рефлексию препятствия, которое социология пытается уловить в безличной, объективной структуре этого присутствия; или, еще лучше, они говорят об эмоциональной, докогнитивной стороне логико-рациональной установки. Эти две интерпретации экзистенциальной ситуации объединяет заключенное в них чувство досады. И здесь и там «другой» является препятствием и источником раздражения, в лучшем случае – вызовом. Согласно одной интерпретации, его присутствие не нуждается ни в каких нор-

---

\* Альфред Шюц (или Шютц) (1899–1959) – австрийский социолог и философ, основоположник феноменологической социологии.

мах морали – и правда, ни в каких других нормах, кроме правил рационального поведения. Согласно другой, его присутствие формирует мораль в виде набора скорее правил, чем норм (создаваемых не по внутреннему побуждению); правил, которые вызывают *естественную досаду*, ибо они обнаруживают, что другие люди враждебны человеческому состоянию, что они ограничивают свободу.

Существует, однако, третье описание экзистенциальной ситуации «бытия с другими», которое может стать отправным пунктом иного и поистине оригинального социологического подхода к морали, способного выявить и сформулировать такие аспекты современного общества, которые ортодоксальные подходы оставляют незамеченными. Эммануэль Левинас<sup>7</sup>, создавший это описание, выразил его главную мысль с помощью цитаты из Достоевского: «всякий из нас пред всеми во всем виноват, а я более всех»<sup>\*</sup>.

Для Левинаса «бытие с другими», этот первичный и неустрашимый атрибут человеческого существования, означает прежде всего *ответственность*. «Поскольку другой смотрит на меня, я ответствен за него, даже без необходимости принять ответственность в отношении него. Моя ответственность есть одна-единственная форма, в которой другой существует для меня; это форма его присутствия, его близости:

Другой не просто близок ко мне в пространстве или близок, как родитель, – он приближается ко мне, в основном, в той мере, в какой я сам – являюсь – чувствую себя ответственным за него. Это структура, которая никоим образом не походит на преднамеренную связь, которая в знании привязывает нас к объекту – неважно, к какому объекту, будь это даже человеческий объект. Близость не обращена к этой преднамеренности; в особенности она не обращена к тому факту, что Другой известен мне.

Совершенно определенно, что *моя ответственность ничем не обусловлена*. Она не зависит от прежнего знания о качествах ее объекта; она предшествует такому знанию. Она не зависит от заинтересованного намерения, устремленного к объекту. Она предшествует такому намерению. Ни знание, ни намерение не способствуют близости к другому, специфической человеческой форме близости.

---

<sup>\*</sup> Цит. по: Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы. М.: Современник, 1981. С. 326.

Связь с Другим завязывается только как ответственность, принята она или отвергнута, знаем мы или нет, как принять ее, способны мы или нет сделать что-то конкретное для Другого... Я анализирую межчеловеческие отношения, как если бы вблизи Другого – помимо того образа, который я сам создаю о другом человеке – его лицо, выражение Другого (в этом смысле все человеческое тело так или иначе является лицом) – были бы тем, что *предписывает* мне служить ему... Лицо приказывает и предписывает мне. Его значение – означенный приказ. Точнее говоря, если лицо означает обращенный ко мне приказ, то не так, как обычный знак означает свое означаемое; этот приказ и есть сама означенность Лица».

Действительно, согласно Левинасу, *ответственность есть основная, первичная и фундаментальная структура субъективности*. Ответственность, означающая «ответственность за Другого», и следовательно, ответственность «за то, что не является моим делом, или даже за то, что для меня не имеет значения». Эта экзистенциальная ответственность, единственное значение субъективности, бытия субъектом, не имеет ничего общего с контрактным обязательством. Как не имеет она ничего общего с моим расчетом на взаимную выгоду. Она не нуждается в обоснованных или пустых надеждах на взаимность, на «обююдность», на то, что другой воздаст мне своей собственной ответственностью. Я не беру на себя ответственность по воле превосходящей силы, будь то моральный кодекс, подкрепленный угрозой ада, или правовой кодекс, подкрепленный угрозой тюрьмы. Я не несу как бремя то, чем не является моя ответственность. Я становлюсь ответственным, когда я формирую себя как субъект. Следовательно, это мое и только мое дело. «Интерсубъективное отношение является несимметричным отношением... Я ответствен за Другого, не ожидая взаимности, пусть я должен умереть за это. Взаимность – это *его* дело».

Если ответственность является экзистенциальным состоянием человеческого субъекта, *мораль является первичной структурой интерсубъективной связи* в ее чистейшей форме, не затронутой какими-либо неморальными факторами (как интерес, расчет на выгоду, рациональный поиск оптимальных решений или подчинение принуждению). Содержание морали составляет долг по отношению к другому (он отличается от обязанности) и долг, который предшествует всякой заинтересованности – корни морали идут гораздо глубже таких социальных механизмов, как структуры господства или культуры.

Социетальные процессы начинаются, когда структура морали (эквивалентная интересубъективности) уже существует. Мораль не является продуктом общества. Мораль – нечто, чем общество манипулирует – эксплуатирует, переориентирует, блокирует.

И наоборот, аморальное поведение, отрекающееся или отказывающееся от ответственности за другого, не является следствием социетальной дисфункции. Поэтому скорее область аморального, нежели морального поведения, требует провести исследование социального управления интересубъективностью.

## Социальная близость и моральная ответственность

Ответственность, этот строительный блок любого морального поведения, возникает из близости другого. Близость означает ответственность, а ответственность является близостью. Спор об относительном приоритете одного или другого, как известно, неуместен, поскольку ни то ни другое не постижимо отдельно друг от друга. Снятие ответственности и таким образом нейтрализация нравственного порыва, следующего за ним, обязательно должно приводить к замене близости физическим или духовным отдалением. Альтернативой близости является социальная дистанция. Моральным атрибутом близости является ответственность; моральным атрибутом социальной дистанции является нехватка морального отношения, или гетерофобия. *Ответственность заглушается, как только ослабляется близость; она может в конечном итоге замещаться обидой, когда человеческий субъект-товарищ превращается в Другого.* Процесс превращения есть процесс социального отдаления. Именно подобное отдаление сделало возможным, чтобы тысячи убивали, а миллионы следили за убийствами без возмущения. Это было технологическим и бюрократическим достижением современного рационального общества, сделавшего подобное отдаление возможным.

Ганс Моммзен, один из самых выдающихся немецких историков нацизма, недавно подытожил историческое значение холокоста и проблем, которые он представляет для самосознания современного общества:

В то время как западная цивилизация создала средства невообразимого массового разрушения, дрессировка, обеспеченная современной технологией и рационали-



зиторскими техниками, породила чисто технократическую и бюрократическую ментальность, которую иллюстрирует группа преступных исполнителей холокоста, совершали ли они убийства сами или подготавливали депортацию и ликвидацию за столами Главной службы безопасности рейха (*Reichssicherheitshauptamt*), офисов дипломатической службы или полномочных представителей Третьего рейха в пределах оккупированных территорий или государств-сателлитов. В этом смысле история холокоста предстает как *mene tekel*\* современного государства<sup>8</sup>.

Чего бы нацистское государство ни достигло, оно, несомненно, преуспело в преодолении самого значительного препятствия, стоящего на пути систематического, целенаправленного, бесчувственного, хладнокровного убийства людей – старых и молодых, женщин и мужчин: «животной жалости, которую испытывают все нормальные люди при виде физических страданий»<sup>9</sup>. Мы не знаем многого о *животной* жалости, но мы знаем, что есть такое видение элементарного человеческого состояния, которое позволяет убедиться в универсальности человеческого отвращения к убийству, воздержанности от причинения страданий другому человеку и побуждения помогать тем, кто страдает. Оно помогает убедиться в универсальности личной ответственности за благополучие другого. Если это видение верно или, по крайней мере, правдоподобно, тогда главное достижение нацистского режима заключалось, прежде всего, в нейтрализации морального побуждения, характеризующего специфически человеческий экзистенциальный модус. Важно знать, был ли этот успех связан с уникальными особенностями нацистского движения и правления, или его можно описать, обратившись к более общим характеристикам нашего общества, которое нацисты просто умело поставили на службу Гитлеру.

Десять или двадцать лет тому назад было общепринятым – не только среди непрофессионалов, но также среди историков – искать объяснение массового убийства европейских евреев в длинной истории европейского антисемитизма. Подобное объяснение, конечно, потребовало выделения немецкого антисемитизма как самого сильного, беспощадного и убийственного;

---

\* Согласно Книге Пророка Даниила, эти слова были начертаны на стене таинственной рукой во время пира царя Вавилонии незадолго до падения Вавилона. В расширенном толковании они означают грозное пророчество, предзнаменование смерти.

в конце концов, именно в Германии зародился и воплощался чудовищный план тотального уничтожения целой расы. Однако, как мы помним из второй и третьей глав, это объяснение и заключения из него были дискредитированы историческими исследованиями. Существовала явная прерывистость между традиционной, досовременной ненавистью к евреям и новым проектом их истребления, ставшим неременным условием для осуществления холокоста. Что касается функции общественного мнения, растущий объем исторических свидетельств не оставляет никаких сомнений в отсутствии корреляции между обычными и традиционными, «соседскими», возникшими на основе конкуренции, антиеврейскими настроениями и одобрением нацистской идеи тотального уничтожения и готовностью участвовать в его осуществлении.

Среди историков нацизма сегодня все больше единодушия в том, что осуществление холокоста потребовало *нейтрализации обычного немецкого отношения к евреям, а не его мобилизации*; что «естественное» продолжение традиционных недобрых чувств по отношению к евреям оказалось в гораздо большей степени отвращением к «радикальным действиям» нацистских головорезов, чем готовностью участвовать в массовом убийстве; и что замыслившие геноцид эсэсовцы должны были следовать к своему «окончательному решению», отгородившись от влияния настроений широких слоев населения и сохраняя свою невосприимчивость к воздействию традиционного, спонтанно возникающего и коллективного отношения к их жертвам.

Важные и убедительные данные, полученные в ходе исторических исследований, недавно были подытожены Мартином Брошатом: «В тех больших и малых городах, где евреи образовали большой сегмент населения, отношения между немцами и евреями даже в первые годы нацистской эпохи были относительно хорошими и едва ли враждебными»<sup>10</sup>. Попытки нацистов поднять антисемитские настроения и перековать статическое неприятие в динамическое (различие, точно сформулированное Мюллером-Клаудиусом) – то есть воодушевить непартийное, идеологически свободное население на акты насилия против евреев или по крайней мере на активную поддержку силовых акций СА (штурмовиков) – основывались на отвращении народа к физическому насилию, принуждению, на глубоко укорененных запретах на причинение боли и физических страданий, а также на устойчивой лояльности людей по отношению к своим соседям, к людям знакомым, то есть уже присутствующим в чьей-то системе координат как личности, а не анонимные субъекты определенного типа. Хулиганские подвиги

пьяных штурмовиков в первые месяцы правления Гитлера пришлось прекратить и подавить силой, чтобы предотвратить отчуждение и возмущение народа. Радуюсь показушным антиеврейским выходкам своих последователей, Гитлер счел необходимым лично вмешаться, чтобы остановить антисемитскую инициативу в низах. Антиеврейский бойкот, спланированный на неопределенный период, в последнюю минуту был урезан до однодневной «предупреждающей демонстрации», отчасти из-за опасения зарубежной реакции, но в целом – ввиду явного недостатка энтузиазма по отношению к акции в народе. Последний бойкот (1 апреля 1933 года) нацистские лидеры в своих отчетах жаловались на повсеместную, за исключением штурмовиков и членов партии, апатию, а акция в целом оценивалась как неудача; сделанные выводы касались необходимости непрерывной пропаганды, способной разбудить и подготовить массы к их роли в осуществлении антиеврейских мероприятий<sup>11</sup>. Несмотря на последовавшие усилия, провал однодневного бойкота стал примером всей последующей антисемитской стратегии, требовавшей для успеха активного участия широких народных масс. Все время, пока еврейские магазины и врачебные кабинеты были открыты, они привлекали клиентов и пациентов. Крестьян Франконии и Баварии пришлось силой заставить прекратить торговлю с еврейскими торговцами рогатым скотом. Как мы видели, «Хрустальная ночь», единственный официально спланированный и проведенный широкомасштабный погром, также был признан контрпродуктивным в той мере, в какой он должен был усилить приверженность антисемитскому насилию среди обычных немцев. Вместо этого большинство людей с испугом прореагировали на усеянные разбитым стеклом мостовые и на то, как их пожилых соседей набивали в тюремные грузовики молодые головорезы. Но невозможно отрицать, что все негативные реакции на открытое проявление антиеврейского насилия без всякого видимого противоречия прекрасно совпадали с массовым и живым одобрением антиеврейского законотворчества – с новым определением понятия «еврей», изгнанием евреев из немецкого народа (*Volk*) и все большим объемом правовых ограничений и запретов<sup>12</sup>.

Юлиус Штрайхер, пионер антисемитской нацистской пропаганды, обнаружил, что самой трудной задачей, которую его газета «Штурмовик» взялась выполнить, было перенести стереотип «еврея как такового» на образы евреев, которых его читатели знали непосредственно – на своих соседей, друзей или деловых партнеров. По мнению Денниса Э. Шовальтера, автора замечательной монографии о короткой, но бурной истории этой газеты, Штрайхер был не одинок в своем открытии: «Ос-

новой вызов политического антисемитизма включал борьбу с образом «еврея-соседа» – знакомого или коллеги, одно существование которого опровергает правомерность негативного стереотипа, «мифологического жида»<sup>13</sup>. По-видимому, между обликом конкретного человека и абстрактным изображением удивительно мало сходства; как будто это было не в привычках человека испытывать логическое противоречие между ними в виде когнитивного диссонанса или психологической проблемы; как будто бы несмотря на то, что индивидуальный облик и абстрактное изображение имели, казалось бы, одного и того же референта, они вообще не рассматривались как понятия, принадлежащие одному классу репрезентаций, которые следовало сравнить и сопоставить, чтобы окончательно привести в соответствие друг с другом или отбросить. Задолго до того как полным ходом заработал механизм массового уничтожения – в октябре 1943 года – Гиммлер жаловался своим приспешникам, что даже преданные члены партии, не выказавшие никаких особых сожалений по поводу уничтожения еврейской расы как таковой, имели своих собственных, частных, особых евреев, за которых они хотели бы заступиться:

«Еврейский народ должен быть искоренен», – говорит каждый член партии. «Это ясно, это часть нашей программы – ликвидация евреев, это правильно, мы это сделаем». А потом все они являются, восемьдесят миллионов хороших немцев, и каждый имеет своего хорошего еврея. Конечно, остальные свиньи, но вот этот еврей первоклассный<sup>14</sup>.

То, что не дает совпасть индивидуальному облику и абстрактному стереотипу и предотвратит конфликт, который любой логик счел бы неотвратимым, есть, по-видимому, моральная насыщенность первого и морально нейтральный, чисто интеллектуальный характер второго. Тот контекст «близость-плюс-ответственность», в котором формируются индивидуальные образы, окружает их толстой стеной морали, практически неприступной для «чисто абстрактных» доводов. Каким бы убедительным или хитроумным ни был интеллектуальный стереотип, зона его применения резко обрывается там, где начинается сфера личного общения. «Другой» как абстрактная категория просто никак не связан с «другим», которого я *знаю*. Второй принадлежит сфере морали, тогда как первый решительно отбрасывается в сторону. Второй пребывает в семантическом универсуме добра и зла, который упорно отказывается подчиняться дискурсу эффективности и рационального выбора.

## Социальное подавление моральной ответственности

Мы уже знаем, что непосредственная связь между рассеянной гетерофобией и массовым убийством, спланированным и осуществленным нацистами, была небольшой. Накопленные исторические свидетельства дают, к тому же, все основания полагать, что это массовое убийство беспрецедентного масштаба не было (и, по всей вероятности, не могло быть) следствием пробуждения, высвобождения, усиления или взрыва дремлющих персональных склонностей; оно также не было в каком-либо другом смысле связано с враждебностью, возникающей из межличностных отношений, какими бы горькими или мрачными те ни были в отдельных случаях, – существует четкая граница, до которой доходит подобная межличностная вражда. В большинстве случаев насильственный переход границы, начертанной этой первичной ответственностью за другого, неразрывно связанной с близостью к человеку, с жизнью с другими, вызывает сопротивление. *Холокост мог быть осуществлен только при условии нейтрализации воздействия первичных моральных побуждений, выделения механизма убийства из сферы, где такие побуждения возникают и находят применение, и превращения их в маргинальные или в совершенно неуместные для исполнения поставленной задачи.*

Нейтрализация, выделение и маргинализация были достижениями нацистского режима, использовавшего грандиозный аппарат современной промышленности, науки, бюрократии, технологии. Без них холокост был бы невымыслим; грандиозное видение Европы, очищенной от евреев в результате полного уничтожения еврейской расы, растворилось бы во множестве погромов разного масштаба, совершаемых психопатами, садистами, фанатиками или другими обожателями дарового насилия; как бы ни были они жестоки и чудовищны, подобные действия вряд ли соразмерны главной цели. План «решения еврейской проблемы» был рациональной технико-бюрократической задачей, чем-то, что обязательно нужно было сделать в отношении определенной категории объектов с помощью специальной группы экспертов и специализированных организаций – другими словами, обезличенной задачей, не зависящей от чувств и личных привязанностей. В итоге такая задача доказала свою адекватность воззрениям Гитлера. Однако решение не могло быть спланировано и исполнено, пока будущие объекты бюрократических операций, евреи, не были убраны с горизонта немецкой повседневной жизни, отрезаны от сети меж-

личностных отношений, превращены на практике в типичные примеры некоей категории, некоего стереотипа – в абстрактное понятие *метафизического жиды*. То есть пока они не перестали быть «другими», на которых обычно распространяется моральная ответственность, и потеряли защиту, которую дает подобная естественная мораль.

Тщательно проанализировав серию провалов, которые испытали нацисты, когда стремились возбудить народную ненависть к евреям для «решения еврейской проблемы», Иэн Кершоу приходит к заключению, что

наибольшей удачи нацисты достигли в обезличивании евреев. Чем больше еврей изгонялся из общественной жизни, тем сильнее он, казалось бы, подходил под стереотипы антиеврейской пропаганды, которая, как это ни странно, становилась тем сильнее, чем меньше евреев оставалось в самой Германии. Обезличивание усиливало уже существующее повсеместное безразличие немецкого общественного мнения и сформировало роковую ступень между архаической жестокостью и рационализированным конвейерным истреблением в лагерях смерти. «Окончательное решение» не было бы возможным без тех последовательных шагов по исключению евреев из немецкого общества, которые были предприняты на глазах у всего общества, оформлены в виде законов, встреченных со всеобщим одобрением, и завершились обезличиванием и унижением фигуры еврея<sup>15</sup>.

Как мы уже отметили в третьей главе, те же немцы, которые протестовали против выходов хулиганов из штурмовых отрядов, когда их жертвой становился еврей-сосед (даже те из них, кто имел смелость продемонстрировать свое отвращение), приняли с безразличием и часто с удовлетворением правовые ограничения, наложенные на «еврея как такового». То, что пробуждало их совесть, когда они обращали свое внимание на людей, которых знали, едва ли вызывало какие-то чувства, когда было нацелено на абстрактную и стереотипную категорию. Они с равнодушием замечали или не замечали постепенное исчезновение евреев из мира их повседневной жизни. И так шло до тех пор, пока для молодых немецких солдат и эсэсовцев, которым была поручена задача ликвидации такого множества «фигурен»\*, еврей не стал «лишь “экспонатом”»,

---

\* От *Figuren* (нем.) – фигуры; прозвище, которое давали нацисты заключенным лагерей смерти.

предметом любопытства, ископаемым животным с желтой звездой на груди, свидетелем прошлых времен, но не принадлежащим настоящему, чем-то, что можно увидеть только в далеком путешествии»<sup>16</sup>. Мораль не отправляется в такие путешествия. Она пребывает дома, в настоящем времени. По словам Ганса Моммзена,

проводимая Гейдрихом политика социального и морального изолирования еврейского меньшинства проходила без какого-либо серьезного протеста со стороны общества, поскольку часть еврейского населения, состоявшая в тесном контакте с их немецкими соседями, либо не была включена в растущую дискриминацию, либо изолировалась постепенно. Только после того как совокупность дискриминирующего законодательства низвела евреев Германии до роли социальных париев, полностью лишенных какого-либо постоянного социального общения с большинством населения, могла начаться депортация и истребление, без каких-либо потрясений для социальной структуры режима<sup>17</sup>.

Вот что говорил Рауль Хильберг, выдающийся авторитет по истории холокоста, о шагах, способствовавших постепенному подавлению моральных запретов, и о приведении в действие механизма массового убийства:

В своем завершенном виде процесс уничтожения в современном обществе был структурирован, как указано на данной схеме:

### Определение

1. Увольнение служащих и экспроприация коммерческих компаний
  - I. Концентрация
  - II. Эксплуатация труда и голодомор
2. Уничтожение
  - I. Конфискация личных вещей

Последовательность шагов в процессе уничтожения определена. Если необходимо причинить наибольший вред определенной группе людей, бюрократия неизбежно – не важно, насколько децентрализован ее аппарат или насколько слабо спланирована ее деятельность, – будет обязана пропустить жертвы через указанные этапы<sup>18</sup>.

Эти этапы, как предполагает Хильберг, установлены логически; они образуют рациональную последовательность, соот-

ветствующую современным стандартам, побуждающим нас находить кратчайшие пути и самые эффективные средства ради достижения цели. Если мы теперь попытаемся открыть ведущий принцип в этом рациональном решении проблемы массового убийства, то обнаружим, что *последовательные этапы устроены в соответствии с логикой изгнания из области моральной ответственности* (или, используя понятие, предложенное Хелен Фейн<sup>19</sup>, *из мира обязательств*).

Определение обособляет виктимизированную группу (все определения означают разбивание целого на две части – маркированную и немаркированную) как *отличную* категорию, и что бы ни применялось к ней, *не* относится ко всем остальным. Посредством самого определения группа становится объектом *особого* обращения; то, что верно в отношении «обычных» людей, вовсе не обязательно верно в отношении такой группы. Индивиды – члены группы становятся теперь вдобавок экземплярами определенного вида; что-то из природы этого вида неизбежно просачивается в их индивидуальные портреты, компрометирует изначально невинную близость, ограничивает их независимость в качестве автономного морального универсума.

Увольнения и экспроприации разорвали большую часть всех соглашений, заменяя физической и духовной дистанцией прошлую близость. Виктимизированная группа теперь была эффективно устранена из поля зрения; это категория, о которой в лучшем случае можно услышать, а то, что слышно, невозможно перевести в знание об индивидуальных судьбах и, таким образом, проверить на личном опыте. Концентрация завершает этот процесс дистанцирования. Виктимизированная группа и остальные больше не встречаются, их жизненные процессы не пересекаются, общение сходит на нет; что бы ни случилось с одними, не касается других, не имеет значения, легко переводимого на язык человеческого общения.

Эксплуатация и голодомор представляют последующий, по истине изумительный трюк: они выдают бесчеловечность за человечность. Есть достаточно свидетельств того, что местные нацистские лидеры просили вышестоящее начальство разрешения убивать некоторых евреев, находившихся в их ведении (задолго до того, как был дан приказ начать массовые убийства), чтобы избавить их от агонии голодания; поскольку запасов пищи, достаточных для поддержания массы населения, собранного в гетто и предварительно обобранного, не было, убийство казалось актом милосердия – по сути, проявлением человечности. «Дьявольский круг фашистской стратегии» позволил «создать нарочно невыносимые условия и чрезвычайные положения и использовать их для оправдания еще более радикальных шагов»<sup>20</sup>.



Поэтому последний акт, уничтожение, отнюдь не являлся революционным. Он был, так сказать, логическим (хотя и непредвиденным в начале) итогом множества уже предпринятых шагов. Ни один из шагов не был неизбежным в сложившемся положении, но каждый создавал условия для рационального выбора следующего этапа на пути к уничтожению. *Чем дальше от изначального акта «Определения» двигалась цепь последовательных действий, тем сильнее она руководствовалась чисто рационально-техническими соображениями и тем меньше принимала в расчет нравственные запреты.* На самом деле она совершенно устранила необходимость морального выбора.

Переходы между этапами имели одну общую поразительную особенность. Все они увеличивали физическую и ментальную дистанцию между предполагаемыми жертвами и остальным населением – как преступниками, так и свидетелями геноцида. В этом качестве заключалась свойственная им рациональность, с точки зрения конечного пункта назначения, и их эффективность, с точки зрения выполнения задачи уничтожения. Очевидно, моральные запреты не действуют на расстоянии. Они неразрывно связаны с человеческой близостью. Совершение аморальных действий, напротив, становится легче с каждым дюймом социальной дистанции. Если Моммзен прав, выделяя в качестве «антропологического измерения» опыта холокоста «характеризующую нынешнее индустриальное общество опасность привыкания к моральному равнодушию по отношению к действиям, непосредственно не связанным с чьей-то сферой опыта»<sup>21</sup> – тогда опасность, о которой он предупреждает, должна усматриваться в способности этого нынешнего индустриального общества расширять межчеловеческую дистанцию до такой степени, при которой моральная ответственность и моральные запреты становятся невнятными.

## Социальное производство дистанции

Будучи неразрывно связанным с человеческой близостью, моральное поведение можно рассматривать в соответствии с законами оптической перспективы. Вблизи оно выглядит весьма внушительным. По мере увеличения дистанции ответственность за других съезживается, нравственное очертание объекта затуманивается, пока оба они не достигают точки схода и не исчезают из виду.

Это качество морального побуждения, кажется, не зависит от общественного строя, который обеспечивает форму взаимодействия. От этого строя зависит прагматическая эффективность нравственных предрасположенностей; их способность контролировать человеческие действия, ограничивать вред, наносимый другому, определять параметры, в которых должно проходить общение. Значение – и опасность – морального равнодушия становится особенно критическим в нашем современном, рационализированном, индустриальном, технологически продвинутом обществе, поскольку в подобном обществе человеческое действие может быть эффективным на расстоянии, и на расстоянии, постоянно возрастающем, благодаря прогрессу в науке, технологии и бюрократии. В подобном обществе *последствия человеческого действия простираются гораздо дальше «точки схода» моральной видимости*. Визуально ощутимая способность к моральному поступку, ограниченная принципом близости, остается постоянной, в то время как дистанция, на которой человеческое действие может быть эффективным и последовательным, а также число людей, которые могут быть затронуты таким действием, быстро растет. Сфера взаимодействия, испытывающая на себе влияние нравственных побуждений, сильно отстает по сравнению с увеличивающимся объемом действий, свободных от их вмешательства.

Печально известный успех современной цивилизации, заменившей на рациональные все другие критерии действия, в том числе так называемые иррациональные (среди них моральная оценка занимает видное место), был в значительной мере обусловлен прогрессом в «дистанционном управлении», увеличивающем расстояние, на котором человеческое действие может приносить результаты. Именно отдаленные, едва видимые цели действия свободны от моральной оценки; так же выбор действия, достигающего этих целей, свободен от ограничений, налагаемых нравственным побуждением.

Как наглядно продемонстрировали эксперименты Милгрэма, подавление нравственного побуждения и снятие моральных запретов достигаются скорее тогда, когда подлинные (хотя часто неизвестные актору) цели действия превращаются в «отдаленные и едва различимые», а не тогда, когда ведется открытая аморальная кампания или идеологическая обработка, нацеленная на подмену старой системой морали альтернативным набором правил. Самым очевидным примером техники, удаляющей жертвы с поля видимости и, следовательно, делающей их недоступными для моральной оценки, является современное оружие. Прогресс последнего заключался в основном в постепенном и неуклонном устранении возможности боя на корот-

кой дистанции, совершения акта убийства в обычном, соразмерном человеку значении. Когда появляется оружие, которое скорее разделяет и отдаляет друг от друга воюющие армии, чем сводит их вместе в прямом столкновении, от операторов, обслуживающих это оружие, уже не требуют подавлять свои нравственные побуждения или решительно отбрасывать «старомодную мораль». Использование оружия, кажется, имеет лишь абстрактно-интеллектуальное отношение к нравственному здоровью его пользователей. По словам Филиппа Капуто\*, военная этика «представляется вопросом дистанции и технологии. Вы никогда не ошибетесь, если убиваете людей на большом расстоянии с помощью изощренного оружия»<sup>22</sup>. И пока не видны практические результаты твоих действий, пока невозможно однозначно связать то, что ты увидел, с таким невинным и пустяковым жестом, как нажатие кнопки или переключение стрелки прибора, вряд ли возникнет конфликт на почве нравственности, а если возникнет, то скорее всего в приглушенной форме. Можно вспомнить об изобретении артиллерии, способной поражать цель, невидимую для тех, кто управляет орудиями, как о символическом отправном пункте современных методов ведения войны, отменивших значимость моральных факторов: такая артиллерия позволяет уничтожить цель, даже если орудия наведены в совершенно другом направлении.

Успех современного вооружения может быть метафорой гораздо более разнообразного и разветвленного процесса социального производства дистанции. Джон Лэкс представил унифицированные характеристики многочисленных проявлений этого процесса в своей теории *опосредованного действия и человека-посредника* – того, кто «стоит между мной и действием, не давая мне пережить его в прямом опыте».

Дистанция, которую мы ощущаем по отношению к нашим действиям, пропорциональна нашему незнанию о них; наше незнание, в свою очередь, в основном является мерой длины цепи посредников между нами и нашими действиями... И раз понимание контекста выпадает, действия становятся движением без последствий. Не учитывая последствия, люди могут становиться участниками самых отвратительных действий, так никогда и не поднимая вопроса о своей роли и ответственности...

---

\* Филипп Капуто (род. 1941) – американский журналист, писатель. Стал широко известным после публикации «Слухов о войне», книги, посвященной опыту, полученному во время войны во Вьетнаме.

[Чрезвычайно трудно] понять, как наши собственные действия, в силу своих отдаленных последствий, становятся причиной несчастья. И здесь невозможно отвертеться и считать себя невиновным, обвинив или сославшись на общество. Это естественный итог крупномасштабного посредничества, неизбежно ведущего к чудовищному невежеству<sup>23</sup>.

Как только действие опосредовано, его окончательные последствия оказываются вне той относительно узкой области взаимодействия, внутри которой нравственные побуждения сохраняют свою регулирующую силу. И наоборот, действия, совершаемые в рамках этой морально значимой области, для большинства участников или их свидетелей достаточно безобидны, чтобы подпадать под моральную цензуру. Даже самое небольшое разделение труда, равно как и сама цепь действий между первым шагом и его ощутимыми последствиями, избавляет большинство сотрудников коллективного предприятия от моральной осмотрительности и бдительности. Их действия все еще подлежат анализу и оценке – но по техническим, а не моральным критериям. «Проблемы» призывают к лучшему, более рациональному планированию, а не самокопанию. Актеры увлечены рациональной задачей поиска лучших средств для достижения заданной – и неполной – цели, а не нравственной задачей оценки основной цели (о которой они имеют лишь смутное представление или за которую они не чувствуют себя ответственными).

В своем подробном описании изобретения и применения печально известного газового фургона – первоначального нацистского решения технической задачи быстрого, чистого и дешевого массового убийства, Кристофер Р. Браунинг\* предлагает следующее объяснение психологического мира вовлеченных в него людей:

Специалисты, чья квалификация обычно не имела ничего общего с массовым убийством, внезапно оказались мелкой сошкой в механизме уничтожения. Их квалификация и навыки, связанные с оснащением, обслуживанием и ремонтом автомобилей, были внезапно поставлены на службу массового убийства, когда им поступил заказ на производство газовых фургонов... При этом их беспокоила, прежде всего, критика

---

\* Браунинг К. Р. (род. 1944) – американский историк холокоста.

и жалобы на дефекты их продукции. Недостатки газовых фургонов бросали тень на их квалификацию, и именно это надо было исправить. Они шли в ногу со временем и были в курсе всех проблем в данной области, и они проявили изобретательность, добившись нужных технических усовершенствований, чтобы их продукция была еще эффективней и удовлетворяла работающих с ней людей... Их главной заботой было сделать все, чтобы их не сочли неадекватными поставленной задаче<sup>24</sup>.

В условиях бюрократического разделения труда «другой», находящийся внутри близкого круга, в котором правит моральная ответственность, является коллегой. Выполнение его задачи зависит от собственного усердия, от непосредственного начальника, чья профессиональная репутация, в свою очередь, зависит от сотрудничества со своими подчиненными, а также от человека ниже по иерархии, который надеется на то, что его задачи будут четко сформулированы и осуществимы. Имея дело с подобными другими, моральная ответственность, обычно порождаемая близостью, принимает форму лояльности организации – абстрактного выражения сети тесных межличностных взаимоотношений. Под видом лояльности организации нравственные побуждения акторов могут быть использованы в низких целях, без подрыва этики взаимоотношений в пределах близкого круга, который охватывают нравственные побуждения. Акторы могут продолжать искренне верить в свою честность; и действительно, их поведение абсолютно соответствует моральным стандартам определенной области, в которой продолжали действовать и другие стандарты. Браунинг исследовал личные дела четырех служащих, управляющих печально знаменитого еврейского отдела (D III) при германском министерстве иностранных дел. Двое из них были удовлетворены своей работой, в то время как двое других предпочли перейти на другую работу.

В итоге обоим удалось уйти из D III, но за время своего пребывания в нем они тщательно выполняли свои обязанности. Они открыто не выражали своего недовольства работой, но работали скрыто и тихо над своим переходом; их высшим приоритетом было достижение чистого досье. Усердно или неохотно, но факт остается фактом, что работали они эффективно... Они следили за тем, чтобы весь механизм работал исправно, причем самый амбициозный и беспринципный из них еще и постарался, чтобы работа шла еще активнее<sup>25</sup>.

Разделение задач и вытекающее отстранение мини-сообществ с внутренне присущей им моралью от конечных последствий деятельности порождает дистанцию между злоумышленниками и жертвами насилия, которая снижает или устраняет давление моральных запретов. Однако необходимое физическое и функциональное отстранение не может быть достигнуто по всей бюрократической цепи инстанций. Некоторые из злоумышленников должны сталкиваться с жертвами лицом к лицу или, по крайней мере, должны находиться рядом с ними, что не дает возможности избежать зрелища последствий своих действий. Чтобы обеспечить правильную *психологическую* дистанцию даже в отсутствие *физической* или *функциональной*, необходим другой метод. Подобный метод обеспечивается специфически современной формой власти – экспертизой.

Сущность экспертизы состоит в предположении, что для того, чтобы делать вещи правильно, требуется обладать некоторым знанием, и что подобное знание распределено неравномерно, так что некоторые люди обладают большим знанием, чем другие, и те, кто им обладает, должны руководить деятельностью и что руководство налагает на них ответственность за то, как выполняется работа. По сути, дело выглядит так, что ответственность вменяется не экспертам, а практическим навыкам, которые они репрезентируют. Институт экспертизы и связанное с ним отношение к социальному действию вплотную приближаются к известному идеалу Сен-Симона (с энтузиазмом поддержанному Марксом) – «управлять вещами, а не людьми»; акторы служат как простые агенты знания, как носители ноу-хау, и их личная ответственность заключается в том, чтобы должным образом репрезентировать знание, то есть выполнять работу в соответствии с последним словом техники, обладать лучшим знанием. Для тех, кто не владеет ноу-хау, действовать ответственно значит следовать совету экспертов. В процессе деятельности личная ответственность растворяется в абстрактном авторитете технического ноу-хау.

Браунинг подробно цитирует служебную записку, подготовленную техническим экспертом Вилли Юстом в целях технического усовершенствования газовых фургонов. Юст предложил компании, занимающейся их сборкой, уменьшить грузовое пространство: имеющиеся фургоны не могли обслуживать трудный русский участок при полной нагрузке, так как требовалось слишком много угарного газа для заполнения остающегося свободного пространства, и вся операция занимала слишком много времени, неся значительные потери в потенциальной эффективности:

Более короткий, полностью загруженный грузовик смог бы работать гораздо быстрее. Сокращение заднего отделения не скажется невыгодно на весовом балансе, перегружая переднюю ось, поскольку «фактически коррекция весового распределения происходит автоматически, благодаря тому, что во время операции груз, устремляющийся к задней двери, всегда образует там перевес». Поскольку соединительный патрубок быстро ржавел из-за «текучих сред», газ должен подаваться сверху, а не снизу. Для облегчения чистки в полу следует сделать отверстия от восьми до двенадцати дюймов, с крышкой, открывающейся снаружи. Пол должен иметь небольшой наклон, а крышка снабжена небольшим сетчатым фильтром. Таким образом все «текучие среды» стекали бы к середине, «жидкие среды» выходили бы во время операции, а «более жесткие среды» смывались бы после<sup>26</sup>.

Все кавычки принадлежат самому Браунингу. Юст не стремился сознательно использовать метафоры или эвфемизмы – его язык был языком технологии, простым и доступным. Как специалист по конструированию грузовиков он действительно старался справиться с движением груза, не с задыхающимися людьми, с жесткими и жидкими текучими средами, а не с человеческими экскрементами и рвотной массой. Тот факт, что груз состоял из людей, едущих навстречу смерти, теряющих контроль над своим телом, не отвлекал его от технической стороны проблемы. Этот факт в любом случае должен был быть, во-первых, переведен на нейтральный язык автомобилестроительной технологии, перед тем как стать «проблемой», которую необходимо «решить». Неизвестно, осуществлялась ли попытка обратного перевода теми, кто читал памятку Юста и принялся выполнять содержащиеся в ней технические инструкции.

Для «подопытных кроликов» Милгрэма «проблема» состояла в проведении эксперимента под управлением научных экспертов. Эксперты Милгрэма следили за тем, чтобы руководимые ими акторы, в отличие от рабочих завода «Содомка», для которых и была написана памятка Юста, не питали сомнений относительно страданий, причиняемых их действиями, чтобы у них не было шансов для оправдания вроде «я об этом не знал». В конечном итоге эксперимент Милгрэма доказал силу экспертизы и ее способность побеждать нравственные побуждения. Нравственных людей можно заставлять совершать безнравственные действия, даже если они знают (или верят), что эти действия безнравственны – при условии, что они убеждены, что экс-

перты (люди, которые по определению знают что-то, чего они сами не знают) сочли их действия необходимыми. В конце концов, большинство действий в нашем обществе признаются законными не благодаря обсуждению их целей, но благодаря советам или инструкциям, полученным от знающих людей.

## Итоговые замечания

Следует признать, что эта глава еще очень далека от разработки альтернативной социологической теории морального поведения. Ее цель гораздо скромнее: рассмотреть иные источники нравственного побуждения, кроме социальных, и некоторые социетально воспроизведенные условия, при которых становится возможным аморальное поведение. Представляется, что даже такое ограниченное исследование доказывает, что ортодоксальная социология морали нуждается в существенной переработке. Одно из ортодоксальных предположений, доказавших свою несостоятельность в ходе проверки, состоит в том, что моральное поведение порождается обществом и поддерживается деятельностью социетальных институтов, что общество, по существу, есть гуманизирующий, морализующий механизм и что, соответственно, рост аморального поведения, пусть даже самый незначительный, объясняется исключительно сбоем в работе «нормальных» социальных механизмов. Из подобного предположения следует вывод, что аморальность не может производиться социетально и что подлинные ее причины следует искать в другом.

Данная глава акцентирует наше внимание на том, что сильные нравственные побуждения имеют досоциальное происхождение, тогда как некоторые аспекты современной социетальной организации являются причиной значительного ослабления их сдерживающей силы; и что в действительности общество может делать аморальное поведение более или менее благовидным (причем скорее «более», чем «менее»). Западный миф о мире без современной бюрократии и экспертизы, где правит «закон джунглей» или закон кулака, отчасти свидетельствует о потребности самооправдания, которая есть у современной бюрократии<sup>27</sup>, намеревающейся уничтожить конкуренцию норм, вытекающих из побуждений и склонностей, которые она была не в силах контролировать<sup>28</sup>, а также отчасти о том, до какой степени изначальная человеческая способность регулировать взаимоотношения на основе моральной ответственности ока-



залась утраченной и забытой. Что в таком случае предстает и понимается как дикость, которую необходимо усмирить и подавить, при ближайшем рассмотрении может оказаться все тем же нравственным порывом личности, который цивилизационный процесс стремится нейтрализовать, а затем заменить его контролирующим гнетом, исходящим из новой структуры господства. Как только нравственные силы, спонтанно порождаемые человеческой близостью, были лишены легитимности и парализованы, заменившие их новые силы обрели беспрецедентную свободу действий. Они способны в массовом порядке породить поведение, которое может быть определено как этически корректное лишь преступниками у власти.

Среди социальных достижений в сфере управления нравственностью следует назвать следующие: социальное производство дистанции, которая либо аннулирует, либо ослабляет давление моральной ответственности; замена моральной ответственности на техническую, эффективно скрывающую моральную значимость действия; и технология сегрегации и отдаления, вызывающая равнодушие к положению Другого, которое в ином случае стало бы предметом моральной оценки и морально мотивированной реакции. Следует также принять во внимание, что все эти разъедающие мораль механизмы в дальнейшем только усиливаются благодаря принципу суверенитета государственной власти, узурпирующей высший этический авторитет от имени обществ, которыми они управляют. За исключением расплывчатой и часто неэффективной «реакции мировой общественности», правители государств в целом совершенно не ограничены в манипулировании нормами, обязательными на территории их суверенного правления. Нет недостатка в доказательствах того, что чем более неразборчивы они в своих действиях, тем громче звучит призыв к их «умиротворению», который усиливает их монополию и диктат в области морального суждения.

Из этого следует, что и при современном режиме древний софоклов конфликт между законом морали и законом общества отнюдь не ослабел. Возможно даже, что он становится глубже и напоминает о себе чаще – и перевес на стороне подавляющего нравственность социетального гнета. Во множестве случаев моральное поведение означает принятие позиции, которая объявляется действующими властями и общественным мнением как антисоциальная или подрывная (будучи высказанной либо просто проявленной в мажоритарном действии или бездействии). Поощрение морального поведения в подобных случаях означает сопротивление социетальной власти и действие, нацеленное на ослабление ее контроля. Моральный

### 3. Бауман | АКТУАЛЬНОСТЬ ХОЛОКОСТА

долг должен опираться на свой изначальный источник: присущую человеку ответственность за Другого.

Слова Рауля Хильберга напоминают нам о том, что эти проблемы крайне насущны:

Вспомните, что основной вопрос состоял в том, могла ли западная нация, цивилизованная нация, оказаться способной на такое? И затем, вскоре после 1945 года мы обнаруживаем, что вопрос полностью изменился, и теперь мы спрашиваем: «Есть ли какая-нибудь западная нация, на это не способная?..» В 1941 году никто не предвидел холокост, и именно это является причиной наших последующих тревог. Мы больше не смеем исключать возможность невообразимого<sup>29</sup>.

# ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

## Запоздалые мысли: рациональность и стыд

Это история из Собибора: четырнадцать заключенных совершили побег. Спустя несколько часов все они были пойманы и приведены на главную площадь лагеря к остальным заключенным. Им сказали: сейчас вы, конечно, умрете. Но перед этим каждый из вас выберет себе компаньона по смерти». Они сказали: «Никогда!». «Если вы откажетесь, – спокойно сказал комендант, – я сам их отберу. Только я отберу уже пятьдесят, а не четырнадцать». Ему не пришлось приводить в исполнение свою угрозу.

В «Шоа» Ланцмана\* выживший после успешного побега из Треблинки заключенный вспоминает, что, когда приток газа в газовые камеры замедлился, членам зондеркоманды урезали рацион и, поскольку они стали бесполезными, им угрожали смертью. Их перспективы улучшились, когда были собраны новые партии евреев и загружены в поезда до Треблинки.

В том же фильме Ланцмана бывший член зондеркоманды, теперь тель-авивский парикмахер, вспоминает, как, сбривая волосы жертв для немецких матрасов, он хранил молчание о цели процедуры и потом подгонял своих клиентов к тому помещению, которое они считали общественной баней.

В рамках дискуссии по поводу глубокой и волнующей статьи профессора Яна Блориского «Бедные поляки смотрят на

---

*\* Клод Ланцман (р. 1925) – французский журналист и кино-документалист. Автор девятичасового фильма «Шоа» (1985), в котором выжившие узники концлагерей и бывшие надзиратели делятся своими воспоминаниями. Фильм стал общественным событием мировой важности.*

гетто», развернувшейся в 1987 году на страницах уважаемого польского католического еженедельника *Tygodnik Powszechny*, Ежи Ястржембовский вспоминал историю, рассказанную старшим членом его семьи. Семья предложила укрыть у себя одного старого друга, еврея, по внешности походившего на поляка и говорившего на изысканном польском, но отказалась спрятать также и трех его сестер, еврейской внешности и говоривших с заметным еврейским акцентом. Друг отказался спастись в одиночку. Ястржембовский комментирует:

Если бы решение моей семьи было иным, девять шансов к одному, что нас всех бы расстреляли. [В оккупированной нацистами Польше наказанием за укрывательство или помощь евреям была смерть.] Вероятность, что наш друг и его сестры выживут в тех условиях, возможно, была еще меньше. И все же человек, поведавший мне об этой семейной драме и повторявший: «Ну что мы могли сделать... мы ничего не могли поделать!», не смотрел мне в глаза. Он понимал, что я чувствовал ложь, хотя все факты были достоверны».

Другой участник дискуссии, Казимир Дзевановский, писал:

Если в нашей стране, в нашем присутствии, на наших глазах, несколько миллионов невинных людей были убиты, это было настолько ужасающим событием, трагедией настолько безмерной, что люди – что вполне естественно – не могут забыть ее и не находят покоя... Невозможно доказать, что можно было сделать больше, однако так же невозможно доказать, что больше ничего нельзя было сделать.

Владислав Бартошевски, бывший во время оккупации ответственным за поддержку поляками евреев, прокомментировал таким образом: «Только тот может сказать, что сделал все, что мог, кто заплатил собственной жизнью».

Безусловно, самым шокирующим среди посланий Ланцмана является *рациональность зла* (или, быть может, это было зло рациональности?). Час за часом непрерывные страдания, доставляемые просмотром «Шоа», открывают ужасную, унижительную правду во всей ее непристойной наготе: как мало нужно было вооруженных людей, чтобы убить миллионы.

Удивительно, насколько была напугана эта горстка вооруженных; насколько они осознавали хрупкость их власти над человеческим скотом. Их власть покоилась на обреченных, живущих в выдуманном мире, мире, который они, люди с винтовками, создали и расписали для своих жертв. В этом мире покор-

ность была рациональной; рациональность была покорностью. Рациональность себя оправдывала – по крайней мере на некоторое время, – но в этом мире не было другого, более долгого времени. Каждый шаг по дороге к смерти был тщательно продуман, подсчитан в убытках и прибылях, поощрениях и наказаниях. Свежий воздух и музыка были вознаграждением за долгое непрекращающееся удушье в вагонах для перевозки скота. Душевая, да еще с раздевалками и парикмахерами, полотенцем и мылом, были долгожданным освобождением от вшей, грязи и вони человеческого пота и экскрементов. Рациональные люди спокойно, смиренно и с радостью пойдут в газовую камеру, если только смогут поверить, что это душевая кабина.

Члены зондеркоманды знали: сказать купальщикам, что ванная комната – это на самом деле газовая камера, значит обречь себя на немедленную смерть. Преступление не казалось бы столь гнусным, а наказание столь жестоким, если бы на смерть жертв вел просто страх или самоубийственная покорность. Но для того чтобы основать свой режим только на страхе, СС потребовалось бы больше войск, оружия и денег. Рациональность была более эффективной, легче достижимой и менее затратной. Таким образом, для того чтобы уничтожить их, эсесовцы заботливо культивировали рациональность у своих жертв.

В своем недавнем интервью на Британском телевидении высокопоставленный чиновник из госбезопасности признался: настоящая опасность, исходящая от Африканского Национального Конгресса, по его словам, состоит не в актах саботажа и терроризма – какими впечатляющими они бы ни были и как бы дорого ни обходились, – а в том, что они вызывают у черного населения, или большей его части, неуважение к «правопорядку»; если это случится, даже самая лучшая разведка и самые мощные силы безопасности окажутся беспомощными (этот прогноз был подтвержден недавним опытом интифады). Террор остается эффективным, покуда воздушный шар рациональности не проколот. Самый злобещий, жестокий, кровожадный правитель должен оставаться непоколебимым проповедником и поборником рациональности – или погибнуть. Обращаясь к своим подданным, он должен «взывать к разуму». Он должен защищать разум, превозносить достоинство исчисления затрат и эффективности, защищать логику от страстей и ценностей, которые безрассудно не считаются с затратами и отказываются подчиняться логике.

В целом все правители могут рассчитывать, что рациональность на их стороне. Но нацистские правители, помимо этого, так спутали ставки в игре, что рациональность выживания сде-

лала все остальные мотивы человеческого действия иррациональными. В мире нацистов разум был врагом нравственности. Логика требовала согласия на преступление. Рациональная защита своей собственной жизни призывала к непротивлению уничтожения другого человека. Рациональность стравливала страдающих друг с другом, стирая их человеческие качества. Она также превратила их в угрозу и врага всех остальных, еще не отмеченных смертью, и позволила им на время оставаться посторонними. Благородное кредо рациональности милостиво избавило и жертв, и посторонних от обвинения в аморальности и нечистой совести. Сведя человеческую жизнь к подсчету шансов на самосохранение, эта рациональность отняла у человеческой жизни человечность.

Нацистское правление давно в прошлом, однако его ядовитое наследие еще живо. Наша многолетняя неспособность прийти к соглашению по поводу значения холокоста, наша неспособность разоблачить блеф кровавой мистификации, наша готовность и дальше продолжать играть в историю краплеными картами разума, ставшего таким, что протесты нравственности игнорируются как неуместные или безумные, наше согласие с авторитетом расчетов экономической эффективности как аргументов против этических заповедей – все это является красноречивым свидетельством развращения, которое обнажил холокост, но которого, как видно, недостаточно, чтобы его дискредитировать.

Два года моего раннего детства запомнились мне героическими, однако тщетными попытками моего деда познакомить меня с библейским наследием. Возможно, он не был вдохновенным учителем; возможно, я был бестолковым и неблагодарным учеником. На самом деле я почти ничего и не помню из его уроков. Одна история, тем не менее, глубоко врезалась в мою память и преследовала меня многие годы. Это был рассказ о святом мудреце, который, путешествуя на осле, груженном мешками с едой, встретил на дороге нищего. Нищий попросил еды. «Подожди, – сказал мудрец, – вначале я должен развязать мешки». Не успел он развязать их, как длительный голод взял свое, и нищий помер. Мудрец принялся молиться: «Накажи меня, о Боже, ведь я не смог спасти жизнь ближнего!». Шок от этой истории – практически все, что я помню из нескончаемого списка назиданий деда. Он противоречил всей интеллектуальной муштре, к которой меня принуждали с тех пор учителя. История поразила меня своей нелогичностью (что было правдой) и потому несправедливостью (что не было правдой). Потребовался холокост, чтобы убедить меня, что второе не обязательно следует из первого.

Даже если кто-то знает, что фактически не так уж много можно было сделать для спасения жертв холокоста (по крайней мере не без дополнительных и, вероятно, огромных страданий), это не означает, что угрызения совести должны исчезнуть. Это не означает и того, что чувство стыда нравственного человека безосновательно (даже если его иррациональность с точки зрения самосохранения может быть действительно легко доказана). К этому чувству стыда – необходимому условию победы над медленнодействующим ядом, пагубным наследием холокоста, – даже самые тщательные и исторически точные подсчеты числа тех, кто «мог» и тех, кто «не мог» помочь, а также тех, кому «можно было», и тех, кому «нельзя было» помочь, не имеют отношения.

Даже самые изошренные количественные методы исследования «реальных фактов» не сильно продвинут нас к объективному (то есть универсально обязательному) решению проблемы моральной ответственности. Просто не существует научного метода, чтобы убедиться в том, что соседи-неевреи просто не могли предотвратить транспортировку евреев в лагеря, потому что евреи были такими пассивными и покорными, или что евреям так редко удавалось спастись бегством просто потому, что им некуда было бежать – учитывая окружающую их враждебность или безразличие. Равно как не существует научных методов, чтобы решить, могли ли обеспеченные жители варшавского гетто сделать больше для облегчения страданий множества бедных, умирающих на улицах от голода и гипотермии, или могли ли немецкие евреи восстать против депортации *Ostjuden* (восточноевропейских евреев), или евреи с французским гражданством могли что-то сделать, чтобы предотвратить заключение в тюрьму «нефранцузских евреев». Еще хуже то, что *расчет объективных возможностей и исчисление затрат только затемняют нравственную суть проблемы.*

Проблема не в том, *должны ли* те, кто выжил – борцы, вынужденные время от времени становиться посторонними, посторонние, вынужденные время от времени бояться за то, что они станут жертвами, – чувствовать стыд, или *должны ли* они гордиться собой. Вопрос в том, что только *освобождающее чувство стыда* может помочь восстановить моральное значение ужасного исторического опыта и тем самым помочь заклясть призрака холокоста, который по сей день преследует совесть человека и заставляет нас забывать о бдительности в настоящем, чтобы жить в мире с прошлым. Мы не выбираем между стыдом и гордостью. Выбор – между гордостью за нравственно очищающий стыд и стыдом за нравственно опустошающую гордость. Я не уверен, как бы я отреагировал, если бы незнакомый чело-

век постучал в мою дверь и попросил меня пожертвовать собой и своей семьей ради его жизни. Я был избавлен от подобного опыта. Однако я уверен, что, откажи я ему в крове, я мог бы спокойно оправдать других и себя, поскольку, учитывая число жизней, спасенных и потерянных, прогнать незнакомца было абсолютно рациональным решением. Я также уверен, что чувствовал бы необоснованный, нелогичный и такой естественный для каждого человека стыд. И еще я уверен, что если бы не это чувство стыда, мое решение прогнать незнакомца продолжало бы разлагать меня до конца дней.

*Бесчеловечный мир, созданный убийственной тиранией, лишил человечности как жертв, так и тех, кто пассивно наблюдал за их мучениями, заставляя и тех и других использовать логику самосохранения для оправдания бесчувственности и бездействия.* Никто не может быть объявлен виновным просто потому, что сломился под таким давлением. Однако никто не может быть освобожден от нравственного самоосуждения за подобную капитуляцию. И только чувство стыда за свою слабость может в конце концов разрушить умственную тюрьму, пережившую ее строителей и охранников. Сегодняшняя задача состоит в том, чтобы разрушить эту способность тирании держать свои жертвы и свидетелей в заключении долго после того, как сама тюрьма была ликвидирована.

Год за годом холокост уменьшается до размера исторического эпизода, который, к тому же, быстро уходит в прошлое. Память о нем все меньше и меньше зовет к тому, чтобы наказать преступников или заплатить по открытым счетам. Избежавшие суда преступники сегодня уже старики, все более немощные; таковы, или вскоре таковыми будут и большинство из тех, кто пережил преступления первых. Даже если очередной убийца будет обнаружен, изгнан из своего укрытия и приведен к ответу перед запоздалым правосудием, будет все труднее сопоставить чудовищность его преступления со святым достоинством суда (о чем свидетельствует вызывающий неловкость опыт судебных разбирательств преступлений Демьянюка и Барбье). Кроме того, все меньше и меньше людей, которые во времена газовых камер были уже достаточно взрослыми, чтобы решить, открыть или закрыть дверь перед незнакомцами, ищущими убежища. Если плата за преступления и оплата по счетам исчерпали историческое значение холокоста, тогда можно было бы оставить этот ужасающий эпизод там, где ему самое место – в прошлом, – и предоставить заботы о нем профессиональным историкам. Однако правда в том, что оплата по счетам – лишь одна из причин запомнить холокост навсегда. И самая незначительная из них – никогда это еще не было столь очевидным, как



теперь, когда эта причина быстро теряет все, что оставалось от ее *практической* значимости.

Сегодня больше чем когда-либо холокост не является частной собственностью (если он и был когда-то таковой) – ни его исполнителей, несущих наказание, ни его непосредственных жертв, добывающихся особой симпатии, поддержки или привилегий в счет прошлых страданий, ни его свидетелей, ищущих искупления или сертификатов невиновности. *Нынешнее значение холокоста заключено в уроке, который он содержит для всего человечества.*

Урок холокоста в том, с какой легкостью большинство людей, попавших в ситуацию, не оставляющую возможности для правильного выбора или делающую подобный выбор крайне дорогостоящим, уговаривают себя отвернуться от проблемы нравственного долга (или не могут уговорить себя ему следовать), принимая вместо этого принципы рационального интереса и самосохранения. *В системе, где рациональность и этика указывают на противоположные направления, главным проигравшим является человечность.* Зло может делать свою грязную работу, надеясь, что большинство людей большую часть времени будут воздерживаться от выполнения безрассудных и опрометчивых действий. Зло не нуждается ни в адептах-энтузиастах, ни в рукоплещущей аудитории – достаточно инстинкта самосохранения, подкрепленного утешительной мыслью, что мой черед, слава Богу, еще не пришел: спрятавшись, я еще могу спастись.

И есть еще один, не менее важный урок холокоста. Если первый урок содержал предупреждение, второй предлагает надежду; именно из-за второго урока стоит повторять первый.

Второй урок говорит нам, что возвышение самосохранения над моральным долгом отнюдь не предрешено, не неминуемо и не неизбежно. Можно принуждать к такому выбору, но нельзя заставить его сделать, и поэтому нельзя переложить ответственность за содеянное на тех, кто оказал давление. *Неважно, сколько людей предпочли моральный долг рациональности самосохранения – важно то, что некоторые сделали это.* Зло не всемогуще. Ему можно сопротивляться. Свидетельство тех немногих, кто действительно воспротивился, разбивает власть логики самосохранения. Оно показывает, в чем, в конце концов, дело – *в выборе.* Интересно, сколько же людей должно возмутиться подобной логикой, чтобы сделать зло беспомощным? Существует ли волшебный порог сопротивления, за которым технология зла останавливается?

# ПРИЛОЖЕНИЕ

## **Социальное манипулирование нравственностью: морализирующие акторы, адиофоризирующие действия\***

Я полагаю, что бóльшая честь награждения европейской премией Амальфи была оказана самой книге «Актуальность холокоста», а не ее автору, и от имени этой книги, от имени и во имя той идеи, которая отразилась в моем произведении, я с благодарностью и радостью принимаю профессиональную награду. Моя радость по поводу того, что книга заслужила особое отличие, объясняется рядом причин.

Первое: эта книга выросла из опыта, который перекрывает собой разобщение, еще так недавно бывшее глубоким и непреодолимым – между тем, что мы привыкли называть «Востоком» и «Западом» Европы. Идеи, которые вошли в книгу, созревали вначале в моем родном Варшавском университете, а затем развивались в обществе моих британских коллег, в стране, которая в годы изгнания предоставила мне новый дом. Эти идеи не признавали никакого разрыва (между Восточной и Западной Европой), но только наш общий европейский опыт, равным образом разделяемый нами опыт истории, единство которой, возможно, не было проявлено до конца и даже временно казалось подавленным, но не было сломлено окончательно. Именно к этой общеевропейской судьбе, неразрывности нашего европейского опыта и обращена книга.

Вторая причина: эта книга так никогда и не появилась бы на свет, если бы не Янина, которая была моим другом и партнером на протяжении всей моей жизни. «Зима утром» – ее книга

---

*\* Текст речи автора на церемонии вручения премии Амальфи по социологии и социальной теории за книгу «Актуальность холокоста» в 1989 году.*

воспоминаний о годах людского позора – открыла мне глаза на то, что мы обыкновенно отказываемся видеть. Написание «Современности и холокоста» стало для меня и интеллектуальным побуждением, и моральным долгом после того, как я прочел рассказ Янины о той горькой мудрости, которую она обрела во внутреннем круге этого созданного людьми ада: «Самое беспощадное в жестокости – это то, что жертв лишают человеческого облика еще до того, как их уничтожат физически. Самая тяжкая битва – это борьба за то, чтобы в бесчеловечных условиях сохранить в себе человека». Эту горькую мудрость Янины я и пытался включить в послание, которое несет моя книга.

И, наконец, третья причина. Посыл, который заключен в моем сочинении – это высказывание в адрес нашего «дивного нового мира», добавлю: мира самоуверенного, изобильного, у которого на самом деле не такое уж привлекательное лицо. И этот «дивный новый мир»\* играет в опасные игры с моральными побуждениями человека – судя по всему, это совпадает и с другими идеями, затрагивающими более глубокие пласты. Видимо, именно поэтому и была этой книге присуждена столь престижная премия, как Амальфи. Об этом говорит и тот факт, что конференция в Амальфи была целиком посвящена теме «Нравственность и польза». Разрыв между нравственностью и пользой лежит и в основе наиболее впечатляющих достижений нашей цивилизации, и в основе ее наиболее вопиющих злодеяний, а сближение, объединение нравственности и пользы – единственная возможность, данная нашему миру для того, чтобы прийти в согласие со своею же устрашающей мощью. И эта моя лекция – не только резюме того послания, что содержится в книге. Это один из голосов в дискурсе, который, будем надеяться, останется нашим общим призыванием.

*Virtutem doctrina paret naturane donet\*\**. Эта дилемма стоит перед нашими современниками с той же остротой, что и перед древними римлянами. Можно ли обучить нравственности, или она присуща самой модальности человеческого существования? Возникает ли она в процессе социализации, или уже существует – до того, как начинается само обучение? Является мораль социальным продуктом? Или же, напротив, как настаивал Макс Шелер, сочувствие, сущность всякого морального

---

\* Скрытая отсылка к названию «Brave New World», романа, который написал в 1931 и опубликовал в 1932 году британский писатель Олдос Хаксли. Действие происходит в 2540 году.

\*\* «Доблесть науки ли плод, иль природное то дарованье» – Гораций, «Эпистолы» (I, VI, 99), пер. Н. Гинцбурга.

поведения, является предварительным условием всей общественной жизни?

Слишком часто от этого вопроса просто отмахиваются как от чисто академического. Порою он числится среди бесполезных и никчемных, порожденных ненасытным, но достаточно подозрительным метафизическим любопытством. В тех случаях, когда его задают социологи, предполагается, что на него уже давно и исчерпывающе ответили Гоббс и Дюркгейм, и потому в социологической практике он уже и не считается вопросом. По крайней мере для социологов общество является основой всего человеческого, а все человеческое воплощается благодаря социальному обучению. Вряд ли когда-либо нам представлялся случай открыто оспорить это. Потому что вопрос вроде бы решен еще до того, как началось его обсуждение, и это решение определило язык, который создал наш отчетливый социологический дискурс. Пользуясь языком социологии, мы можем говорить о нравственности лишь в терминах социализации, обучения и научения, системных предпосылок и социетальных функций. А как напоминал нам Виттгенштейн, мы не можем сказать ничего, кроме того, что может быть сказано. Форма жизни, описываемая языком социологии, не содержит социально не санкционированной нравственности. На этом языке ни о чем, что не является социально санкционированным, нельзя говорить как о нравственном. А то, что не может быть высказано, обречено на молчание.

Все дискурсы определяют свои темы, сохраняют свою целостность, защищая отличительные особенности своих определений, и воспроизводят себя посредством их повторения. Мы могли бы ограничиться этим банальным наблюдением и позволить социологии продолжать вести привычные речи и хранить привычное молчание, если бы цена такого молчания не была слишком высокой. А насколько она высока, было поступательно и неуклонно продемонстрировано Освенцимом, Хиросимой и ГУЛАГом. Или тем, что преступники-победители, сотворившие ГУЛАГ и Хиросиму, привлекли к суду преступников-побежденных, сотворивших Освенцим. Как сказала об этом Ханна Арендт в одном из своих глубоких и нелицеприятных пассажей:

Мы требовали на этих процессах, где подсудимыми были те, кто совершил преступления против закона, чтобы люди были способны отличить правильное от неправильного, даже когда все, чем они могут руководствоваться – их собственное суждение, которое, кроме того, может совершенно расходиться с тем, что они должны воспринимать как единодушное мнение всех тех, кто их окружает. И этот вопрос тем более серьезен, что те немногие, кто был достаточно «самонадеян» и

доверял лишь их собственному суждению, совершенно не походили на тех, кто продолжал следовать старым ценностям, или тех, кто руководствовался религиозной верой... Эти немногие, кто все еще был способен отличить правильное от неправильного посредством своих собственных суждений, делали это свободно; не было никаких правил, которым надо было следовать, руководствуясь которыми можно было классифицировать определенные случаи, с которыми они сталкивались.

И вот он, вопрос, который следовало бы задать: а что если бы те, кто ныне привлечен к суду, оказались победителями? Мучила ли бы их совесть? Самое ужасающее открытие состояло в том, что ответом должно стать ясное и четкое «нет», и, что еще ужаснее, нам недостает аргументов, чтобы доказать, почему все должно быть иначе... Исключив из жизни или из судебного разбирательства различия между добром и злом как не имеющие санкции со стороны общества, мы не можем всерьез требовать от индивидов, чтобы они брали на себя побольше моральной инициативы. Следовательно, мы не можем возлагать на них ответственность за их моральный выбор, который был *de facto* предопределен обществом. Да и не стоило бы нам этого желать (то есть требовать от индивидов, чтобы они принимали собственные нравственные решения под свою личную ответственность). Потому что подобная моральная ответственность подрывает всю законодательную власть общества, а общество вряд ли откажется от такой власти по собственной воле – разве только под давлением всесокрушающей военной мощи. В самом деле, судить преступников Освенцима для тех, кто хранил секреты ГУЛАГа, или для тех, кто втайне готовил Хиросиму, было задачей не из простых.

Возможно, именно из-за этой сложности, как заметил Гарри Реднер, «сегодня предпочитают жить и думать так, будто Освенцима и Хиросимы никогда не было, а если они все-таки были, то всего лишь как некие события, дальние и давние, которые не должны нас теперь волновать». Правовые проблемы, порожденные Нюрнбергским процессом, были решены там и тогда, их рассматривали как вопросы частные, присущие именно этому экстраординарному и патологическому случаю, им не позволили выплеснуться за тщательно определенные пределы, и после окончания процесса любые обсуждения их были торопливо свернуты – пока моральная ситуация не вышла из-под контроля. Наше самосознание не подвергалось фундаментальной ревизии, и в течение многих десятилетий – можно сказать, до сего дня – голос Арендт оставался голосом вопиющего в пустыне. Негодование, с которым в свое время был встречен ана-

лиз, проделанный Арендт, коренилось в стремлении сохранить герметичным наше самосознание. Принимались только те объяснения нацистских преступлений, которые вроде бы явно и недвусмысленно не имели никакого отношения ни к нам, ни к нашему миру, ни к нашей форме жизни. Такие объяснения служили двойной цели: заклеить побежденных и снять бремя моральной ответственности с победителей.

Тщетно спорить, была ли последовавшая отсюда маргинализация этих преступлений – совершенных с явного или молчаливого общественного одобрения людьми, которые «не были ни извращенцами, ни садистами», а «были и остаются пугающе нормальными» (Арендт) – намеренной или же нечаянной, произошедшей по чьему-то замыслу или сама по себе. Факт остается фактом: карантин, устроенный полвека назад, существует и по сей день, а ряды колючей проволоки за это время стали еще гуще. Освенцим ушел в историю как «еврейская» или «немецкая» проблема, как собственное дело евреев или немцев. Эта проблема, все более разрастаясь в размерах, оказалась в центре еврейских исследований, но в основном русле европейской историографии она съезжилась до ссылки или незначительного параграфа. Книжки по холокосту обзреваяются в разделах, посвященных «еврейской тематике». И такая практика в немалой степени порождена еще и тем, что еврейский истеблишмент яростно сопротивляется любым, даже самым незначительным, попыткам «экспроприировать» несправедливость, от которой пострадали одни только евреи. Еврейское государство жаждет оставаться единственным законным бенефициарием компенсаций за эти несправедливости, поэтому тщательно блюдет неприкосновенность и уникальность собственного страдания. Такой порочный подход, при котором данный опыт преподносится как «исключительно еврейский», не позволяет ему стать предметом публичного обсуждения именно как опыту общечеловеческому, как универсальной проблеме современного существования. И Освенцим рассматривается как нечто характерное исключительно в аспекте причудливых изгибов немецкой истории, внутренней немецкой культуры, грубых просчетов только немецкой философии или загадочной авторитарности немецкого национального характера, что приводит к тому же самому эффекту его ограниченности, маргинальности. В конце концов подобная стратегия привела к двойному эффекту: маргинальности преступления и изъятию холокоста из класса сопоставимых феноменов; вместо этого он стал интерпретироваться как извращение досовременных (варварских, иррациональных) сил, давно, казалось бы, подавленных в «нормальных» цивилизованных обществах, но недостаточно усмирённых или неэффективно контролируемых якобы слабой или несовершенной немец-

кой модернизацией. Такую стратегию можно было бы считать излюбленной формой самообороны: пусть и не напрямую, но она в очередной раз подтверждает этиологический миф о современной цивилизации как о триумфе разума над страстями и сопровождающую его веру в этот триумф как явно прогрессивный шаг в историческом развитии нравственности.

И общим эффектом от этих трех стратегий – выбранных сознательно или же бессознательно – стало общеизвестное недоумение историков, которые непрестанно жалуются на то, что как бы ни старались, они не в состоянии понять самого впечатляющего эпизода XX века, чью историю они с таким тщанием описывали и продолжают описывать во все более мелких деталях. Сол Фридлендер\* оплакивает «паралич историков», который, по его (разделяемому многими) мнению, «проистекает из одновременности и взаимодействия совершенно разнородных феноменов – мессианского фанатизма и бюрократических структур, патологических импульсов и административных решений, архаичных установок внутри развитого индустриального общества». Запутавшись в сетях странных повествований, которые мы сами плетем, мы не способны увидеть то, на что мы смотрим; единственное, что мы можем заметить, это лишь сбивающую с толку неоднородность картины, сосуществование того, чему наш язык не позволяет сосуществовать, сложность факторов, которые, как утверждают эти повествования, принадлежат различным эпохам или различным временам. Такая неоднородность – не открытие, а предположение. Именно это предположение и порождает недоумение там, где может и должно возникнуть понимание.

В 1940 году, во мраке сгустившейся ночи, Вальтер Беньямин набросал послание, которое, судя по продолжающемуся параличу историков и невозмутимому спокойствию социологов, все еще не услышано: «Изумление по поводу того, что вещи, которые мы переживаем, “еще” возможны в двадцатом веке, не является философским. Оно не служит началом познания, разве что познания того, что представление об истории, от которого оно происходит, никуда не годится»\*\*. Непригодным является наше понятие – европейской – истории как возвышения человечности над животным началом в человеке, как триумф рациональной организации над жестокостью жизни, грязной, грубой и короткой. Непригодно также и понятие современного общества как

---

\* Сол Фридлендер (р. 1932) – известный израильский историк холокоста.

\*\* Цит. по: Беньямин В. О понятии истории / Пер. С. Ромашко // НЛО. 2000. № 46. С. 81–90.

однозначно нравственной силы, а его институтов – как институтов цивилизации, единственно способных защитить хрупкий гуманизм от натиска животных страстей. Демонстрации этой непригодности и посвящена эта лекция – как и сама книга.

Но для начала позвольте мне повторить основную мысль: сложность доказать непригодность того, что по всем стандартам является здоровыми предпосылками социологического дискурса, проистекает отнюдь не из свойств языка социологического повествования – как и все языки, он определяет свой объект, когда описывает его. Моральная власть общества самодеказуема до степени тавтологии: любое поведение, не удовлетворяющее социетально санкционированным правилам, аморально по определению. Поведение, санкционированное обществом, остается добром до той поры, пока все остальные социетально осуждаемые действия определяются как зло. И простого выхода из этого порочного круга не существует, так как любое предположение о досоциальном происхождении нравственного побуждения было априорно осуждено как нарушающее правила лингвистической рациональности – единственной рациональности, допускаемой языком. Использование социологического языка способствует принятию той картины мира, которую порождает этот язык, и подразумевает молчаливое согласие управлять вытекающим из него дискурсом таким образом, чтобы все отсылки к реальности были отсылками к миру, порожденному этим языком. Созданная социологией картина мира повторяет достижения властей, имеющих социетально законодательную силу. И даже более того: она затыкает рот любым попыткам сформулировать альтернативное видение, поскольку смыслом существования этих властей и является подавление таких попыток. Таким образом, определяющая сила языка дополняет дифференцирующие, разделяющие, сегрегирующие и подавляющие силы, принадлежащие структуре социального господства. Она также извлекает свою легитимность и убедительность из этой структуры.

Онтологически структура означает относительную повторяемость, монотонность событий, поэтому эпистемологически она означает предсказуемость. Мы говорим о структуре всякий раз, когда сталкиваемся с пространством, внутри которого вероятности распределены не случайно: одни события происходят с большей вероятностью, чем другие. Именно в этом смысле среда обитания человека «структурирована»: остров упорядоченности в океане случайностей. Эта шаткая упорядоченность была достижением и главной определяющей чертой социальной организации. Любая социальная организация, *целенаправленная* или *тотализирующая* (то есть представляющая



собой область относительной гомогенности, созданную посредством подавления или уничтожения – выведения за скобки или недооценки – всех других, отличающихся и вызывающих разногласие особенностей), оценивает поведение своих членов согласно *инструментальным* или *процедурным* критериям. Но, что еще важнее, она лишает силы закона все остальные критерии, и прежде всего те, которые могут способствовать сопротивлению унифицирующему давлению и, следовательно, *автономные* по отношению к коллективной цели организации (которые, с точки зрения организации, являются непредсказуемыми и потенциально дестабилизирующими).

Среди образцов поведения, которые следует подавлять, особое место занимает гордость собственным положением, поддерживаемая нравственным побуждением, – источник подозрительно автономного (и, следовательно, с точки зрения организации, *непредсказуемого*) действия. Автономность нравственного поведения неизменна и нередуцируема. Она не поддается никакой кодификации, не служит никаким целям, кроме самой себя, и не вступает в отношения ни с какими внешними факторами – то есть в отношения, которые могли бы быть проконтролированы, стандартизированы и кодифицированы. Нравственное поведение, как сказал величайший философ морали XX столетия Эммануэль Левинас, вызывается простым присутствием Другого как *лица*, то есть как авторитета без власти. Другой требует, не прибегая к угрозам или не обещая вознаграждения, его требования не предполагают санкций. Другой не может ничего; именно его слабость открывает мою силу, мою способность действовать как ответственность. И нравственное действие – это все, что следует за этой ответственностью. В отличие от действия, вызванного страхом наказания или обещанием награды, оно не приносит успеха и не помогает выжить. Как действие, лишённое пользы, оно избегает возможности гетерономного законодательства или рационального доказательства, оно остается глухо к *conatus essendi*\*, поэтому ускользает от суждения с точки зрения «рационального интереса» и расчетливого самосохранения – этих двух мостков к миру «реального» (*to the world of "there is"*), к миру зависимости и гетерономии. Лицо Другого, утверждает Левинас, – это предел, наложенный на усилие к существованию. Таким образом он предлагает предельную свободу: свободу от источника всяческой гетерономии, от любой зависимости, от настойчивого присутствия в бытии самой природы. Нравственность – это

---

\* Здесь: усилие к существованию (лат.).

«миг великодушия». «Кто-то играет, не выигрывая... Что-то делается даром, из милосердия... Идея лица – это идея великодушной любви, поведения как акта великодушия». Именно из-за своего неумолимого великодушия нравственные действия нельзя совратить, подкупить, рутинизировать. С социетальной точки зрения, практический разум Канта оказывается безнадежно непрактическим... С точки же зрения организации, нравственно вдохновленное поведение совершенно бесполезно, если не сказать разрушительно: его невозможно приложить ни к какой пользе, и оно налагает пределы на веру в однообразие. А поскольку нравственность нельзя рационализировать, ее следует подавлять или превратить в нечто бесполезное.

Ответ организации на автономию нравственного поведения – гетерономия инструментальной и процедурной рациональности. Закон и интерес замещают собою великодушие и несанкционированность нравственного побуждения. Люди должны оправдывать свои действия разумным основанием, определяемым либо через цель, либо через правила поведения. Только действия, обдуманые и аргументированные подобным образом или годные на то, чтобы о них можно было рассказать подобным образом, допускаются в разряд подлинно социальных действий, то есть рациональных действий. Следуя той же схеме, действия, которые не соответствуют критериям цели или процедурным определениям, объявляются несоциальными, иррациональными – и *частными*. А способ, которым организация социализирует действия, включает в себя, как обязательное следствие, приватизацию нравственности.

Поэтому любая социальная организация старается нейтрализовать разрушительное и дестабилизирующее воздействие нравственного поведения. Эта цель достигается с помощью различного рода дополнительных мер: 1) увеличением дистанции между действием и его последствиями, исключаящем воздействие нравственного импульса; 2) исключением некоторых «других» из класса потенциальных объектов нравственного поведения или потенциальных «лиц»; 3) маскировкой других объектов действия под конструкции, обладающие функционально специфическими чертами, которые рассматриваются по отдельности, чтобы не возникало даже возможности заново воссоздать лицо, чтобы каждое отдельное действие, имеющее свою отдельную задачу, было свободно от нравственной оценки. С помощью таких мер организация отнюдь не стимулирует безнравственное поведение – она не поддерживает зла, как могли бы торопливо решить иные клеветники, но она не стимулирует и добро – напротив, она сама стимулирует себя. Она

просто превращает социальное действие в нечто *адиафорическое\** – ни в добро, ни во зло, а во что-то, что можно рассматривать с технической точки зрения (с точки зрения цели или процедуры), что не обладает нравственной ценностью. Говоря иначе, она считает нравственную ответственность за Другого неэффективной с точки зрения пределов, налагаемых на «усилие к существованию». (Трудно удержаться от искушения и не предположить, что социальные философы, которые на пороге современной эры первыми осознали социальную организацию как дело планирования и рационального улучшения, теоретически приписывали этой организации способность к бессмертию, которая превосходит и делает социально иррелевантной смертность отдельных мужчин и женщин.) Давайте же по отдельности рассмотрим те меры, которые одновременно конституируют социальную организацию и адиафоризируют социальное действие.

Начнем с вынесения результатов действия за границы нравственности – этого главного достижения на пути превращения действия в иерархию команд и исполнений: тот, кто находится посередине, на месте агента действия, и отделен как от его источника, который его спланировал, так и от конечного результата цепочкой посредников, редко когда имеет возможность увидеть одновременно момент выбора и последствия своих поступков; что еще более важно, он едва ли видит в том, на что смотрит, последствия своих деяний. Так как каждое действие является одновременно опосредованным и «чисто» промежуточным, само подозрение в причинной зависимости с успехом отмечается теоретизированиями на тему «непредвиденных последствий» или «непреднамеренных результатов» того, что само по себе является нравственно нейтральным актом – ошибкой разума, а не этическим падением. Поэтому социальная организация может быть описана как механизм, позволяющий нравственной ответственности плыть по течению: ее никто в отдельности не несет, поскольку вклад каждого в конечный результат настолько мизерный, чтобы ему всерьез можно было приписать причинную функцию. Расчленение ответственности и дисперсия того, что осталось, в структурном плане приводит к тому, что Ханна Арендт язвительно описала как «правление Никого»; в индивидуальном плане это превращает актора как субъекта морали в

---

\* З. Бауман отсылает к древнегреческому термину *адиафора*. В философии древних скептиков и стоиков он обозначал класс безразличных для достижения счастья действий или вещей, в учении христианской Церкви – то, что не имеет значения для спасения души.

нечто безмолвное и незащитное перед лицом двойной силы – поставленной задачи и процедурных правил.

Второй способ лучше всего назвать «стиранием лица». Он состоит в помещении объектов действия в положение, из которого они не могут предъявить актору моральных требований, то есть в устранении объектов действия из класса существ, которые могут предстать перед актором в качестве «лица». Диапазон средств, направленных на достижение такого эффекта, поистине огромен. Он простирается от простого лишения человека, объявленного врагом, всякой моральной защиты до выделения отдельных групп в качестве ресурсов для выполнения некоторого действия, чтобы их можно было оценивать исключительно с точки зрения технической, инструментальной ценности. Незнакомец исключается из рутинных человеческих контактов, где его лицо заметно и может просить как нравственное требование. Так или иначе, сдерживающее воздействие моральной ответственности за Другого либо откладывается, либо лишается всякой эффективности.

Третий способ – разрушение объекта действия в качестве самости. Объект разбирается на отдельные части, целостность морального субъекта сводится к набору частей или черт, которым невозможно приписать моральную субъективность. И действия тогда направляются на специфические единства, минуя или полностью избегая момента столкновения с нравственно значимыми последствиями (именно эта реальность социальной организации, как можно догадаться, была сформулирована в постулате философского редукционизма, порожденного логическим позитивизмом: если сущность  $P$  может быть сокращена до сущностей  $x$ ,  $y$  и  $z$ , то тогда  $X$  есть «не что иное» как собрание  $x$ ,  $y$  и  $z$ . Неудивительно, что нравственность стала одной из первых жертв логически-позитивистского редукционистского рвения). Воздействие такого суженного целенаправленного акта на целостный человеческий объект остается вне поля зрения и, таким образом, – вне нравственной оценки, поскольку отсутствовало намерение воздействовать на целостный объект.

Наш обзор адиафоризирующего влияния социальной организации до сего момента проходил в отрыве от исторического и территориального аспектов. Действительно, кажется, что адиафоризация человеческого действия является необходимой составляющей любой надындивидуальной социальной целостности, в данном случае любой социальной организации. Однако если бы дело было исключительно в этом, то наша попытка поставить под вопрос и доказать ложность ортодоксальной веры в социальное происхождение нравственности не предлагала ответа на

этические вопросы, которые и заставили обратиться к этому исследованию. Верно, что общество, представленное как адиафоризирующий механизм, предлагает куда лучшее объяснение повсеместной жестокости, присущей истории человечества, чем ортодоксальная теория социального происхождения нравственности. В частности, она объясняет, почему во время войн, или крестовых походов, или колонизации, или общественных взрывов обычные человеческие коллективы способны совершать действия, которые, будучи совершенными отдельным индивидом, были бы приписаны его психопатии. И все-таки это объяснение недостаточно для таких новых явлений нашей эпохи, как ГУЛАГ, Освенцим или Хиросима. Некоторые считают, что эти центральные явления нашего века – действительно нечто совершенно новое, они склонны (и не без оснований) полагать, что эти явления обозначают возникновение определенных новых, типично современных характеристик, которые отнюдь не являются универсальными чертами человеческого общества как такового и не были присущи обществам прошлого. Почему?

Во-первых, наиболее очевидное и банальное новшество – это размах деструктивных возможностей технологии, которая сегодня может быть поставлена на службу совершенно адиафоризованному действию. Эти новые, внушающие благоговейный ужас силы подкреплены в наши дни и основанной на научных достижениях эффективностью управленческих процессов. Очевидно, что технологии, появившиеся в нынешние времена, только подталкивают вперед тенденции, уже существующие во всех социально регулируемых, организованных действиях; эти технологии привнесли разве что количественные изменения. Однако наступил момент, когда количественные изменения предвещают новое качество, и этот момент возник именно в ту эпоху, которую мы называем современной. Справедливо, что область *techne*\*, область, где мы имеем дело с не-человеческим миром или с миром, который выглядит как не-человеческий, во все времена – благодаря соответствующей адиафоризации – считалась нравственно нейтральной. Но, как указывает Ганс Йонас\*\*, в обществах, не вооруженных современной технологией, «добро и зло, с которыми должно соотноситься действие, находятся в непосредственной близости от самого действия –

---

\* Древнегреческое слово, означающее искусство, мастерство, умение. Из него впоследствии произошло слово «техника».

\*\* Ганс Йонас (1903–1993) – немецкий и американский философ-экзистенциалист. Автор работы «Принцип ответственности: Опыт этики для технологической цивилизации» (1979).

либо в самой практике, либо в немедленном результате... Набор возможных действий был невелик». Как невелики были и возможные последствия, запланированные или нет. Сегодня, однако, «большие города, построенные людьми, став анклавом не-человеческого мира, простираются на всю живую природу и узурпируют ее место». И эффекты от действий распространяются вширь в пространстве и вглубь во времени. Они становятся, как говорит Йонас, кумулятивными, то есть они преодолевают все местные пространственные и временные границы и, как опасаются многие, могут в какой-то момент нарушить способность природы к самоисцелению, приведя к тому, что Рикёр называет аннигиляцией, а она, в отличие от обычного разрушения, которое при желании можно даже трактовать как очистительную операцию в творческом процессе перемен, не оставляет места для нового начала. Эта новая тенденция, возникшая благодаря вечной социальной технике адиафоризации, как мы должны заметить, умножила свой размах и эффективность до такой степени, при которой действия могут быть поставлены на службу нравственно отвратительным целям на большой территории и в продолжительный период времени. Их последствия могут быть доведены до того момента, когда они станут поистине необратимыми и неустраняемыми, не вызывая при этом нравственных сомнений или обыкновенной настороженности.

Во-вторых, вместе с новой, прежде неслыханной силой созданных человеком технологий явилась беспомощность самоограничений, которые люди налагали на себя в течение тысячелетий своего господства над природой или друг над другом – печально известное *разочарование миром*, или, как называл это Ницше, «*смерть Бога*». Бог прежде всего означал предел человеческих возможностей: ограничение, диктующее, что человеку *позволено* делать, в отличие от того, что он *может* и *смеет* делать. Предполагаемое всеисие Бога очерчивало границы того, что человеку дозволялось. Заповеди ограничивали свободу людей как индивидов, но они также устанавливали пределы того, что люди совместно, как общество, могли учреждать; они говорили о том, что человеческая способность устанавливать законы и манипулировать принципами, на которых зиждется мир, ограничена изначально. Современная наука, которая изгнала Бога и заняла его место, устранила эти препятствия. Но она также создала пустоту – должность верховного законодателя-управленца, создателя и администратора мирового процесса, стала устрашающе вакантной. Бог был свергнут со своего трона, но трон остался. И этот опустелый в современную эпоху трон начал манить к себе разного рода визионеров и авантюри-

стов. Мечта о всеобъемлющем порядке и гармонии оставалась такой же яркой, как и прежде, но теперь она казалась более близкой, чем прежде, и более достижимой. Теперь смертный мог ее сформулировать и обеспечить ее исполнение. Мир превратился в человеческий сад, и только бдительность садовника могла предотвратить его одичание. Теперь только человек отвечал за то, чтобы реки текли в правильном направлении и дикие заросли не наступали на поля, на которых произрастали земляные орехи. Теперь только от человека зависело, чтобы чужаки не замутили ясность установленного законом порядка, чтобы социальная гармония не была нарушена непокорными классами, чтобы единство народа не было расколото чуждыми расами. Бесклассовое общество, расово чистое общество, Великое Общество стало теперь задачей для человека – настоящей задачей, вопросом жизни или смерти, долгом. Простота мира и человеческого призвания, прежде гарантированная Богом и ныне потерянная, должна была быть быстро восстановлена, но на этот раз посредством исключительно человеческой проницательности и человеческой ответственности (или в этом и состоит безответственность?).

Растущая мощь средств в комбинации с ничем не ограниченной решимостью использовать их на службе искусственного, придуманного порядка и придавала человеческой жестокости ее характерные современные черты и сделала возможными – и даже неизбежными – ГУЛАГ, Освенцим и Хиросиму. Признаки, присущие этой особой комбинации, сейчас хорошо видны. Некоторые теоретики сочли эту комбинацию признаком взросления современной эпохи, а порою считали ее наступлением постмодернистской эры; но, так или иначе, аналитики соглашались с лаконичным вердиктом Питера Друкера\*: «общество более не дает спасения». У тех, кто управляет людьми, много задач, которые они могут и должны выполнить. Однако в них не входит создание совершенного мирового порядка. Огромный мировой сад разбился на множество мелких садовых участков, в которых царит их собственный порядок. И в мире, перенаселенном знающими и весьма мобильными садовниками, места для Верховного Садовника, садовника всех садовников, как представляется, больше не осталось.

Мы не можем сейчас пускаться в перечисление всех событий, которые привели к крушению великого сада. Однако, какими ни были бы причины, это крушение является, как я ду-

---

\* Питер Друкер (1909–2005) – американский экономист австрийского происхождения, влиятельный теоретик менеджмента.

маю, хорошей новостью – и во многих отношениях. Но обещает ли оно новое начало для морали совместного существования людей? Каким образом оно соотносится с нашими предыдущими рассуждениями об адиафоризации социального действия – и особенно с потенциально разрушительным размахом, приданным ей развитием современной технологии?

Нет достижений без потерь. Уход великого садовника и утрата великого садоводческого видения превратили мир в более безопасное место, поскольку с ними ушла и угроза геноцида, вдохновляемого идеей спасения. Однако этого недостаточно, чтобы мир стал безопасным. Новые страхи заменили страхи прежние, или, скорее, некоторые из прежних страхов вернулись, появившись из тени некоторых других, недавно изгнанных или забытых. Можно согласиться с предостережением Ганса Йонаса: теперь наши основные страхи больше связаны с апокалипсисом, которым угрожает развитие технической цивилизации, но мы меньше боимся рукотворных концентрационных лагерей и атомных взрывов, поскольку для них требуются провозглашенные великие цели и, прежде всего, целенаправленные решения. Наш мир был освобожден от миссий белого человека, пролетариата или арийской расы – только потому, что он был освобожден и от всех других целей и средств и превращен во вселенную средств, которые не служат никакой иной цели, кроме самовоспроизводства и саморасширения. Как заметил Жак Эллюль\*, сегодняшняя технология развивается, «потому что она развивается», технологические средства используются, потому что они существуют, и единственное преступление, которое все еще считается непростительным в мире вседозволенности – это неиспользование средств, которые уже существуют или могут быть доступны. Если мы можем это сделать, то почему, скажите на милость, мы не должны этого делать? Современная технология не служит решению проблем; доступность технологии скорее переопределяет очередные участки человеческой реальности как *проблемы*, вопиющие о *решениях*. Говоря словами Винера и Канны\*\*, технологическое развитие создает средства, которые простираются за пределы потребностей, и жаждет потребностей, которые могли бы удовлетворить технологические возможности.

Ничем не ограниченное правление технологии означает, что причинная детерминация заменяет цель и выбор. И дей-

---

\* Жак Эллюль (1912–1994) – французский философ, критик современного «технологического общества».

\*\* Энтони Винер и Герман Кан – влиятельные американские футурологи, авторы книги «2000 год» (1967)



ствительно, не найти интеллектуальную или нравственную позицию, с которой можно было бы оценивать и критиковать направления потенциального развития технологии, за исключением трезвой оценки тех возможностей, которые сама технология и создает. Средства празднуют свою триумфальную победу, когда цели в конце концов проваливаются в зыбучий песок решения проблем. Путь к техническому всемогуществу был расчищен устранением последних остатков смысла. И хочется повторить пророческое предупреждение Валери, сделанное им на рассвете нашего века: *«On peut dire que tout ce que nous savons, c'est-à-dire tout ce que nous pouvons, a fini par s'opposer à ce que nous sommes»\**. Нам сказали, и мы поверили, что эмансипация и освобождение означают право сводить Другого, вкупе со всем остальным миром, до уровня объекта, чья польза начинается и заканчивается там, где он способен дарить удовлетворение. Общество, которое подчинило себя ничем не ограниченному диктату технологии, более чем какая-либо иная из известных форм социальной организации уничтожило человеческое лицо Другого и таким образом продвинуло адиафоризацию человеческого общения к еще более устрашающим пределам.

Однако такова только одна сторона новой реальности, которая обозначается понятием «жизненный мир»\*\* и возвышается над каждодневным опытом индивида. Но, как мы вкратце говорили ранее, существует и другая сторона: хаотичное, бессистемное, непредсказуемое развитие технологического потенциала, которое благодаря усиливающейся мощи средств может легко и незаметно привести к ситуации «критической массы», когда мир, созданный технологией, перестанет ею контролироваться. Совсем как современная живопись или музыка, или еще раньше философия, современная технология дойдет до логического конца и установит свою собственную невозможность. Чтобы предотвратить такой исход, как настаивал Джозеф Вайзенбаум\*\*\*, требуется ни много ни мало появление новой этики, этики дистанции и отдаленных последствий, соразмерной с результатами технологических действий, все больше угрожающим

---

\* «Можно сказать, что все, что мы знаем, то есть, все, что мы можем, завершилось противостоянием тому, чем мы являемся» (франц.). Цитата из эссе Поля Валери «Итоги познания» («Le bilan de l'intelligence», 1935).

\*\* Понятие феноменологической философии Эдмунда Гуссерля (1859–1938).

\*\*\* Джозеф Вайзенбаум (1923–2008) – известный американский ученый, специалист в области компьютерных наук, кибернетики и искусственного интеллекта.

## I ПРИЛОЖЕНИЕ

нам во времени и пространстве. Эта этика будет отличаться от известной нам морали: ей придется преодолеть преграды опосредованных действий, возведенные обществом, и избавиться от функциональной редукции человеческой самости.

Такая этика, по всей вероятности, является логической необходимостью нашего времени, если только мир, который превратил средства в цели, готов избежать последствий своих собственных достижений. Является ли подобная этика практической перспективой – это отдельный вопрос. Но кому как не нам, социологам и тем, кто изучает социальные и политические реалии, следует сомневаться в земной пригодности истин, логическую несокрушимость и аподиктическую необходимость которых справедливо доказывают философы. И кто как не мы, социологи, более всего годимся на роль тех, кто призывает людей быть внимательными к разрыву между необходимым и реальным, между все еще живой значимостью нравственных границ и миром, которому предназначено жить – жить счастливо, и, возможно, как никогда более счастливо – без них.

# ПОСЛЕСЛОВИЕ

## Мы должны помнить – но что?

*«Кто управляет прошлым,  
тот управляет будущим;  
кто управляет настоящим,  
тот управляет прошлым».*

Джордж Оруэлл

Когда десять лет назад я начинал писать работу об «избирательном родстве» между холокостом и современностью, я не собирался объяснять суть холокоста – моим намерением было понять современность. Памятуя о самой структуре объяснения (представления события как последовательности причин и следствий), я полагал тогда, что все, что должно было быть сделано для объяснения холокоста как исторического события, уже сделано. Благодаря гигантским усилиям, которые были предприняты многими замечательными, скрупулезными и увлеченными своим делом историками, цепь событий, решений и поступков была полностью задокументирована, и сегодня каждый, кто желает, может узнать о том, кто был палачом, а кто – жертвой, кого терзал ужас, а кого распирало самодовольство, и кто равнодушно оставался в стороне от всего происходившего. Конечно, можно было бы продолжать копаться в некоторых до сих пор не тронутых архивах и дневниках, добавляя к списку палачей все новые имена, множить и без того огромную библиотеку монографий, повествующих об эпизодах этого самого целенаправленного, систематического, усердного и всеобъемлющего массового убийства в человеческой истории. Но такое исследование стало бы лишь «одним из многих» – список фактов становился бы все длиннее, но сам процесс вряд ли стал более понятным.

## I ПОСЛЕСЛОВИЕ

С другой стороны, благодаря историкам наше знание о холокосте, *wie es ist eigentlich gewesen*<sup>\*</sup>, с годами становилось все более полным, однако усилия, которые прилагали социологи и социальные теоретики, чтобы понять, какое значение эти знания имеют для превалирующего ортодоксального представления о современном обществе, катастрофически отставали от быстро накапливающихся фактов; по правде говоря, эти усилия никогда всерьез и не предпринимались – с тех самых пор, как к ним призывали такие одиночки, как Теодор Адорно или Ханна Арендт. И моим намерением было начать исследование с того момента, на котором остановились Адорно или Арендт, и продолжить эту явно незавершенную работу. Я хотел убедить коллег-социологов в необходимости рассмотреть взаимоотношения между холокостом, с одной стороны, и структурой и логикой современной жизни – с другой, убедить их перестать воспринимать холокост как странный и ошибочный эпизод современной истории и осознать его как (высокорелевантную) показательную, неотъемлемую часть этой истории; «интегральную» в том смысле, что она необходима, чтобы понять, что на самом деле представляла собой эта история, какие возможности в ней были заложены, а также чтобы понять, какое общество она породила (какое именно общество, которое теперь составляем все мы, возникло из этой истории).

Теперь, однако, я осознал, что допускал ошибку. Не потому, что мой призыв был адресован не тем или что он был гласом вопиющего в пустыне; не потому, что природа современных социальных теоретиков и их работы содержат нечто, что мешает принять и осмыслить значение холокоста для природы современности. Моя ошибка заключалась в другом. Вопреки моим представлениям, когда бы холокост ни упоминался в современных социальных исследованиях, именно его значение, которое, как я полагал, прежде не рассматривалось, более всего заботило исследователей. Фактически большинство исследователей, говорящих или пишущих о холокосте, – явно или тайно, сознательно или бессознательно – касаются этого значения: присутствия или отсутствия связи между холокостом и глубинной сутью современности и, следовательно, права сохранить или обязательства пересмотреть иные из самых драгоценных представлений, которые имеет современность касательно природы своего устройства и за которые она должна цепляться, чтобы продолжать существовать в своем исторически сформированном виде.

---

<sup>\*</sup> «Так, как оно было на самом деле» (нем.) – выражение немецкого историка XIX века Леопольда фон Ранке.

Другими словами, десять (или около того) лет тому назад я не понимал того, что ясно мне теперь: молчание говорит в унисон с голосами. Каждый раз, когда в социальном дискурсе возникает тема холокоста, истинной темой дебатов – и определенно темой, которая вызывает самые сильные эмоции и побуждает к самым яростным столкновениям, – является не вопрос о том, что на самом деле произошло в истории, а вопрос о характере, о социальной природе современного мира, в котором мы живем сегодня. Скрытая повестка всех современных рассуждений о холокосте – это вопрос о том, что свидетельствующие о холокосте факты могут сказать нам о скрытых возможностях нынешнего бытия. Проблема вины исполнителей холокоста, его палачей, по большей части уже решена и по прошествии времени почти утратила свою настоятельность и практическое значение, однако один существеннейший вопрос остался – вопрос о невиновности всех остальных, и в немалой степени нашей невиновности.

## Социальное продуцирование вины и невиновности

*«В былые наивные времена, когда тиран ради вящей славы сметал с лица земли целые города, когда прикованный к победной колеснице невольник брел по чужим праздничным улицам, когда пленника бросали на съедение хищникам, чтобы потешить толпу, тогда перед фактом столь простодушных злодейств совесть могла оставаться спокойной, а мысль – ясной. Но законы для рабов, осененные знаменем свободы, массовые уничтожения людей, оправдываемые любовью к человеку или тягой к сверхчеловеческому, – такие явления в определенном смысле просто обезоруживают моральный суд. В новые времена, когда злой умысел рядится в одеяния невинности, по странному извращению, характерному для нашей эпохи, именно невинность вынуждена оправдываться»<sup>1</sup>.*

Это написал в 1951 году Альбер Камю – еще до того, как в Нью-Йорке вышла книга «Эйхман в Иерусалиме», а сам Эйхман, герой книги, был доставлен в Иерусалим. Возможность того, что у преступления имеется своя логика, что у «убийства есть рациональная основа» – это «вопрос, поставленный нам кровью и враждой нашего века», настаивает Камю. «Он адресован всем нам». Мы можем отказаться выслушать этот вопрос, на собственный страх и риск успокаивая себя размышлениями о вечности зла и бесконечности убийств; но при этом мы преж-

де всего подвергаем риску собственный гуманизм, который, по самой сути своей, является нашей не-звериностью, *этичностью* нашего существования.

Камю вспоминает, что Хитклиф, герой «Грозового перевала», «готов уничтожить весь шар земной, лишь бы только обладать Кэтти, но ему бы и в голову не пришло заявить, что такая гекатомба разумна и может быть оправдана философской системой». Хитклиф и попыток таких не делает: он не теоретизирует, теория ему не нужна. Он любит Кэтти, он жаждет Кэтти, и это единственная причина, ради которой он готов убить – если ему вообще нужна причина. Убийство, на которое пошел бы Хитклиф, – это *преступление страсти*, а когда на поступок толкает страсть, разум спит; страсть по определению неразумна. Когда мы говорим о страсти, мы также говорим об отсутствии разума. Страсть и разум противоречат друг другу: первая снижает и бледнеет в присутствии второго.

Современность объявила войну страсти и начертала на своих знаменах Разум: *in hoc signo vinces*\*. Современный ум остерегается страсти, порочит ее, пренебрегает ею, усматривает в каждом проявлении страсти собственное поражение. И таким образом он – вполне справедливо – отказывается от ответственности за преступления страсти. Тому, кто убивает из любви или ненависти, места в современности нет. Верно: нет ничего такого уж современного в преступлениях страсти. И вряд ли в том вина амбиций современности, что некоторые мужчины и женщины отказываются прислушиваться к голосу разума и остаются рабами своих страстей. Современности нет нужды извиняться за преступления страсти. И если она все же извиняется, то только за то, что дала слабину, проявила небрежность, не до конца проделала работу по осовремениванию.

И пока преступления можно приписывать страстям того, кто их совершает, за них можно осуждать, не задавая неудобных вопросов о природе современного бытия. Ведь разум-то отрицает как слепую ненависть, так и слепую любовь. Большинство людей – таких же, как мы с вами, – прислушиваются к голосу разума и не позволяют собственным антипатиям и прочим дурным чувствам руководить их поступками и обрушивать их на головы живущих рядом. Однако не все столь благородны, «цивилизованны», как мы с вами. Некоторые продолжают вершить зло. И когда дело доходит до объяснения собственных злых поступков, современный ум, как ни странно, забывает о

---

\* «Сим победиши» (лат.), крестное знамение, которое явилось императору Константину накануне решающей битвы у Мильвийского моста в 312 году.

## I ПОСЛЕСЛОВИЕ

декларациях собственной всесильности и вездесущности. Почему некоторые люди вершат зло? Потому что они люди злые. Почему они жестоки? Потому что они жестокие люди. Почему они совершают чудовищные поступки? Потому что они чудовища. Почему некоторые из них убивают евреев? Потому что им нравится убивать людей, или они ненавидят евреев – или и то и другое, и, убивая людей, которым случилось быть евреями, они получают особое удовольствие.

Таковы чрезмерно многословные объяснения, но тавтология означает грубую логическую ошибку, которая как-то не укладывается в рамки самопровозглашенной самодисциплины разума. Почему гитлеровские палачи убивали евреев? Потому что они были антисемитами. А откуда мы знаем, что они были антисемитами? Потому что они убивали евреев (и забудьте еще о 250 тысячах человек – почти трети цыганского населения – и о 360 тысячах умственно отсталых, душевнобольных и «половых извращенцев» из числа самих немцев, которые последовали за евреями – или предшествовали евреям – на пути в газовые камеры и крематории). Если продолжать придерживаться подобных разъяснений, тогда в качестве мотива потребуется нечто более значимое, нежели простая логика научного исследования. Это «нечто большее» – распределение и перераспределение вины и невиновности. Вопрос в том, как обвинить преступников, но так, чтобы в процессе обвинения никоим образом не пострадала репутация современных мужчин и женщин вкупе с репутацией общества, продуктом которого они являются. Освобождение от ответственности – другая сторона монеты, и ценность монеты определяется этой другой стороной, благодаря ей монета становится привлекательной и желанной. Полный яда вопрос Камю по поводу загонов для рабов, осененных знаменем свободы, или массовых уничтожений людей, оправдываемых любовью к человеку, самым удобным образом забывается.

Еще не было ни Гитлера, ни Сталина, еще на воротах Освенцима не написали *Arbeit macht frei*\*, еще из любви к человечеству не уничтожили огромные группы этого человечества, но современность уже была в полном расцвете, и Ницше уже подметил приводящий в замешательство – и ужасающий – парадокс нашей цивилизации:

...те же самые люди, которые *inter pares*\*\* столь строго придерживаются правил, надиктованных нравами,

---

\* Труд освобождает (нем.).

\*\* Среди равных (лат.).

## I ПОСЛЕСЛОВИЕ

уважением, привычкой, благодарностью, еще более взаимным контролем и ревностью, которые, с другой стороны, выказывают в отношениях друг с другом такую изобретательность по части такта, сдержанности, чуткости, верности, гордости и дружбы, – эти же люди за пределами своей среды, стало быть, там, где начинается чужое, чужбина, ведут себя немногим лучше выпущенных на волю хищных зверей... Они возвращаются к невинной совести хищного зверя как ликующие чудовища, которые, должно быть, с задором и душевным равновесием идут домой после ужасной череды убийств, поджогов, насилий, пыток, точно речь шла о студенческой проделке, убежденные в том, что поэтам надолго есть теперь что воспевать и восхвалять<sup>2</sup>.

Это не просто парадокс, которому не находится объяснения, – это, позвольте мне повториться, ужасает. Так в чем же здесь дело? Неужели Ницше, как кажется на первый взгляд, предполагает, что люди – хищные звери, которые, получив возможность освободиться из тесной клетки, называемой цивилизацией, с громким вздохом облегчения возвращаются к своей звериной сущности? Или же они – прежде могущественные человеки, а ныне беспомощные существа, которых выдернули из привычной среды обитания и, лишив разума, швырнули в зловещий мир, в котором они уже не могут руководствоваться прежними привычками и где правила, по которым они ранее жили, официально отменены и неприменимы? Поскольку оба ответа бездоказательны, оба они и возможны, и нет нужды в обсуждении их существенных (в отличие от действительных) достоинств. Но одна мысль все-таки представляется несомненной. Недавно ее с поразительной ясностью сформулировал Роберто Тоскано<sup>3</sup>:

...необходимо отметить, что здесь мы не пытаемся говорить об индивидуальном насилии, корни которого кроются в личных страстях, желаниях, ненависти, алчности. Напротив, очень важно отметить, что механизм двух видов насильственных действий (индивидуальных и групповых) различен и по-разному проявляется в одних и тех же индивидах, предрасположенность которых к групповому и индивидуальному насилию может быть прямо противоположной.

Далее Тоскано описывает две радикально противоположные ситуации, в контексте которых совершаются два обманчиво схожих насильственных акта, и приводит причины, по которым эти два акта получают совершенно разные объяснения.



В отличие от индивидуального насилия «групповое насилие по определению абстрактно»; «реальные индивиды-ближние совсем не обязательно любимы, но их любят или ненавидят по каким-то конкретным, не абстрактным причинам... В случае же группового насилия, напротив, ближний из индивида превращается в категорию, его конкретное индивидуальное лицо должно быть стерто: человек должен стать абстракцией».

### Категориальное убийство

Абстракция есть одна из мощнейших сил, которыми владеет современный ум. Когда ее применяют к людям, она лишает их лица: то, что от него остается, служит в качестве символа, знака принадлежности к группе, к категории, и участь, уготованная обладателю лица, – не больше, но и не меньше, чем отношение, предусмотренное для *категории*, к которой обладатель лица принадлежит всего лишь как ее *представитель*. Общий эффект абстракции заключается в том, что правила, обычно применимые в личных взаимоотношениях, и прежде всего правила этики, не действуют, когда дело касается категории, каким бы ни был включенный в категорию объект – главное, что он в нее включен.

Нацистское законодательство, пропаганда и социальное управление позаботились о том, чтобы отделить одного и единственного «абстрактного еврея» от многих «конкретных евреев», живущих с немцами по соседству или вместе с ними работающих; а затем, с помощью изгнания, депортации и заключения, превратить «конкретных евреев» в еврея абстрактного. Геноцид отличается от всех остальных убийств тем, что его объектом становится *категория*. Жертвами геноцида могут быть только абстрактные евреи – при таком типе убийства возраст, пол, личностные качества или характер жертвы значения не имеют. Для того чтобы геноцид стал возможным, личные различия должны быть устранены, а лица слиты в однородную массу абстрактной категории. Юлиусу Штрайхеру, печально известному главному редактору столь же печально известной газеты «Штурмовик», пришлось немало потрудиться, чтобы чрезвычайно популярный стереотип «еврея как такового», созданный и распространенный его газетой, приклеился к конкретным евреям, которых знали и с которыми общались его читатели; а Гиммлер считал необходимым напоминать даже избранным и проверенным элите СС: «Еврейский народ должен

быть искоренен», – говорит каждый член партии. «Это ясно, это часть нашей программы – ликвидация евреев, это правильно, мы это сделаем». А потом все они являются, восемьдесят миллионов хороших немцев, и каждый имеет своего хорошего еврея. Конечно, остальные свиньи, но вот этот еврей первоклассный»<sup>4</sup>. Приличным немцам было запрещено иметь их собственных приличных евреев – приличных, *потому что «своих»*: соседей, заботливых врачей, любезных лавочников. Почти шесть миллионов евреев были убиты не потому, что они что-то там такое сделали, а потому, что они были классифицированы; точно так же, как совсем недавно в час торжества все определяющей, все классифицирующей современной бюрократии вооруженные банды руандийских хуту отделили тутси от других хуту, у которых были те же взгляды, тот же язык и религиозные воззрения, и сделали из них не убийц, но жертв – исключительно *согласно записи в паспорте*.

Говоря о тенденции «категоризировать» других, Джок Янг изобрел термин «эссенциализация» – тенденция к эссенциализации, возможно, существовала всегда, но, как подметил Георг Зиммель, в современные времена эта тенденция подстегивается и усиливается современной способностью к абстракции и применяется с особым рвением и размахом<sup>5</sup>. «Эссенциализм, – пишет Джок Янг, – это первостепенная стратегия исключительности: он разделяет людей на группы в соответствии с их культурой или происхождением. Он был выгоден всегда, на протяжении всей человеческой истории, но существуют очевидные причины, согласно которым подобные стратегии стали столь привлекательны в поздний современный период». Среди причин, по которым эссенциализация становится любимой современной стратегией, Янг называет обеспечение иным образом недостижимой онтологической безопасности, узаконивание привилегий и различий, которые подрывают современное обещание единства и равенства, предоставление возможности перекладывания вины на других и проецирования на других внутренних страхов и опасений, что ты не способен соответствовать провозглашаемым тобою же стандартам адекватности и благопристойности. Отношение к другим как к отдельным личностям, наделенным собственными достоинствами или недостатками, не может справиться с такой задачей: для этого необходима эссенциализация, и в этом случае современная способность к абстракции приходится весьма кстати. Возможности, которые предоставляет абстракция, одновременно обосновывают и венчают другие атрибуты современности, без которых холокост, эта исключительно современная форма геноцида, был бы невообразим.

Некоторые из других необходимых условий, доступных исключительно при современном устройстве, хорошо известны и неоднократно обсуждались. Возможно, наиболее часто упоминались современные технологии, столь же необходимые для массового убийства, как и для массового производства. Так же часто говорилось о научной организации труда, воплощенной в бюрократической организации – способности координировать действия огромного количества людей и отделять общую результативность от личных идиосинкразий, убеждений, верований и чувств индивидуальных исполнителей. Эти две черты современности и делают *возможным* проведение геноцида с холодной и этически индифферентной эффективностью и в масштабе, который отличает холокост от всех предшествующих случаев массового убийства – какими бы ужасающими и жестокими они ни были.

Однако то, что выводит возможность на уровень реальности – это характерное для современности стремление к наведению порядка: такой подход, при котором существующая ныне человеческая реальность представляется вечно незавершенным проектом, требующим критического изучения, постоянной ревизии и улучшения. В свете такого подхода ничто не имеет права на существование только потому, что этому случилось быть. Чтобы получить право на существование, каждый элемент реальности должен доказать свою полезность и соответствие предусмотренному проектом порядку. Как я уже писал<sup>6</sup>, такое стремление проще понять с помощью сравнения с «садоводством» (когда для того, чтобы помочь полезным растениям и сохранить элегантность общего дизайна, садовник с корнем выдергивает сорняки). Столь же удобными метафорами могут служить медицина (когда ради сохранения здоровья иссекаются заболевшие части) и архитектура (устранение из общей картины каждого неуместного и излишнего элемента).

## Геноцид и наведение порядка

Когда мы размышляем о внутреннем родстве современной жизни и массовых убийств типа холокоста, мы должны уделить особое внимание этому последнему моменту. Он и в самом деле является ключевым, когда мы стремимся понять истинную сущность современности как *модальность бытия*, а не как некое особое, конкретное состояние того, что уже создано, спроектировано, или пусть даже очерчено, – в виде наброска. Сове-

менная модальность бытия характеризуется прежде всего своей эндемической незавершенностью, ориентированностью на то положение дел, на ту ситуацию, которой пока не существует. Разговоры о современности как о незавершенном проекте – это тавтология. Современность по определению находится в вечном движении, всегда (и неизлечимо) *noch nicht geworden*\*. Каждый проект современен именно потому, что это – шаг, или два шага, или сотня шагов по направлению от к будущему; современность современна именно потому, что ей присуща способность к самопревосхождению: финишная ленточка в процессе бега все время отодвигается, и потому ее невозможно достичь никогда.

Современность – это врожденно трансгрессивный образ бытия. Мечты о порядке проистекают из неудовлетворенности существующим положением, а попытки воплотить его порождают новые неудовлетворенности и новые, пересмотренные – и таким образом обреченные на улучшения – мечты и представления. Современность скручивает, сливает воедино акт проведения границы и решимость ее преступить. Все порядки, сконструированные под эгидой современности, таким образом, пусть и не намеренно, являются местными, временными, «до дальнейшего рассмотрения» – они обречены на переделку еще до их установления. «Модернизация» – это не дорога, ведущая к станции под названием «современность». Модернизация – это осовременивание, реконструкция – постоянная, неостановимая, навязчивая и по многим параметрам самодвижущаяся сила; это и есть человеческая составляющая концепции «современности»: навязчивая модернизация *и есть современность*. Если где-то модернизация движется со скрипом и останавливается, это вовсе не предвещает завершенности современности, это означает ее спад или банкротство. Это состояние великолепно определил Ульрих Бек, когда описывал наши времена как постоянное «осовременивание современности» или «рационализацию рациональности»<sup>7</sup>.

Говоря об эндемически незрелой и ненадежной природе всех частичных, местных и временных усилий по наведению порядка, Ульрих Бек создал еще один вошедший ныне в обиход термин – *Risikogesellschaft*, или общество риска: наше общество таково, что потребность в наведении порядка приводит к появлению новой серии беспорядков, все предприятия по наведению порядка глубоко рискованны, риски эти, возможно, и поддаются предварительному вероятностному анализу, но они всегда неиз-

---

\* *Еще не стала, еще не завершилась (нем.).*

бежны. Что особенно важно для обсуждаемой здесь темы, так это то, что наше существование в «обществе риска» всегда «рискованно» – и обречено оставаться таковым. Жизнь, полная рисков, безнадежно рискованное существование при отсутствии каких-либо надежных знаний о том, что может принести будущее, без какой-либо возможности управлять последствиями наших собственных поступков, это *conditio sine qua non*\* любого рационального выбора, лишает присутствия духа, тревожит, вызывает беспокойство. Как предполагал Зигмунд Фрейд, возможно, современная жизнь началась именно тогда, когда в обмен на коллективно закрепленную безопасность была отдана огромная доля личной свободы. В нынешней же фазе современности общественные гарантии индивидуальной безопасности изъяты или на них более нельзя полагаться. Такая ситуация напрямую ведет к ощущению зыбкости бытия и страданиям, но также и к отчаянным поискам – истинного или мнимого, но представляющегося надежным, – обещания великого упрощения мира, настолько сложного, что двигаться по нему небезопасно.

Таким образом, мы можем утверждать, что современная тяга к наведению порядка самовозбуждающаяся и самодвижущаяся: положение дел, которое следует упорядочить, является, как правило, остатком (побочным продуктом, непредвиденным и нежеланным последствием) усилий по наведению порядка, предпринятых в прошлом. Современность может быть определена как *маниакальная модернизация*. И это означает, что конца напряжению, пропитывающему все общество, нет, общество отчаянно жаждет сбросить его и ищет пути, каким образом его можно сбросить. В наши постсовременные или позднесовременные времена дело обстоит так, что политические силы, которые остаются столь же локальными, какими были они во времена высокой современности, почти не способны к решению глобального вопроса растущей неуверенности и ненадежности. Из трех измерений *Unsicherheit*\*\* , которая омрачает существование приватизированных индивидуумов нашего времени, есть только один вид безопасности (телесная безопасность, или безопасность продолженной телесности – личного имущества, дома, улицы, квартала, окружения), в которой политические силы государств могут продемонстрировать свою решимость, мощь, активность и полезность и в которой они могут искать и получать поддержку электората. Постоянно пополняемые источники беспокойства и сдерживаемой агрессивности, которые она порождает, канали-

---

\* Обязательное условие (лат.).

\*\* Небезопасность (нем.).

зируются в понятия «закона и порядка»: в борьбу с преступностью и задержание преступников или в контроль над подозрительными, ненадежными и потому вызывающими страх элементами – в основном иностранцами, людьми, имеющими иные или непонятные обычаи и образ жизни, которые в настоящее время заняли место, освобожденное «опасными классами» или «нечистыми расами» прошлого. Во времена, когда мобильность стремительно превращается в значительный фактор стратификации, дарования привилегий или дискриминации, растущий сектор озабоченностей законом и порядком фокусируется на образах бродяги, нарушителя границ частной собственности, путешественника, мигранта – того, на ком сходятся расплывчатые страхи перед все более враждебной, непредсказуемой и неуправляемой *Umwelt\**, и, соответственно, на грубой полицейской силе, длительных тюремных приговорах, надежных тюрьмах и смертной казни, а также на изоляции и депортации «нежелательных элементов» – на всех подобных средствах, которые, как предполагается, могут помочь преодолеть новое, смущающее и тревожащее ощущение текучести пространства.

На сегодняшней одержимости безопасностью можно сколотить мощный политический капитал. И недостатка в тех, кто готов воспользоваться этим капиталом ради обретения политического влияния, не наблюдается. Однако благодаря поздне-современному изобилию взаимно сдерживающих властей, немолчному многоголосию, сопровождающему политическую демократию, и слабеющей хватке государственной власти шансов у таких игроков на то, что им удастся захватить в государстве высшую власть и использовать ее ради «решения» по типу холокоста, все же немного. И все же с полной уверенностью говорить о том, что сегодня больше не существует сил, жаждущих действий вроде «окончательного решения», а также о том, что больше нет необходимых и достаточных для них условий, было бы преждевременным и неблагоприятным.

## Жить с памятью о холокосте

Немногим более полувека назад холокост и представить себе было невозможно; полвека назад большинство людей в него просто не верили. Сегодня никто не может представить себе

---

\* Окружающая действительность (нем.).

мир, в котором было бы невозможно нечто вроде холокоста. И если людям продемонстрируют образ такого безопасного и надежного мира, в него вряд ли кто безоговорочно поверит. В конце концов, сегодня каждый знает, что у неприятных проблем могут быть «окончательные решения», что когда смущающая и запутанная реальность сталкивается с упорядоченным миром, с миром, «каким ему надлежит быть», одним из выходов может быть отделение одной группы людей от других, изоляция ее, депортация и физическое устранение, что приводит к «очищению» целых территорий от огромного количества людей, и что – при условии, что кто-то действует правильно (точнее говоря, этот кто-то достаточно силен, чтобы не дать себя переиграть), – такое решение вполне привлекательно. Опять же, при условии, что оно доведено до конца, что тот, кто его осуществлял, не просто с ним справился, но оказался настолько силен, что не позволил себя победить и избежал суда победителей. В таком мире, как легко догадаться, вполне может существовать кто-то, кто где-то в этот самый момент замышляет геноцид, – и такой мир не может быть безопасным. И для такого мира значение холокоста – социальное, политическое, культурное и психологическое – по-прежнему огромно и ревизии не подлежит.

Джордж Стайнер заметил однажды, что Вольтеру и Мэтью Арнольду повезло: они не ведали того, что знаем и вряд ли сможем забыть мы – скрытый потенциал и последствия великого современного приключения. Мы – после холокоста и ГУЛАГа – утратили неведение. Мы более не можем прятаться за наивностью, которая была неистощимым благом века невинности. Но, утратив невинность, мы отнюдь не уверены в сути обретенного взамен знания. Эта суть по-прежнему вызывает горячие споры. И, подобно самому холокосту, память о нем, то, о чем помнится, является вопросом жизни и смерти.

По сравнению с его *посмертной* жизнью, *реальность* самого холокоста в ретроспективе кажется простой и ясной: одни люди систематично убивали других людей, которых третьи люди предназначили для уничтожения, в то время как четвертые, тоже люди, наблюдали – кто с отчаянием, кто равнодушно, а кто с нескрываемой радостью, и при этом не делали ничего или почти ничего, чтобы прекратить убийства. Были злые убийцы, невинные жертвы и посторонние, отмеченные разной степенью зла и невинности. За исключением полубезумных «историков-ревизионистов» и тех, кто скорбит по нацистам, все остальные пришли к консенсусу по поводу того, кто был кем и кто что делал в Освенциме. Однако сегодня многое кажется куда более сложным и запутанным. И наиболее сложным представ-

ляется вопрос о том, какие уроки следует извлечь из холокоста, для кого и для чего предназначены эти уроки. Сегодня граница, отделяющая зло от невинности, вину от здравого смысла, чистую совесть от совести запятнанной, уже не кажется четкой и неоспоримой.

Какую бы оторопь, какой ужас ни вызывал холокост, мы по-прежнему можем измерить его дьявольскую жестокость количеством трупов и весом пепла. Но как можно измерить ущерб, причиненный *памятью* о газовых камерах и крематориях? И полстолетия спустя память отравляет мир живущих, а список коварных ядов кажется нескончаемым. Мы все одержимы этой памятью, и в особенности те из нас, кто евреи – что вполне понятно, потому что именно они были основной целью холокоста. Прежде всего евреи живут в мире, отравленном страхом перед возможностью повторения холокостов. Для многих из них мир кажется крайне подозрительным по самой своей сути, и ни одно событие в мире не является нейтральным – в каждом событии им слышатся зловещие обертоны, каждое событие содержит угрожающее послание именно для евреев, послание, которое евреи не могут оставить без внимания. Как писал покойный Э. М. Чоран:

...бояться – значит постоянно думать о себе, быть неспособным объективно представлять ход событий. Ощущение ужасного, ощущение того, что все в мире направлено *против* тебя, предполагает, что в мире не существует *не относящихся к тебе* опасностей. Испуганный человек – жертва преувеличенной субъективности – верит, что именно он, в большей степени, чем все остальные, является целью враждебных событий... Он дошел до крайней одержимости собственной персоной: все плетут заговор против него...<sup>8</sup>

Инстинкт самозащиты подталкивает жертв к изучению уроков истории, однако для того, чтобы постичь урок, жертва сначала должна решить, в чем именно он состоит. В числе наиболее искушающих и наиболее общих интерпретаций урока – принцип выживания как единственного, что имеет значение, как высшей ценности, умаляющей все иные ценности. Когда непосредственный опыт жертв становится все отдаленнее и постепенно забывается, память о холокосте также выпаривается и конденсируется в простом принципе выживания: жить – значит выжить, преуспеть в жизни – значит пережить остальных. Побеждает тот, кто выживает.

Такое прочтение урока холокоста было недавно продемонстрировано – к всемирному признанию и огромным кассовым при-



былям – в ныне почти каноническом образе холокоста по Спилбергу. Согласно версии «Списка Шиндлера», единственной ставкой в трагедии холокоста было остаться живым – в то время как качество жизни, и в особенности *ее достоинство и моральная ценность*, имеют как максимум второстепенное значение, во всяком случае им не дозволено мешать первостепенной цели. Цель выживания сторонится моральных вопросов, умаляет их, отодвигает моральные вопросы как не самые необходимые для выживания. В конечном счете, самое главное – *пережить остальных*, даже если спасение от гибели требует включения в отдельный, уникальный список привилегированных (когда комендант Освенцима предлагает заменить «его евреек», Шиндлер отказывается: важно не спасение жизней, а спасение определенных, избранных жизней). Ценность выживания не преуменьшается фактом того, что другие, менее удачливые, отправляются в лагеря смерти; те, кто смотрит «Список Шиндлера», должны радоваться тому, как Шиндлер в последний момент выдергивает своего мастера – и лишь его одного – из состава, отправляющегося в Трешлинку. Путем преднамеренного искажения талмудических принципов фильм Спилберга транспонирует вопрос о спасении человечества в решение о том, кто должен жить, а кто – умереть?

Это переведение выживания в ранг высшей, возможно, единственной ценности – отнюдь не изобретение самого Спилберга; и художественное воплощение его отнюдь не ограничено опытом холокоста. Вскоре после войны психиатры разработали концепцию «вины выжившего» – комплекса психологических заболеваний, который они приписывали тому, что выжившие постоянно вопрошали себя: почему они остались жить, если столь многие близкие и родные погибли? Согласно этой интерпретации, радость избавления от гибели была постоянно и неизлечимо отравлена неуверенностью по поводу оправданности их спасения из океана гибели – и последствия для желания жить и добиться в жизни успеха были для выживших катастрофическими. Многие практикующие психиатры снискали славу и богатство, излечивая сконструированный ими же «синдром выжившего». Был ли этот синдром правильно определен, поддавался ли он психиатрическому лечению – вопрос спорный; однако очевидно, что с течением времени аспект «вины», столь значимый при ранней диагностике, был последовательно изгнан из модели «комплекса выжившего», оставив лишь чистое, ничем не замутненное, недвусмысленное и уже неоспоримое одобрение самосохранения ради самосохранения. И в упорном существовании этого «синдрома» обвиняют сейчас лишь воспоминания о боли, которую пришлось претерпеть ради того, чтобы остаться в живых.

## I ПОСЛЕСЛОВИЕ

Такой перенос опасно приближает нас к ужасающему образу выжившего в изображении Элиаса Канетти – как личности, для которой «наиболее элементарной и очевидной формой успеха является сохранение жизни». Для выжившего Канетти выживание – в отличие от простого самосохранения – нацелено на других, а не на себя: «они хотят пережить своих современников. Они знают, что многие умирают молодыми, и для себя они хотят другой судьбы». В результате этой своей одержимости выживший, по Канетти:

...жаждет убить, чтобы пережить остальных, он хочет остаться живым, но чтобы его не пережил никто... Наиболее фантастические триумфы выжившего имели место в наше время среди людей, которые придавали такое большое значение идее гуманизма... Выживший – это самое чудовищное зло человечества, его проклятие и, возможно, его рок<sup>10</sup>.

Более широкие отражения культа выживания содержат угрозы, возможно, чудовищных пропорций. Время от времени то здесь, то там уроки холокоста сводятся к простой и удобной для популярного потребления формуле: «выживает тот, кто наносит первый удар» или, еще проще, – «выживает сильнейший». Ужасающее, «двулучевое» наследие холокоста, с одной стороны, заключается в тенденции считать выживание единственной или, во всяком случае, высшей ценностью и целью жизни, с другой стороны – в постулировании вопроса выживания как конкурентной борьбы за ограниченный ресурс и, таким образом, в постулировании самого выживания как поля битвы между несовместимыми интересами – битвы, в которой успех одних достигается за счет поражения других.

Непреднамеренно, однако от этого не менее зловеще, такая интерпретация урока холокоста звучит в унисон и даже обеспечивает своего рода обоснование наиболее распространенным сегодня по всему свету чудовищным аргументам в поддержку возвратности геноцидов, в то, что ради отмщения за жестокости прошлого и ради защиты жертв прошлых преследований от повторения их страданий необходим новый виток виктимизации. К резонам подобного оправдания новых попыток геноцида с энтузиазмом прибегают «политические силы, ориентированные на прошлое» – недавно Люк Болтански описал их следующим образом: «Опираясь на память о страданиях, несчастьях и потерях *жертв прошлого*, они узаконивают обращение к идентичности людей, классов и государств»<sup>11</sup>. И довольно часто такие «исторические уроки», говоря словами Болтански, становятся оружием «в руках тех, кто эксплуатирует жертв прошлого

ради того, чтобы захватить власть над будущим, при этом совершенно игнорируя страдания настоящего».

Но существует и еще одно измерение, провозглашенное «жертвой по договоренности» – теми, кто принадлежит к *sui generis*\* «аристократии жертв» (имеющими, таким образом, *наследственное* право на сочувствие и этические привилегии, дарованные тем, кто пострадал). Таким статусом можно похваться – да им часто и похваляются – как эквивалентом средневековой *индальгенции* или современным «незаполненным чеком»: заранее подписанным сертификатом моральной правоты. Как бы ни поступали наследники жертв, их действия гарантированно считаются моральными (или по крайней мере *этически корректными*) до той поры, пока можно продемонстрировать, что это было сделано ради того, чтобы предотвратить повторение участи, постигшей их предков, или покуда можно показать, что это психологически понятно, даже «нормально» ввиду наследственной психологической травмы; подобная суперчувствительность наследственных носителей жертвенности грозит новой виктимизацией.

К предшественникам испытывают жалость, но заодно их и винят в том, что они, словно овцы, позволили отдать себя на заклание. Так разве можно обвинять их потомков в том, что в каждом темном проулке и в каждом грозного вида здании они видят очертания будущей бойни? Те, кого хотят лишиться власти или могущества, совсем не обязательно имеют какое-либо отношение к палачам холокоста и ни в каком юридическом или моральном смысле не могут нести ответственность за муки чьих-то предков (в конце концов, причинно-следственная связь установлена в отношении наследия «наследственных жертв», а не в отношении тех, кто приносил предков в жертву). И все же в мире, омраченном памятью о холокосте, эти люди виновны наперед, виновны в том, что *они представляются* склонными или способными, дай им шанс, стать исполнителями нового геноцида. Их преступление – в соответствии с мыслью, выраженной Кафкой в его «Процессе», – заключается в том, что им выдвинули обвинение или что они *попали под подозрение*, и уже потому они считаются преступниками, заслуживающими самой строгой кары. Этика наследственной жертвенности перевернула логику закона: обвиненные считаются преступниками до тех пор, пока не доказана их невиновность. И поскольку истцы и обвинители сами ведут слушание и оценивают обоснованность аргументов, шансов у ответчиков на то, что их аргумен-

---

\* *Своего рода» (лат.).*

ты будут приняты судьями, почти нет, и что бы они ни делали, им еще долго предстоит оставаться виновными.

### Самовоспроизводство жертвенности

Таким образом, статус наследственной жертвы может снять моральное осуждение новой виктимизации – на этот раз предпринятой во имя стирания наследственной уязвимости. Мысль о том, что насилие порождает новое насилие, вполне банальна, менее банальна – поскольку ее высказывают не так часто – мысль о том, что виктимизация порождает новую виктимизацию. Мученикам отнюдь не гарантировано моральное превосходство над мучителями, и редко когда стечение обстоятельств, позволившее избежать виктимизации, морально облагорожено.

Мученичество – где бы оно ни имело место быть, в истинной или в виртуальной реальности, – не является гарантом святости. Память о страданиях не означает, что жизнь того, кто помнит, посвящена борьбе против бесчеловечности, жестокости и мучительства как таковых, где бы это ни происходило и кто бы при этом ни страдал. И по крайней мере равным возможным результатом мученичества является тенденция предложить другой урок: что все человечество делится на жертв и мучителей и что если вы являетесь (или предполагается, что являетесь) жертвой, ваш долг – взять реванш. Мы снова и снова сталкиваемся с такой извращенной логикой: мы наблюдаем ее сегодня (и ничего или почти ничего не делаем ради того, чтобы прервать зловещий круг) во взаимном насилии в Руанде, в той части Европы, которая когда-то носила название Югославия, в Судане, Конго, Сомали, Анголе, Шри-Ланке, Афганистане и в дюжине других мест. Это тот урок, который нашептывает призраком холокоста; некоторые израильские политические лидеры возвели этот урок в ранг государственной политики и сделали основным аргументом своей дипломатии. И по этой причине мы не можем быть уверенными в том, что наследие холокоста стало тем, на что надеялись многие и что некоторые предвкушали: моральное возрождение или этическое очищение мира в целом или какой-то его части.

*Фатальное наследие холокоста состоит в том, что сегодняшние мстители могут причинить новые муки и породить новые поколения жертв, нетерпеливо ожидающих возможности ответить тем же, при этом их действиями будет руково-*

## I ПОСЛЕСЛОВИЕ

дить уверенность в том, что они воздадут за вчерашние страдания и предотвращают страдания завтрашние; другими словами, они будут убеждены, что мораль на их стороне. В этом состоит самое чудовищное из проклятий холокоста и посмертная победа Гитлера. Толпы, которые аплодировали Голдштейну, учинившему резню мусульман в оккупированном Хевроне, которые слетелись на его похороны и продолжают писать его имя на своих политических и религиозных знаменах, наиболее серьезно пострадали от этого проклятия, но легло оно не только на них\*. Проклятые могут рассчитывать на молчаливое, а порою вполне громогласное сочувствие правящих политических сил. Такие силы стремятся к тому, чтобы реальность соответствовала видению наследственной жертвенности и чтобы такая реальность стала обыденной. Очередная бомба, очередная вспышка интифады прекрасно служат этой цели. Но пусть даже в слегка «разжиженном», однако по-прежнему зловещем виде это проклятие продолжает расползаться, поражая значительную часть населения Израиля и заставляя его верить в то, что они живут в осажденной крепости.

В заключение своего новаторского исследования о том, с каким пылом обычные люди записывались в 101-й полицейский резервный батальон, исполняющий приказы убивать\*\*, Кристофер Браунинг задается вопросом: если большинство из 101-го батальона смогли стать убийцами, то тогда какая из групп людей убийцами стать не может? В отличие от своего аспиранта Даниэля Джоны Гольдхагена, Браунинг испугался и растерялся от того, что обычные люди, такие, как мы с вами, могут при соответствующих обстоятельствах превратиться в убийц. Но Браунинг не искал утешения в мысли о том, что это антисемиты таким чудесным образом перевоплотились в убийц и, следовательно, свобода от антисемитизма является патентованным средством против участия в категориальном преступлении.

Размышляя об отравленной холокостом истории, два израильских ученых – Ариэлла Азулаи и Ади Офир – поражаются тому, что сегодня означает на языке израильских политиков местоимение «мы»:

---

\* В 1994 году доктор Барух Гольдштейн расстрелял из автомата молящихся мусульман, убив 29 человек и ранив десятки. Гольдштейн был растерзан толпой, а созданная израильскими властями комиссия признала его поступок преднамеренным и необоснованным убийством.

\*\* Гамбургский 101-й резервный полицейский батальон совершал массовые убийства евреев в Восточной Польше.

Мы – последнее место в Европе, где нацистское прошлое по-прежнему приносит выгоду, потому что государство превратило истребление европейских евреев в национальное достояние, символический капитал... Мы – лаборатория, в которой проводятся эксперименты с целью тестирования универсализма зла: принцип универсализма – это наследие Европы, и практики производства зла импортированы из той Европы, которой более не существует. Гипотеза, которую надобно подтвердить (та самая, которую до сих пор не отвергли), звучит следующим образом: «это может случиться с каждым»; жертвы вчерашнего дня всегда могут стать сегодняшними мучителями. Каждый может начать ненавидеть, унижать, подавлять «Другого», каждый может стать участником расовой дискриминации, этнических чисток, каждый может дойти до сотрудничества с режимом, который систематически продуцирует и распределяет зло<sup>12</sup>.

«Наследственное мученичество» – это основное социопсихологическое средство, служащее систематическому продуцированию и распределению зла. Однако не следует путать феномен наследственного мученичества с генетической предрасположенностью или с семейной традицией, сохраняемой посредством превалирующего над обучающими установками родительского влияния. Наследственность в данном случае по преимуществу воображаемая, она проявляется через коллективное продуцирование воспоминаний и через индивидуальные акты самовербовки и самоидентификации. Таким образом статус «детей холокоста», то есть наследственной жертвы, доступен для каждого еврея, независимо от того, что его родители «делали во время войны» или что делали во время войны с ними.

Психиатры проводили широкие исследования биологических потомков (и/или объектов воспитания) узников концентрационных лагерей и обитателей гетто; огромное же количество «сыновей и дочерей холокоста», которые *на самом деле ими не являются*, еще ждут своих внимательных аналитиков. Однако существует множество уже вполне очевидных выводов, которые такое исследование может подтвердить. Оно может показать, что комплексы таких «воображаемых детей», самоназначенных детей (и, по этой же причине, «детей *manqués*»\*) от-

---

\* Неудавшиеся дети (франц.).

нюдь не менее глубоки и порочны, а возможно, даже отягощены более зловещими последствиями, чем те, которые психиатры уже описали. Одно можно сказать: смысл в этом есть (что бы ни заключалось в понятии «смысл» для нашего помнящего о холокосте мира). Для «детей *tanqués*» место, которое они занимают в мире, с которого они смотрят на мир и на котором желают пребывать в глазах всего мира, это жертвенный камень, но так уж получилось, что они не являются и никогда лично не были объектом чьего-либо гнева или злонамеренных действий. Мир упорно не желает причинять им зло и заставлять их страдать, а потому такой мир слишком хорош, чтобы быть настоящим – то есть реальность безопасного мира означает ирреальность жизни, которая черпает свой смысл в мучениях, которые были и которые еще будут.

Пребывание в невраждебном мире, не говоря уже о мире благоприятном и комфортном, означает предательство придающей смысл существованию родословной. Чтобы достичь полноты, исполнить свое предназначение, избавиться от нынешней неполноценности, отбросить эпитет «*tanqués*» от статуса потомков и наследников, им пришлось бы перековать собственную воображаемую цепь жертвенности в реальную цепь виктимизации во «внешнем мире». Такого можно достичь, только если вести себя так, *будто* их место в мире действительно является местом жертвоприношения, твердо придерживаясь стратегии, которая была бы разумной исключительно в том мире, где все нацелено на репрессии, причинение страданий. «Дети *tanqués*» не могут стать подлинными, если мир, в котором они живут, не будет к ним враждебным, не станет затевать против них заговоры – а такой мир действительно таит в себе возможность следующего холокоста.

Чудовищная правда заключается в том, что, вопреки тому, что они говорят и к чему, как они полагают, стремятся, «дети *tanqués*» – «бракованные дети» – не пригодны для жизни в мире, свободном от этой возможности, в таком мире они чувствуют себя чужими. Они чувствуют себя куда более комфортно в мире, населенном евреененавистниками, которые, если развязать их обгаренные кровью руки, поспешат включить таких «детей» в список своих жертв. Они усматривают придающие смысл их существованию угрозы в каждом недружественном жесте и готовы интерпретировать любое шевеление как явное или латентное выражение враждебности. (В американском еврейском двухнедельнике *Tikkun* была опубликована рецензия на недавнее исследование, в котором говорилось об исчезновении антисемитизма в США: рецензия была озаглавлена весьма многозначительно: «И евреи в это поверят?».) Ужасный пара-

докс бытия наследственной жертвы заключается в том, что у нее развивается правомерная заинтересованность во враждебности мира, в подстрекательстве к враждебности мира и сохранении враждебности мира. Когда террористы, доводя терпение своих жертв до предела, взрывают очередную бомбу, можно явно слышать вздох облегчения, который выпускают некоторые политические лидеры страны и многие тысячи мужчин и женщин, за них голосовавшие.

«Бракованные дети» жертв живут не в домах – они обитают в укрепленных крепостях. Но чтобы дом превратился в крепость, надо, чтобы его обстреливали и пытались захватить. А где еще можно подойти ближе к осуществлению своей мечты, как не среди голодающих и нищих, отчаянных и отчаявшихся, выкрикивающих проклятия и швыряющих камни палестинцев... Здесь комфортабельные, со всеми современными удобствами дома так не похожи на дома, которые «дети *tanqués*» покинули – комфортабельные, со всеми современными удобствами дома в скучных, слишком безопасных, чтобы чувствовать там себя комфортно, американских городах, где «дети» были обречены оставаться теми, кто они есть – «*tanqués*». Здесь же можно окружить свой дом колючей проволокой, поставить на каждом углу по сторожевой башне и ходить к соседям, горделиво поглаживая свисающий с плеча автомат. Враждебный к евреям мир снова загнал евреев в гетто. Превращая свой дом в подобие гетто (на этот раз, однако, в гетто, в котором полно оружия), можно снова заставить мир выглядеть враждебно, антиеврейски. В таком полностью и истинно «бракованном», «дефектном» мире «дети» наконец-то перестают сами казаться «бракованными». Шанс на мученичество, упущенный целым поколением, может быть заново обретен его избранными представителями, которые хотят выглядеть как его истинные представители.

Как ни посмотри, но призрак холокоста увековечивает сам себя и воспроизводит сам себя. Он настолько сросся со слишком многими, что изгнать его будет непросто. Дома с привидениями ценятся выше, а одержимость превратилась для многих в ценную, придающую жизни смысл формулу существования. И в этом можно углядеть величайший посмертный триумф архитекторов «окончательного решения». То, чего Гитлер и его палачи не смогли достичь при жизни, они могут осуществить после смерти. Им не удалось настроить весь мир против евреев, но, лежа в своих могилах, они все еще настраивают евреев против всего мира, а значит, так или иначе делают согласие евреев с миром, их мирное сосуществование с миром гораздо более трудным, если не вообще невозможным. Не то чтобы про-



рочества о холокосте полностью самореализовывались, но они соответствовали – внушали правдоподобие – видению мира, в котором пророчествам о холокосте нет конца, со всеми вредоносными и разрушительными физическими, культурными и политическими последствиями, которые транслируют такие пророчества.

## Бытие в одномерном мире

Жан-Поль Сартр говорил, что еврей – это человек, в котором другие видят еврея. Сартр, должно быть, полагал, что акт такого определения является также и актом упрощенной избирательности: таким образом придается значение одной из множества черт непостижимо многогранной личности, а все остальные черты становятся вторичными, производными и нерелевантными. В практике одержимых сартрианская процедура проводится вновь, но в обратном направлении. Другие, неевреи, становятся одномерными, такими же, как евреи в глазах их ненавистников. Другие – это не добродетельные или жестокосердые *patri familiae\**, заботливые или эгоистичные мужья, благорасположенные или злобные начальники, надежные или неблагонадежные граждане, миролюбивые или злобные соседи, угнетатели или угнетенные, нарушители закона или жертвы беззакония, страдальцы или те, заставляет страдать, привилегированные или обделенные, те, кто угрожает, или те, кому угрожают, – они могут быть и тем, и другим, и всем вместе взятым, но все вышеперечисленное имеет второстепенное значение или вообще никакого значения не имеет. Имеет значение лишь одно – как они относятся к евреям. А позиция, занимаемая по отношению к тому, кто *также* оказался евреем, читается как проявление отношения к евреям как таковым. Подобно наследственному мученичеству, такая одномерность взгляда на мир имеет склонность к самоувековечиванию.

Сохранять такой одномерный взгляд на мир весьма непросто – если помнить, например, что во времена гитлеровского похода против евреев многие из тех, кто в открытую называл себя антисемитом, твердо отказывались сотрудничать с палачами холокоста, с другой стороны, в рядах палачей было полно законопослушных граждан и дисциплинированных бюрократов, кото-

---

\* *Отцы семейств* (лат.).

рые были свободными от каких-либо предубеждений против евреев как таковых и не испытывали никакой особой ненависти к тем конкретным евреям, которых им случилось расстреливать или морить газом. (Нехама Тек, этот негибачаемый и замечательно последовательный исследователь «обыкновенных людей», помимо своей воли оказавшихся в нечеловеческих условиях, пишет, что, согласно одному из свидетелей массовой экзекуции, из тринадцати исполнявших ее полицейских лишь один отличался крайней жестокостью, трое не стали участвовать в уничтожении евреев, а остальные видели в этом акте нечто «нечистое» и отказывались о нем говорить.) Так же трудно прийти к пониманию того факта, что «депортация евреев» (как официально именовалось уничтожение европейского еврейства) происходила согласно нацистскому плану всеобщего *Umsiedlung*\* – представления о Европейском континенте, на котором практически все должны были быть перевезены с их нынешнего, случайного местопребывания туда, где им повелевал пребывать разум<sup>13</sup> («депортация» означала окончательное исчезновение: по мере развития холокоста даже могилы евреев объявлялись «не соответствующими порядку» и заменялись дымом из труб). Одномерный взгляд не позволяет увидеть, что уничтожение евреев шло в рамках общей «операции по очистке» (которой также подлежали люди, считавшиеся душевнобольными, физически неполноценными, идеологически ненадежными или сексуально неортодоксальными), проводимой государством, достаточно сильным, защищенным от внешнего воздействия и какой-либо внутренней оппозиции, чтобы не опасаться за ход осуществления своих планов. Одномерный взгляд не способен увидеть за осуществлявшими холокост нацистами *еще и* «бюргеров», у которых, подобно всем «бюргерам» – нынешним и здешним, так же как тогдашним и тамошним, – были свои «проблемы», которые они искренне желали «решить»<sup>14</sup>.

Все вышесказанное отнюдь не означает, что разговоры о возможности будущих холокостов не имеют под собой никакого основания, что мир, в котором мы сегодня живем, до такой степени отличается от мира холокоста, что он полностью защищен от его повторения. Но очень часто угрозу таких холокостов вынюхивают и выглядывают совсем не там, где следовало бы – отвлекаясь от почвы, в которой коренятся *истинные угрозы*. Чудовищное свойство одномерного видения мира заключается в том, что, устремив взгляд в одном направлении, мы старательно не замечаем многоликой природы реальных опасностей.

---

\* Переселение (нем.).

## I ПОСЛЕСЛОВИЕ

Риск умножают громкие аплодисменты в адрес выдвинутой Даниэлем Гольдхагеном версии холокоста как примитивной истории добровольных поделщиков Гитлера из числа евреененавистников. Как тезис Гольдхагена, так и плохо скрываемое удовлетворение, с которым он был принят во многих кругах, могут быть полностью понятны только в контексте всего сказанного выше, в контексте, в котором в качестве исходных ингредиентов переплетаются феномен наследственного (а также *tanqu *) мученичества и одномерное видение мира.

Этот мой взгляд, как мне кажется, на самом деле невольно разделяет и сам Гольдхаген, и наиболее ревностные его последователи и сторонники. Когда Рут Беттина Бирн и Норман Финкелстейн буквально разгромили в своих критических заметках то, как предвзято Гольдхаген использовал архивы<sup>15</sup>, автор, вместо того, чтобы признать свои ошибки или защищать свою версию изложения фактов, обрушился на критиков, обвиняя их в коварных политических замыслах и прибегнув к аргументу *ad hominem*: он назвал своих критиков «убежденными антиссионистами», но там же он косвенно признал, что диспут – по-видимому, касательно его изложения холокоста, – в конечном счете, означает разговор по поводу вполне современных политических вопросов. Те, кто ринулся на защиту Гольдхагена, были более откровенными. Так, Абрахам Фокс, выступая от имени Канадского отделения Антидиффамационной лиги, заявил, что не важно, справедлив тезис Гольдхагена, или нет – важно, чтобы критика была «законной» и не переступала границ дозволенного<sup>16</sup>.

Такое отношение к манифесту Гольдхагена более чем понятно. Послание, содержащееся в книге, совершенно четкое (цитирую собственные слова Гольдхагена из «Добровольных палачей Гитлера» 1996 года издания): «что касается мотивационных причин холокоста, то для большинства его палачей достаточно одного простого объяснения» – а именно «демонологического антисемитизма». Историки, которые пытались увидеть в механизме холокоста более сложные аспекты, по мнению Гольдхагена, ошибались, им следует избавиться от мысли о том, что немцы (или, по крайней мере, гитлеровская Германия) «более-менее похожи на нас», что «их чувства отдаленно напоминают наши собственные»<sup>17</sup>. Читатель легко может сделать вывод: холокост произошел именно потому, что немцы *вовсе не* «более-менее похожи на нас». А поскольку «быть непохожим» имеет свойство симметричной противоположности, следующий вывод так же прост: поскольку все остальные не «более-менее похожи на немцев», ничего «отда-

ленно напоминающего» геноцид типа холокоста больше нигде и никогда произойти не может. Холокост был, есть и навсегда останется *немецкой проблемой*, так что остальному человечеству бояться совершенно нечего, он может перестать ковырять собственную совесть. Другими словами, нет ничего касающегося нас самих и мира, в котором мы живем, что мы могли бы извлечь из урока под названием «холокост», – за исключением немецкой вины. *Quod erat demonstrandum*\*.

Том Сегев из израильской газеты *Haaretz*, суммируя суть дискуссии, попал прямо в цель: «Еврейский истэблишмент с восторгом принял мистера Гольдхагена, как если бы он был сам мистер холокост. Что пахнет абсурдом, поскольку критика в адрес Гольдхагена вполне обоснованна...» Однако восторг, поясняет Сегев, вполне понятен, так как на кону – «сионистский характер» тезиса Гольдхагена. И вот что на самом деле имеет значение:

...не только немцы, но и все неевреи ненавидят евреев. Отсюда потребность в единстве и солидарности евреев. Отсюда потребность в еще большем количестве книг о ненависти к евреям, и чем они упрощеннее и поверхностнее, тем лучше<sup>18</sup>.

Кристофер Р. Браунинг, чьи потрясающие открытия Гольдхаген позаимствовал только затем, чтобы их извратить и выйти за их рамки ради подтверждения собственных взглядов, обвиняет Гольдхагена в:

изобретении искусственной дихотомии между действиями, мотивированными якобы «внутренними» факторами, допускающими моральные суждения (то есть верованиями и ценностями, которые Гольдхаген на самом деле низводит до антисемитских или расистских убеждений), и действиями, «навязанными» тем, что он определяет как «внешние» факторы, которые, из-за того что эти действия совершены по принуждению, лишены этического измерения, предполагающего выбор. На самом деле, естественно, людьми руководило огромное множество «ценностей и верований», а не только расизм – таких как представление о власти, долге, законности, преданности своей группе или стране в военное время. Существует также множество других личных черт, таких как амбиции, жадность, неспособность к сочувствию, которые определяют чело-

---

\* Что и требовалось доказать (лат.).

веческое поведение, но при этом не снимают с них личной ответственности<sup>19</sup>.

Вот в этом и состоит суть: для того чтобы избавить некоторые убийства и другие акты жестокости от моральных оценок и сделать их в глазах исполнителей «морально нейтральными», чтобы поставить широкий спектр человеческих «верований и ценностей» на службу убийству, требуется ничтожно малое количество современных изобретений, и лидером среди них является «рациональная бюрократия». Но тщетно будет искать в книгах Гольдхагена какой-либо намек на то, что автор осознает это и готов увидеть за самой оскорбительной из дихотомий комплекс современных проблем, свойственных человеку морали.

Естественно, Гольдхаген вовсе не придумал, будто некоторые из участников массовых убийств действительно получали удовольствие то ли потому, что были садистами по натуре, то ли потому, что патологически ненавидели евреев, то ли из-за того и другого одновременно; но это и не его открытие. Однако принимать этот факт за единственное объяснение холокоста, за его основной смысл или глубочайшее значение – значит использовать память о холокосте ради современных политических целей (а такое использование может рассказать многое о таких целях) и отвлекать внимание от самой зловещей правды этого геноцида и того очистительного для нашего беспокойного мира урока, который человечество может вынести – должно вынести, обязано вынести – из своей недавней истории, в которой холокост был ключевым событием.

## Социальное продуцирование убийц

Следует помнить, что на каждого злодея из книги Гольдхагена, на каждого немца и ненемца, которые убивали с удовольствием и энтузиазмом, приходились дюжины немцев и ненемцев, чей вклад в массовое убийство был не менее эффективным, хотя при этом они вовсе ничего не испытывали по отношению к своим жертвам и к природе совершаемых действий. Следует помнить, что, хотя мы прекрасно сознаем, что предрассудки угрожают гуманизму, и даже кое-что знаем о том, как с ними бороться и как сдерживать дурные намерения имеющих предрассудки людей, мы почти ничего не знаем о том, как предотвратить угрозу убийства, рядящегося в рутинную и лишнюю эмоций функцию упорядоченного общества. В то же время другие зна-

ния – о том, как использовать свободных от каких бы то ни было убийственных наклонностей людей на службе «узаконенного убийства», как использовать искусства и технологии, необходимые для применения таких знаний на практике, – объединенными стараниями психологов, технологов и экспертов по научному управлению становятся все глубже и обширнее.

Роберт Джонсон провел дотошное, тщательное и впечатляюще глубокое исследование утомительной ежедневной рутины, царящей в отделениях для смертников американской пенитенциарной системы – а Америка печально известна своим упорством в приверженности к смертной казни; он писал о временном прекращении жизненных функций, о праздничном оживлении, царящем в дни казней, о мыслях и чувствах палачей и казнимых. Огромный объем собранных Джонсоном данных может служить богатым эмпирическим доказательством прозрений великого норвежского криминолога Нильса Кристи, высказанных им в его новаторском исследовании «Контроль за преступностью как индустрия»<sup>20</sup>. В отчете Джонсона можно найти эмпирические подтверждения всем основным догадкам Кристи: рутинизация процедуры умерщвления, бюрократическое разделение труда и «агентского статуса» индивидов, вовлеченных в коллективное исполнение, глубокая «эмоциональная неодушевленность» всего процесса, нейтрализация этических вопросов и моральных угрызений, деперсонализация жертв... «Цивилизационный процесс», по знаменитому выражению Норберта Элиаса, заставил всех нас (или по крайней мере большинство из нас) с негодованием относиться к насилию и избегать его. Но современная цивилизация также изобрела средства, чтобы сделать это отторжение и ненависть к насилию нерелевантными, когда приходится соучаствовать в совершении насильственных актов – в особенности когда эти акты совершаются во имя цивилизованных ценностей.

«Соучастие проявляется в том, что надзиратели в камерах смертников удерживают заключенных ради того, чтобы была совершена казнь», – замечает Джонсон. Тюремщики, которых опрашивал Джонсон, это понимают и не могут не испытывать по этому поводу дурных чувств. «Мне всегда плохо, когда приговоренный в последний раз встречается со своей семьей... Здесь невозможно не испытывать депрессию», – признается один из них (не следует забывать: надзирателям камер смертников недоступна роскошь, которой пользовались исполнители холокоста, – у них имеется достаточно времени, чтобы между ними и осужденными возникли личные отношения, для них осужденные на казнь *не безлики*). И затем этот тюремщик добавляет – словно еще поразмыслив: «Предполагается, что это

часть работы – как у врача или вроде того. У вас умирает пациент – такое случается, но это нелегко. Забыть об этом невозможно, но можно постараться об этом не думать». И большинство тюремщиков «стараятся не думать», «оставить это позади». Каким же образом это достигается?

Во-первых, отставив в сторону моральные соображения, заменяя этические средства техническими, не вызывающими эмоций и не затрагивающими личные этические верования, повторяя про себя то, что постоянно твердят им облеченные властью и все окружающие: «Дело не в работе, которую я люблю или не люблю. Просто я каждую работу стараюсь выполнять максимально профессионально. Если они отменят смертную казнь, это их дело. Если завтра нам придется казнить десятых, это тоже не мое дело», – говорит один из тюремщиков. «Все делается профессионально, это не игра. Все делается в соответствии с предписаниями. Вовремя. Так, как положено», – говорит другой.

Во-вторых, все эти люди участвуют в убийстве, однако ни один из них не является убийцей (или скорее не должен чувствовать себя убийцей). Нужно всего лишь пальцем нажать на кнопку. Как пишет Джонсон, «члены команды, осуществляющей казнь, говорят о себе... как просто о “команде”». Сознание того, что работаешь «в команде», спасительно: убивает команда, при этом ни один из ее членов не является убийцей. Джонсон цитирует слова тюремщика: «Мы можем честно сказать, что мы этого не делаем». Как заметила Ханна Арендт, ответственность – нефиксированная вещь, понятие, которое «отпускается в свободное плавание». А отпущенная на свободу ответственность – это ничья ответственность.

В-третьих, ни один из членов осуществляющей казнь команды не делает свою работу из любви к убийству, даже не из симпатии к смертной казни. Мотивы или их отсутствие не имеют никакого отношения к происходящему. «Лишь немногие из команды прямо и безоговорочно поддерживают смертную казнь», – замечает Джонсон. Объявляя об освободившихся вакансиях, тюремное руководство не пишет о том, что «требуются садисты» или ярые приверженцы «закона и порядка». Сильные эмоции любого вида могут только мешать гладкому прохождению бюрократической процедуры. Безопаснее, и куда более эффективно, отодвинуть эмоции в сторону. Если не отставить эмоции, слишком многое будет зависеть от хаотичных и неподконтрольных бюрократии перепадов настроения. А если действовать по правилам, то результат будет гораздо выше. В бюрократической организации индустрии убийства, как и в любой другой бюрократической

## I ПОСЛЕСЛОВИЕ

организации, личные симпатии и антипатии лучше оставлять в гардеробной.

Некоторые думающие люди среди надзирателей идут на шаг дальше: они определенно и твердо *против* использования людей, в которых они замечают отсутствие стремления как можно лучше выполнить *любую* работу, кроме *этой определенной* работы. «Мне не нужен тот, кому нравится это делать... И если я подозреваю, что кто-то из команды получает от этого удовольствие, я убираю такого из команды... Я предпочитаю думать, что каждый член команды делает это, потому что в этом состоит его долг». Подход этого конкретного надзирателя вполне соответствует духу современности. Когда набирали солдат для *Einsatzgruppen*, которым было приказано вылавливать и расстреливать на месте всех коммунистов и евреев на захваченных советских территориях, особый упор делался на то, чтобы не включать в них ярких антисемитов и людей с садистскими наклонностями. Сила современных методов и средств состоит именно в том, что успех предприятия *не зависит* от наличия или отсутствия личного чувства.

Современность не достигла бы того, чего она достигла, если бы опиралась на иррациональные, причудливые и глубоко несовременные человеческие страсти. Вместо этого она опирается на разделение труда, науку, технологию, научную организацию труда и возможность рационального подсчета затрат и результатов – а это все совершенно неэмоциональные вещи. Замечательное исследование Стивена Тромбли<sup>21</sup> говорит об «индустрии казни» то, что говорили о нацистской индустрии убийств Гетц Али и Сюзанна Хайм: вне всякого сомнения, такое устройство дел, при котором в современном обществе возможно массовое или регулярное убийство, неотличимо от такого устройства, при котором возможно массовое производство и постоянная технологическая рационализация. Али и Хайм представили документы касательно ключевой роли, которую играли высококлассные специалисты – инженеры, архитекторы, конструкторы, медики, психологи и бесчисленное множество представителей других профессий – в том, что массовое уничтожение стало возможным в масштабах, дотоле неслыханных<sup>22</sup>. А из подтвержденной документами истории электрического стула, написанной Тромбли, мы знаем, что первая казнь на нем (казненного звали Уильям Кеммлер, казнь состоялась 6 августа 1890 года в нью-йоркской тюрьме «Оберн»)\* «возбудила огромный интерес

---

\* По другим данным, казнь состоялась 7 июля 1890 года.



среди медицинских работников, и из двадцати пяти свидетелей казни Кеммлера четырнадцать были врачами». Мы также знаем, что изобретение электрического стула вызвало серьезные научные дебаты по поводу преимуществ переменного или постоянного тока и обернулось публичной склокой между такими столпами современной технологии, как Томас Эдисон и Джордж Вестингауз. А еще мы знаем, что уважаемые члены комиссии губернатора Хилла, которым было поручено найти приемлемый метод казни, вняли доводам науки и прогресса: их убедило то, что электричество («невидимая и еще не до конца понятая форма энергии) – по сути своей – современно», оно также было чистым и, как обещали им, дешевым – и члены комиссии были должным образом впечатлены.

Исследования и Джонсона, и Тромбли бесценны: дело не только в информации, которая в них содержится, но также – а, может, прежде всего – в их понимании современного человеческого поведения и того, как действует современное общество. Образ его действий отбрасывает как излишние соображения этику и моральные побуждения, и в этих исследованиях показано, каким образом достигается то, что они становятся излишними. Они также демонстрируют достижения такого отбрасывания – действительно, опираясь на человеческие мотивации и импульсы, таких успехов по части немедленной прибыли и полезного использования ресурсов достичь вряд ли бы удалось. Участники операций по умерщвлению и легионы ученых и инженеров, поставляющих им орудия и разрабатывающих процедуры этих операций, люди не злые. Злые люди совершают свои злые действия во все времена. Но таких людей немного, они неуправляемы, они – по современным стандартам – «безумны». Возможно, это единственное уникальное достижение современной цивилизации – дать возможность обычным людям, «надежным исполнителям», внести свой вклад в убийства – и сделать эти убийства более всеобъемлющими, аккуратными, «морально незараженными» (антисептическими) и эффективными, как никогда ранее.

## Современность против homo sacer

Как отметил недавно, говоря о Франции, Энцо Траверсо, причины холокоста в целом и той «стены равнодушия», которая окружала массовое уничтожение французских евреев, следует искать не в «еврейском вопросе», как полагал Жан-Поль Сартр, и

даже не в обстоятельствах самого геноцида, а в том, каким было общество во Франции накануне прихода правительства Виши<sup>23</sup>. В любом обществе существуют нежелательные чужаки, и в любом обществе находятся люди, которые хотят, чтобы этих чужаков не было, но далеко не в любом обществе может произойти геноцид по отношению к чужакам. Наличие в обществе определенного количества ненавистников евреев не является единственным, даже не необходимым и уж точно не достаточным условием, делающим возможным геноцид.

Ханна Арендт уже давно отметила, что в феномене холокоста антисемитизмом можно объяснить лишь выбор жертв, но не природу преступления. И с тех пор ничего, что могло бы опровергнуть ее вердикт, не произошло – напротив, солидные мемуары Примо Леви, монументальное историческое исследование Рауля Хильберга и обширные документальные свидетельства, собранные Клодом Ланцманом, только подтверждают этот вердикт.

Недавно к списку людей, пытающихся постичь тайну геноцида, добавился еще один серьезный исследователь – итальянский философ Джорджо Агамбен<sup>24</sup>. Агамбен вспомнил юридическую концепцию *homo sacer*\*, выработанную в архаичном римском праве: такое человеческое существо можно безнаказанно убить, однако – поскольку он абсолютно Другой, чужак, даже и не человек вовсе, – его нельзя использовать в ритуальном религиозном жертвоприношении, его убийство не имеет никакого религиозного значения. *Homo sacer* был совершенно «бесполезным», находился вне человеческого общества и был исключен из всех обязательств и прочих соображений, присущих другим людям в силу их человечности. Жизнь *homo sacer* была «неприкрытой» – то есть он был лишен всех социальных и политических прав, он был ничем не защищен и представлял собой легкую добычу для каждого отчаявшегося садиста или убийцы, но также и рекомендованную добычу для всех, кто жаждал подладиться к обществу или потренироваться в исполнении гражданского долга.

Но фигура *homo sacer* была юридической конструкцией. И как каждая юридическая конструкция, она апеллировала к лояльности и дисциплине законопослушных субъектов, а не к их верованиям и чувствам. Как все юридические конструкции, она не принимала во внимание или откладывала чувства и

---

\* Имеется в виду сакральная фигура преступника – латинская правовая формула наказания из Законов Двенадцати таблиц – *sacer esto*, «да будет посвящен божеству», «да подлежит закланию».

## I ПОСЛЕСЛОВИЕ

личные убеждения, так же, как и этические ощущения, и когда требовались определенные действия, все это становилось нерелевантным. Суть закона состоит в том, что он предполагает подчинение *независимо* от того, нравится он или не нравится законопослушной личности, или у нее нет по его поводу вообще никаких чувств. Эта конкретная юридическая конструкция *homo sacer* была в римской юридической практике исключительной, маргинальной и почти пустой категорией. Но, как указывает Агамбен, в современном обществе дело обстоит совершенно иначе.

Это верно, что в современном законе концепция *homo sacer* отсутствует и практически забыта. Но, приобретя монополию на средства принуждения и насилия, на прерогативу даровать или отказывать в праве на жизнь, на контроль за телами и предметами, включая право причинять боль, государство превратило то, что прежде было исключительной категорией, в потенциально универсальный аспект существования субъекта: ради того, чтобы подкрепить ставшую рутинной прерогативу, уже нет нужды прибегать к особой, исключительной категории. Концентрационные лагеря, еще одно злое изобретение современности, были тем пространством, где то, что в других частях государства существовало как возможность, осуществлялось на практике и считалось нормой.

Невидимое присутствие *homo sacer* как потенциала современного государства – потенциала, способного воплотиться в реальность «при соответствующих условиях», – еще раз подчеркивает наиболее ужасающий и по-прежнему наиболее актуальный аспект «опыта холокоста»: в нашем современном государстве люди, которые не являются моральными уродами и не страдают предубеждениями, могут с энтузиазмом и увлеченностью участвовать в уничтожении «предназначенной для уничтожения», «целевой» категории человеческих существ, и такое участие приводит к ситуации, далекой от того, чтобы взывать к мобилизации их моральных или иных убеждений, а, напротив, требует приостановки таких убеждений, их стирания и нерелевантности.

Вот в этом и заключается самый главный урок холокоста, который нам надлежит усвоить и запомнить. Если Оруэлл, говоря, что тот, кто управляет прошлым, управляет и будущим, прав, то ради будущего необходимо, чтобы тем, кто управляет настоящим, не было позволено манипулировать прошлым. Иначе будущее станет слишком негостеприимным для человечества, а то и вовсе таким, в котором невозможно жить.

# ПРИМЕЧАНИЯ

## ОТ АВТОРА

1. *David G. Roskies*. *Against the Apocalypse, Response to Catastrophe in Modern Jewish Culture*. – Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1984. – P. 252.
2. *Cynthia Ozick*. *Art and Ardour*. – New York: Dutton, 1984. – P. 236.
3. Сравните: *Steven Beller*. *Shading Light on the Nazi Darkness*. – *Jewish Quarterly*, Winter 1988–1999. – P. 36.
4. *Janina Bauman*. *Winter in the Morning*. – London: Virago Press, 1986. – P. 1.

## ГЛАВА 1

1. *Konrad Lorenz*. *On Aggression*. – New York: Harcourt, Brace and World, 1977; *Arthur Koestler*. *Janus: a Summing Up*. – London: Hutchinson, 1978. Среди многих теорий, которые пытаются объяснить холокост несовершенством человеческой природы, особое место занимает книга *Charny I. W. How Can we Commit the Unthinkable?* (Boulder: Westview Press, 1982). В книге содержится всеобъемлющий обзор взглядов на человеческую природу и рассматриваются такие гипотезы, как, например, гипотеза о том, что «человек по натуре зол», «тенденция опьянения властью», «проецирование того, что мы сами не в состоянии выдержать, на козла отпущения», «уничтожение человеческого в другом, чтобы сбросить его в себе». *Wendy Stellar Flory* в статье «The Psychology of Antisemitism» в «Antisemitism in the Contemporary World» под редакцией Майкла Кёртиса (Boulder: Westview Press, 1986) объясня-

ет размах холокоста упорством антисемитизма, антисемитизм – вездесущими предрассудками, предрассудки – наиболее основным и интуитивным из всех человеческих устремлений – эгоизмом, что, в свою очередь, объясняется как результат «еще одного человеческого свойства... – гордости, которая заставляет идти на что угодно, лишь бы не признаться самому себе, что ты был не прав» (Р. 240). Флори заявляет, что для предотвращения деструктивных эффектов со стороны предрассудков общество требует, чтобы их «(как это бывает с другими проявлениями эгоизма) жестко отслеживали и подавляли» (Р. 249).

2. Например: «Анжела Дэвис превратилась в еврейскую домохозяйку на пути в Дахау; урезание пособий на продукты питания становится упражнением в геноциде; вьетнамцы, бегущие на лодках, становятся злополучными еврейскими беженцами 1930-х годов». *Henry L. Feingold. How Unique is the Holocaust? // Genocide: Critical Issues of the Holocaust / Ed. by Alex Grobman, Daniel Landes. – Los Angeles: The Simon Wiesenthal Centre, 1983. – P. 398.*
3. *George M. Kren, Leon Rappoport. The Holocaust and the Crisis of Human Behaviour. – New York: Holmes & Meier, 1980. – P. 2.*
4. *Everett C. Hughes. Good people and Dirty Work. – Social Problems, Summer 1962. Pp. 3–10.*
5. *Helen Fein. Accounting for Genocide: National Response and Jewish Victimization during the Holocaust. – New York: Free Press, 1979.*
6. *Ibid. P. 34.*
7. *Nechama Tec. When Light Pierced the Darkness. – Oxford: Oxford University Press, 1986. – P. 193.*
8. *John K. Roth. Holocaust Business. – Annals of AAPSS, № 450, July 1980. – P. 70.*
9. *Henry L. Feingold. Op. cit. – Pp. 399–400.*
10. *Edmund Stillman, William Pfaff. The Politics of Hysteria. – New York: Harper & Row, 1964. – P. 30–31.*
11. *Raoul Hilberg. The Destruction of the European Jews. – New York: Holmes & Meier, 1983. – Vol. III. – P. 994.*
12. *Richard L. Rubenstein. The Cunning of History. – New York: Harper, 1978. – Pp. 91, 195.*
13. *Western Society after the Holocaust / Ed. by Lyman H. Legters. – Boulder: Westview Press, 1983.*
14. Как сказал бывший министр иностранных дел Израиля Абба Эбан, «Для господина Бегина и его когорты каждый враг становится «нацистом», а каждый удар – «Освенцимом». Далее Эбан говорит: «Пришло время нам стоять на своих собственных ногах, а не на ногах шести миллионов убитых». Quoted after: *Michael R. Marrus. Is there a New Antisemitism? // Antisemitism in the Contemporary World / Ed. by Michael Curtis. – Pp. 177–178. Утверждения «в стиле Бегина» порождают соответствующий отклик:*

## I ПРИМЕЧАНИЯ

- так, в «Лос-Анджелес таймс» Бегину приписали «язык Гитлера», в то время как другой американский журналист пишет о глазах арабов-палестинцев, глядящих на него из-под фотографий еврейских детей, идущих в газовые камеры: Edward Alexander в «Antisemitism in the Modern World».
15. *George M. Kren, Leon Rappoport*. Op. cit. – Pp. 126, 143.
16. *Leo Kuper*. Genocide: Its Political Use in the Twentieth Century. – New Haven: Yale University Press, 1981. – P. 161.
17. *Christopher R. Browning*. The German Bureaucracy and the Holocaust // Genocide: Critical Issues of the Holocaust / Ed. by Alex Grobman, Daniel Landes. – P. 148.
18. *Leo Kuper*. Op. cit. – P. 121.
19. *H. H. Gerth & C. Wright Mills* (eds.), From Max Weber. – London: Routledge & Kegan Paul, 1970. – Pp. 214, 215. В своем всестороннем обзоре оценок отношения к холокосту со стороны историков (The Holocaust and the Historians. – Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1981) Люси Давидович (*Lucy S. Dawidowicz*) возражает против приравнивания холокоста к другим случаям массовых убийств, как, например, Хиросима и Нагасаки: «Целью бомбардировок была демонстрация превосходящей военной мощи Америки», бомбардировка «не была мотивирована желанием стереть с лица земли японский народ» (p. 17–18). Наблюдение очевидное и соответствует истине, однако Давидович упускает один важный пункт: уничтожение двухсот тысяч японцев было задумано (и воплощено) как эффективное средство для достижения поставленной цели; оно было результатом рациональной, нацеленной на решение проблем, ментальности.
20. Cf.: *Karl A. Schleuner*. The Twisted Road to Auschwitz. – University of Illinois Press, 1970.
21. *Michael R. Marrus*. The Holocaust in History. – London: University Press of New England, 1987. – P. 41.
22. *Gerth & Mills*, From Max Weber. – P. 232.
23. *Browning*. The German Bureaucracy. – P. 147.
24. *Kren & Rappoport*. The Holocaust and the Crisis. – P. 70.
25. *Hanna Arendt*. Eichmann in Jerusalem: a Report on the Banality of Evil. – New York: Viking Press, 1964. – P. 106.
26. *Arendt*. Eichmann in Jerusalem. – P. 69.
27. *Hilberg*. The Destruction of the European Jews. – P. 1011.
28. *Herbert C. Kelman*. Violence without Moral Restraint. – Journal of Social Issues. – Vol. 29 (1973). – Pp. 29–61.
29. *Gerth & Mills*, From Max Weber, p. 95. Во время процесса Эйхман утверждал, что он не просто подчинялся приказам – он следовал закону. Арендт так прокомментировала эти его заявления: он (и не только он) спародировал категорический императив Канта, который – в его интерпретации – превратился из автономии ин-

## I ПРИМЕЧАНИЯ

- дивидуума в подчинение бюрократической субординации: «Действовать так, словно принцип твоего действия совпадает с принципами законодателя или закона страны»: *Arendt, Eichmann in Jerusalem*, p. 136.
30. Quoted after: *Robert Wolfe*. Putative Threat to National Security at a Nurenberg Defence for Genocide. – *Annals of AAPSS*. – No. 450 (July 1980). – P. 64.
31. *Hilberg*. The Destruction of the European Jews. – Pp. 1036–1038, 1042.
32. *Hilberg*. The Destruction of the European Jews. – P. 1024.
33. *John Lachs*. Responsibility of the Individual in Modern Society. – Brighton: Harvester, 1981. – Pp. 12–13, 58.
34. *Philip Caputo*. A Rumour of War. – New York: Holt, Rinehart & Winston, 1977. – P. 229.
35. *Fein*. Accounting for Genocide. – P. 4.
36. *Hilberg*. The Destruction of the European Jews. – P. 1044.
37. *Franklin M. Littell*. Fundamentals in Holocaust Studies. – *Annals of AAPSS*. – No. 450 (July 1980). – P. 213.
38. *Colin Gray*. The Soviet-American Arms Race. – Lexington: Saxon House, 1976. – Pp. 39, 40.

## ГЛАВА 2

1. *Harry L. Feingold*. Menorah. – Judaic Studies Programme of Virginia Commonwealth University. – No. 4 (Summer 1985). – P. 2.
2. *Norman Cohn*. Warrant for Genocide. – London: Eyre & Spottiswoode, 1967. – Pp. 267–268.
3. *Feingold*. Menorah. – P. 5.
4. *Walter Laqueur*. Terrible Secret. – Harmondsworth: Penguin Books, 1980.
5. *Cohn*. Warrant for Genocide. – Pp. 266–267.
6. Более полно я осветил этот вопрос в работе “Exit Visas and Entry Tickets”, *Telos*, Winter 1988.
7. *Eberhard Jackel*. Hitler in History. – Boston: University Press of New England, 1964.
8. Cf.: *Hitler’s Secret Book*. – London: Grove Press, 1964.
9. *Cohn*. Warrant for Genocide. – P. 252.
10. Quoted after: *Walter Laqueur*. A History of Zionism. – New York, 1972. – P. 188.
11. Max Weinreich, *Hitler’s Professors: The Part of Scholarship in Germany’s Crimes against the Jewish People*. – New York: Yiddish Scientific Institute, 1946. – P. 28.
12. *W. D. Rubinstein*. The Left, the Right, and the Jews. – London: Croom Helm, 1982. – Pp. 78–79. Я бы иначе сформулировал это наблюдение.

ние: результатом соединения различных видов антисемитизма стала не особая жестокость, а именно феномен антисемитизма, который вырос из соединения взглядов.

Следует подчеркнуть, что противоречивый общественный статус евреев, который существовал вплоть до Второй мировой войны, в настоящее время быстро исчезает практически во всех процветающих западных странах – и последствия этого трудно предвидеть или просчитать. Рубинштейн приводит убедительные статистические доказательства массированного перемещения евреев на более высокую ступеньку социальной лестницы, где располагается «высший средний класс». Экономический успех вкупе с устранением политических ограничений находит свое отражение в политическом профиле евреев: сегодня евреи, в большинстве своем, придерживаются консервативных взглядов (р. 118), «не все неоконсерваторы – евреи, но большинство их лидеров – евреи» (р. 124); прежде либерально-прогрессивное издание *Commentary* превратилось в воинствующий орган американских правых; роман между еврейским истеблишментом и правыми фундаменталистами становится все горячее. На недавнем симпозиуме «Конец прекрасной дружбы» между евреями и социализмом (смотри: *The Jewish Quarterly*, no. 2 (1988)), Мелани Филипс признается:

«Я с превеликим удовольствием говорю моим социалистическим друзьям: “Я принадлежу к этническому меньшинству”, и в ответ они заходятся в истерике. Как такое может быть? Я же обладаю властью! Среди социалистов принято считать, что евреи находятся на властных позициях. Они же входят в правительство, не так ли? Они же управляют многим, например, управляют индустрией, владеют землей». Джордж Фридман риторически вопрошает: «Евреи – члены правительства ассоциировались с довольно непопулярными политическими решениями. И когда существующее недовольство в конце концов хлынет наружу... что с ними тогда произойдет? Где в это время будет находиться еврейское сообщество и как отразится на нем коллапс и фрустрация рабочего класса этой страны?»

Интересно отметить, что социальное положение немецких евреев в период, непосредственно предшествовавший нацистскому, было весьма близким к настоящим моделям, типичным для западных стран, и в особенности для Соединенных Штатов. Около трех четвертей тогдашних немецких евреев зарабатывали на жизнь торговлей, коммерцией, банковским делом, а также владели хорошо оплачиваемыми профессиями, в особенности в области медицины и юриспруденции (в отличие от всего одной четверти нееврейского населения). Что делало евреев особенно заметными, так это их доминирующее присутствие в издательском деле, культуре и журналистике («Еврейские журналисты преобладали практиче-



ски во всем спектре либеральной и левой прессы» – *Donald L. Niewyk*. *The Jews in Weimar Germany*. – Manchester: Manchester University Press, 1980. – P. 15). И по своим классовым взглядам немецкие евреи тяготели, вместе со всем средним классом, к консервативной части политического спектра. А если, вопреки этому тяготению, они сохраняли ярко выраженную привязанность к либеральным программам и партиям, то только потому, что немецкие правые были явными антисемитами и твердо противостояли продвижению в свои ряды евреев.

13. *Anna Zuk*. "A mobile class. The subjective element in the social perception of Jews: the example of eighteenth century Poland", in *Polin*, vol. 2. – Oxford: Basil Blackwell, 1987. – Pp. 163–178.
14. Cf.: *Zygmunt Bauman*. *Legislators and Interpreters*. – Oxford: Polity Press, 1987.
15. Quoted after: *George L. Mosse*. *Toward the Final Solution: A History of European Racism*. – London: J. M. Dent & Son, 1978. – P. 154.
16. *Joseph Marcus*. *Social and Political History of the Jews in Poland 1919–1939*. – Berlin: Mouton, 1983. – Pp. 97–98.
17. *David Biale*. *Power and Powerlessness in Jewish History*. – New York: Schocken, 1986. – P. 132.
18. Цит. по: *Арендт Х.* Истоки тоталитаризма / Пер. И. В. Борисовой, Ю. А. Кимелева, А. Д. Ковалева, Ю. Б. Мишкенене, Л. А. Седова / Под ред. М. С. Ковалевой, Д. М. Носова. – М.: ЦентрКом, 1996. – С. 49.
19. *P. G. J. Pulzer*. *The Rise of Political Antisemitism in Germany and Austria*. – New York: John Wiley & Sons, 1964. – P. 311, 331.
20. *Арендт Х.* Цит. соч. – С. 56.
21. Там же. – С. 59.
22. *Jacob Katz*. *From Prejudice to Destruction: Anti-Semitism 1700–1933*. – Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1980. – Pp. 161, 87.
23. *Pulzer*. *Rise of Political Antisemitism*. – Pp. 138–139. Понять затруднения, с которыми сталкивались евреи, можно на следующих примерах: «В Восточной Галиции и на литовско-белорусской границе ситуация была еще более сложной и опасной, поскольку здесь евреи оказались заложниками противоборствующих национальных устремлений, как это происходило в других этнически смешанных регионах Восточной Европы, таких как Трансильвания, Богемия и Моравия, Словакия. В Восточной Галиции еврейское население четко идентифицировалось с польской культурой и, по молчаливому согласию, с политическим господством поляков в предвоенный период. Многие из них не знали украинского языка или относились к нему презрительно, украинские национальные устремления оставляли их равнодушными. С другой стороны, в недолго просуществовавшей Западно-Украинской Республике, провозглашенной во Львове осенью 1918 года,

евреям обещали равные права и национальную автономию, в то время как поляки, проживавшие в этом регионе, и не пытались скрывать своих антисемитских настроений. Не зная, кто победит в этом противостоянии, и не желая портить отношения ни с поляками, ни с украинцами, Еврейский национальный совет провозгласил нейтралитет... Некоторые поляки увидели в этом признаки проукраинских настроений и отыгрались на львовских евреях после того, как в ноябре 1918 года захватили Львов. Украинцы также поставили евреям в вину их нейтралитет, интерпретируя его как продолжение традиционных еврейских пропольских взглядов» (*Ezra Mendelsohn. The Jews of East-Central Europe Between the World Wars. – Bloomington: Indiana University Press, 1983. – Pp. 51–52*). История повторилась почти до мелочей во время Второй мировой войны. Евреи Восточной Польши приветствовали вхождение Красной Армии в 1939 году – они видели в ней защиту от все более яростного антисемитизма нацистов. А те немногие евреи, которые остались в живых после нацистской оккупации Польши, видели в продвигавшихся на Запад советских войсках несомненных освободителей. Для многих же поляков и немцы, и русские были прежде всего иностранными оккупантами.

24. *Geoff Dench. Minorities in the Open Society: Prisoners of Ambivalence. – London: RKP, 1986. – P. 259.*
25. *Katz. From Prejudice to Destruction. – P. 3.*
26. *Patrick Girard. "Historical Foundations of Antisemitism", in Survivors, Victims, and Perpetrators: Essays on the Nazi Holocaust, ed. Joel E. Dinsdale. – Washington: Hemisphere Publishing Company, 1980. – Pp. 70–71.* Пьер-Андре Тагиефф недавно опубликовал обширное исследование социопсихологических основ расизма и связанных с ним явлений, среди них центральную роль играет презрительное отношение к *metisage* (смешанным кровям). Полукровки в значительной мере отличаются от, на первый взгляд, сходных случаев «размывания границ». В качестве социальных изгоев деклассированные индивидуумы являются, если можно так сказать, и декатегоризированными, в то время как иммигранты имеют тенденцию быть некатегоризированными (они существуют за пределами доминирующих классификаций и таким образом им неподвластны), полукровки же сверхкатегоризированы: они заставляют семантические поля перекрывать друг друга, в то время как эти семантические поля должны быть строго соблюдаемы и нерушимы, чтобы доминирующая классификация сохраняла свою силу (см. *La force du prejuge: essai sur le racisme et ses doubles. – Paris: Editions la Decouverte, 1988. – P. 343*).
27. *Арендт Х. Цит. соч. – С. 143.*
28. *J. S. McClelland (ed.). The French Right. – London: Jonathan Cape, 1970. – Pp. 88, 32, 178.*

1. *Pierre-Andre Taguieff*. *La force du prejuge: essai sur le racism et ses Doubles*. – Parish: La Decouverte, 1988.
2. *Taguieff*. *La force du prejudice*. – P. 69–70. Альберт Мемми (*Albert Memmi*. *Le racisme*. – Paris: Gallimard, 1982) считает, что «расизм, а не анти-расизм, поистине универсален» (p. 157), и объясняет секрет его предполагаемой универсальности ссылкой на другую тайну: инстинктивный страх, неминуемо порождаемый любыми различиями. Человек не понимает *другого*, неизвестного, а неизвестное является источником страха. По мнению Мемми, страх перед неизвестным «коренится в истории нашего вида, в ходе которой неизвестное всегда было источником опасности» (p. 208). Из этого, таким образом, следует, что предполагаемая универсальность расизма является продуктом развития вида. А имея такие до-культурные истоки, расизм в основе своей обладает иммунитетом к воспитательным усилиям.
3. *Taguieff*. *La force du prejudice*. – P. 91.
4. *Alfred Rosenberg*. *Selected Writings*. – London: Jonathan Cape, 1970. – P. 196.
5. *Arthur Giitt*. “Population Policy”, in *Germany Speaks*. – London: Thornton Butterworth, 1938. – Pp. 35, 52.
6. *Walter Gross*. “National Socialist Racial Thought”, in *Germany Speaks*. – P. 68.
7. Cf.: *Gerald Fleming*. *Hitler and the Final Solution*. – Oxford: Oxford University Press, 1986. – Pp. 23–25.
8. *Alfred Rosenberg* (ed.). *Dietrich Eckart: Ein Vermachtnis* (Munich: Frz. Eher, 1928). Quoted after: *George L. Mosse*. *Nazi Culture: A Documentary History*. – New York: Schocken Books, 1981. – P. 77.
9. *George L. Mosse*. *Toward the Final Solution: A History of European Racism*. – London: J. M. Dent & Son, 1978. – P. 2.
10. *Mosse*. *Toward the Final Solution*. – P. 20.
11. *Mosse*. *Toward the Final Solution*. – P. 53.
12. *Max Weinreich*, *Hitler’s Professors: The Part of Scholarship in Germany’s Crimes against the Jewish People*. – New York: Yiddish Scientific Institute, 1946. – Pp. 56, 33.
13. *H. R. Trevor-Roper*. *Hitler’s Table Talk*. – London, 1953. – P. 332.
14. *Norman Cohn*. *Warrant for Genocide*. – London: Eyre & Spottiswoode, 1967. – P. 87. Это достаточное свидетельство того, что язык, которым пользовался Гитлер при обсуждении «еврейского вопроса», был избран им не только в риторических или пропагандистских целях. Подход Гитлера к евреям был скорее интуитивным, нежели интеллектуальным. Он действительно относился к «еврейскому вопросу» как к вопросу скорее гигиеническому – он был одержим гигиеной и всем, что с нею связано. Гитлер обладал поистине пу-

ританской чувствительностью ко всему, что связано с гигиеной и здоровьем, и понять, из чего проистекает такое его отвращение к евреям, можно, если вспомнить ответ, который он дал в 1922 году на вопрос, заданный его другом Йозефом Хеллом: что бы он сделал с евреями, обладай он полнотой власти? Пообещав повесить всех мюнхенских евреев на виселицах, воздвигнутых вокруг всей Мариенплац, Гитлер не забыл подчеркнуть, что евреи будут висеть так долго, «пока не завоняются, пока позволят принципы гигиены» (quoted after: *Fleming. Hitler and the Final Solution*. – P. 17). Позвольте добавить, что эти слова были произнесены с яростью, «в состоянии пароксизма», которое Гитлер в себе явно не контролировал, но и тогда – или в особенности в этом случае – проявился тот самый культ гигиены и здоровья, который прочно засел у Гитлера в голове.

15. *Marlis G. Steinert. Hitler's War and the Germans: Public Mood and Attitude during the Second World War*, trans. Thomas E. J. de Witt. – Athens, Ohio: Ohio University Press, 1977. – P. 137.
16. *Raoul Hilberg. The Destruction of The European Jews*. – New York: Holmes & Meiar, 1983. – Vol. III. – P. 1023.
17. *Weinreich, Hitler's Professors*, pp. 31–33, 34. Традиции скотоводства и другие усилия по биологическим манипуляциям использовались национал-социалистской наукой не только для решения «еврейского вопроса». Они служили источником вдохновения для всей социальной политики нацистов. Андреас Вальтнер, профессор социологии Гамбургского университета и ведущий социолог-урбанист нацистской Германии, говорил, что «человеческую натуру нельзя изменить образованием и влиянием окружающей среды... Национал-социализм не повторит грубые ошибки прошлого по улучшению урбанистической среды, сводящиеся исключительно к строительству зданий и гигиеническим усовершенствованиям. Социологические исследования покажут, кого следует спасать... Те же, кто безнадежны, должны быть уничтожены...» *Neue Wege zur Grosstadtsanierung* (Stuttgart, 1936), p. 4. Цит. по: *Stanislaw Tyrowicz. S'wiatto wiedzy zdeprawowanej*. – Poznan: Instytut Zachodni, 1970. – P. 53.
18. *George L. Mosse. Toward the Final Solution*. – P. 134.
19. *Арендт Х.* Цит. соч. – С. 143.
20. *Diary of Joseph Goebbels*, in *Survivors, Victims, and Perpetrators: Essayson the Nazi Holocaust*, ed. Joel E. Dinsdale. – Washington: Hemisphere Publishing Company, 1980. – P. 311.
21. *John R. Sabini & Maury Silver. "Destroying the Innocent with a Clear Conscience: A Sociopsychology of the Holocaust"*, in *Survivors, Victims, and the Perpetrators*, p. 329.
22. *Richard Grünberger. A Social History of the Third Reich*. – London: Weidenfeld & Nicholson, 1971. – P. 460.

## I ПРИМЕЧАНИЯ

23. *Lawrence Stokes*. "The German People and the Destruction of the European Jewry", *Central European History*, no. 2 (1973). – Pp. 167–191.
24. Quoted after: *Sarah Gordon*. *Hitler, Germans, and the 'Jewish Question'*. – Princeton: Princeton University Press, 1984. – Pp. 159–160.
25. Cf.: *Gordon*. *Hitler, Germans*. – P. 171.
26. *Christopher R. Browning*. *Fateful Months*. – New York: Holmes & Meier, 1985. P. 106.
27. *Le dossier Eichmann et la solution finale de la question juive*. – Paris: Centre de documentation juive contemporaine, 1960. – Pp. 52–53.
28. *Gordon*. *Hitler, Germans*. – P. 316.
29. *Klaus von Beyme*. *Right-Wing Extremism in Western Europe*. – London: Frank Cass, 1988. – P. 5. В своем недавнем исследовании Мишель Бальфур описал условия и мотивы, которые побудили различные страты Веймарской республики выказать горячую, среднюю или прохладную поддержку стремлениям нацистов к власти или, по крайней мере, воздерживаться от активного сопротивления. Перечислены многие причины, как общие, так и специфические для отдельных групп населения. Однако открытая поддержка нацистского антисемитизма была продемонстрирована лишь в одном случае – среди образованной части обере Mittelstand, которые видели угрозу в «диспропорциональном соперничестве» евреев. Но даже и в этом случае этот фактор был лишь одним из многих факторов, которые казались привлекательными, или, по меньшей мере, которые стоило испробовать в ходе нацистской программы социальной революции.  
Cf.: *Withstanding Hitler in Germany 1933–1945*. – London: Routledge, 1988. – Pp. 10–28.
30. Cf.: *Bernd Martin*. 'Antisemitism before and after Holocaust', in *Jews, Antisemitism and Culture in Vienna*, ed. Ivor Oxaal. – London: Michael Pollak and Gerhard Botz, 1987.
31. *Jewish Chronicle*, 15 July 1988. – P. 2.
32. Cf.: *Gerard Fuchs*. *Us reteront: le difi de l'immigration*. – Paris: Syros, 1987; *Pierre Jouve & Ali Magoudi*. *Les dits et les non-dits de Jean-Marie Le Pen: enquete et psychanalyse*. – Paris: La Decouverte, 1988.

## ГЛАВА 4

1. *Raul Hilberg*. "Significance of the Holocaust", in *The Holocaust: Ideology, Bureaucracy, and Genocide*, ed. Henry Friedlander & Sybil Milton. – Millwood, NY: Kraus International Publications, 1980. – Pp. 101–102.
2. Cf.: *Colin Legum* in *The Observer*, 12 October 1966.

## I ПРИМЕЧАНИЯ

3. *Henry L. Feingold*. "How Unique is the Holocaust?" in *Genocide: Critical Issues of the Holocaust*, ed. Alex Grobman & David Landes. – Los Angeles: Simon Wiesenthal Centre, 1983. – P. 397.
4. *Feingold*. "How Unique is the Holocaust?" – P. 401.
5. *Leo Kuper*. *Genocide: Its Political Use in the Twentieth Century*. – New Haven: Yale University Press, 1981. – Pp. 137, 161. Пророчества Купера нашли свое наиболее злое подтверждение в словах иракского посла в Лондоне. В интервью, данном 4 каналу 2 сентября 1988 года по поводу продолжающегося геноцида иракских курдов, посол гневно воскликнул, что курды, их благосостояние и их судьба являются внутренним делом Ирака и никто не имеет права вмешиваться в действия суверенного государства на его собственной территории.
6. *George A. Kren & Leon Rappoport*. *The Holocaust and the Crisis of Human Behaviour*. – New York: Holmes & Meier, 1980. – Pp. 130, 143.
7. *John P. Sabini & Mary Silver*. "Destroying the Innocent with a Clear Conscience: A Sociopsychology of the Holocaust", in *Survivors, Victims, and Perpetrators: Essays in the Nazi Holocaust*, ed. Joel E. Dinsdale. – Washington: Hemisphere Publishing Corporation, 1980. – Pp. 329–330.
8. *Sarah Gordon*. *Hitler, Germans, and the 'Jewish Question'*. – Princeton: Princeton University Press, 1984. – Pp. 48–49.
9. *Kren & Rappoport*. *The Holocaust and the Crisis*. – P. 140.
10. *Joseph Weizenbaum*. *Computer Power and Human Reason: From Judgment to Calculation*. – San Francisco: W. H. Freeman, 1976. – P. 252.
11. *Kren & Rappoport*. *The Holocaust and the Crisis*. – P. 141.
12. *Peter Marsh*. *Aggro: The Illusion of Violence*. – London: J. M. Dent & Sons, 1978. – P. 120.
13. *Norbert Elias*. *The Civilising Process: State Formation and Civilization*, trans. Edmund Jephcott. – Oxford: Basil Blackwell, 1982. – Pp. 238–239.
14. *Robert Proctor*. *Racial Hygiene: Medicine under the Nazis*. – Cambridge Mass.: Harvard University Press, 1988. – P. 4, 6.
15. *Proctor*. *Racial Hygiene*. – Pp. 315–324.
16. *R. W. Darre*. "Marriage Laws and the Principles of Breeding" (1930), in: *Nazi Ideology before 1933: A Documentation*, trans. Barbara Hiller and Leila J. Gupp. – Manchester: Manchester University Press, 1978. – P. 115.
17. *Weizenbaum*. *Computer Power*. – P. 256.
18. *Weizenbaum*. *Computer Power*. – P. 275.
19. *Weizenbaum*. *Computer Power*. – P. 253.
20. *Jacques Ellul*. *Technological System*, trans. Joachim Neugroschel. – New York: Continuum, 1980. – Pp. 272, 273.

1. *Hermann Erich Seifert*. *Der Jude an der Ostgrenze*. – Berlin: Eher, 1940. – P. 82. Quoted after: Max Weinreich, *Hitler's Professors: The Part of Scholarship in Germany's Crimes against the Jewish People*. – New York: Yiddish Scientific Institute, 1946. – P. 91. Отношение к еврейской элите при «окончательном решении еврейского вопроса» значительно отличалось от отношения к элитам захваченных славянских государств, народы которых не должны были уничтожаться, но должны были превратиться в рабов. Например, образованные поляки преследовались и уничтожались с самого первого дня немецкой оккупации, задолго до того, как приступили к уничтожению евреев. Этот факт привел к тому, что польское правительство в изгнании и большинство поляков пришли к ошибочному выводу, будто евреи получили от немцев привилегированный статус по сравнению с их польскими соседями. Cf.: *David Engel*. *In the Shadow of Auschwitz* (University of North Carolina Press, 1987).
2. Quoted after: *Leo Kuper*. *Genocide, Its Political Use in the Twentieth Century*. – New Haven: Yale University Press, 1981. – P. 127.
3. *Richard Grünberger*. *A Social History of the Third Reich*. – London: Weidenfeld & Nicholson, 1971. – P. 466.
4. Cf.: *Hans Mommsen*. “Anti-Jewish Politics and the Implications of the Holocaust”, in *The Challenge of the Third Reich: The Adam von Trotta Memorial Lectures*, ed. Hedley Bull. – Oxford: Clarendon Press, 1986. – P. 122–128.
5. *Ian Kershaw*. *Popular Opinion and Political Dissent in the Third Reich*. – Oxford: Clarendon Press, 1983. – Pp. 359, 364, 372.
6. *Franklin H. Littell*. “The Credibility Crisis of the Modern University”, in *The Holocaust: Ideology, Bureaucracy, and Genocide*, ed. Henry Friedlander & Lythel Milton. – Millwood, NY: Kraus International Publications, 1980. – Pp. 274, 277, 272.
7. *Alan Beyerchen*. “The Physical Sciences”, in *The Holocaust: Ideology, Bureaucracy, and Genocide*. – Pp. 158–159.
8. *Leon Poliakov*. *The History of Antisemitism*. – Oxford: Oxford University Press, 1985. – Vol. IV.
9. *Joachim, C. Fest*. *The Face of the Third Reich*, trans. Michael Bullock. – Harmondsworth: Penguin Books, 1985. – P. 394.
10. *Richard Grünberger*. *A Social History of the Third Reich*. – P. 313.
11. *Norman Cohen*. *Warrant for Genocide*. – London: Eyre & Spottiswoode, 1967. – P. 268.
12. *Raul Hilberg*. *The Destruction of the European Jews*. – New York: Holmes & Meier, 1985. – Vol. I. – Pp. 78–79, 76.
13. *Hanna Arendt*. *Eichmann in Jerusalem*. – New York: Viking Press, 1964. – P. 132.

## I ПРИМЕЧАНИЯ

14. *Arendt. Eichmann in Jerusalem*, p. 118. Это суждение не было полностью фантастическим: оно отражало давнюю традицию взглядов и практик правящей элиты, которые только Гитлер и Гиммлер – не без некоторого сопротивления их сторонников – решились опровергнуть. Даже 16 декабря 1941 года Вильгельм Кубе, испытанный, беспринципный и закаленный нацистский сановник, обратился с петицией к властям предрержащим в защиту немецких евреев во вверенной ему территории: «Люди, которые вышли из нашей культурной среды, совершенно отличны, смею я утверждать, от жестоких народных орд» (quoted after: Weinreich, *Hitler's Professors*, p. 155). Существует и странный документ, выпущенный Секретной службой безопасности в Берлине 1 марта 1940 года, авторство которого приписывается доктору Артуру Шпиеру, директору Гамбургской школы по изучению Талмуда и Торы, в котором предлагается «создать в еврейской резервации в Польше (тогда ее собирались создавать возле Ниско) систему общего еврейского образования, сходную с аналогичной системой, принятой в рейхе». То есть предлагалось создать систему образования для «низших евреев», не затронутых немецкой культурой: *Solomon Colodner. Jewish Education in Germany under the Nazis*. – Jewish Education Committee Press, 1964. – Pp. 33–34.
15. Quoted after: *Lucjan Dobroszycki. "Jewish Elites under German Rule"*, in *The Holocaust: Ideology, Bureaucracy, and Genocide*. – P. 223.
16. *Jacques Adier. The Jews of Paris and the Final Solution*. – Oxford: Oxford University Press, 1987. – Pp. 223–224.
17. *Hilberg. The Destruction of the European Jews*. – Vol. III. – P. 1042.
18. *Helen Fein. Accounting for Genocide*. – New York Free Press, 1979. – P. 319.
19. *Isaiah Trunk. Judenrat: The Jewish Councils in Eastern Europe under German Occupation*. – London: Macmillan, 1972. – P. 401.
20. Quoted after: *Trunk. Judenrat*. – P. 407.
21. *Trunk. Judenrat*. – Pp. 418, 419.
22. Как говорил Маймонид, «если язычники прикажут им «Отдать одного из ваших и мы убьем его, иначе мы убьем всех вас», лучше пусть будут убиты все, но ни один еврей не будет выдан» *The Fundamentals of the Torah*, 5/5. И также сказано в «Главах Отцов»: «Человек однажды предстал перед ребе и сказал ему: «Правитель моего города приказал мне убить одного человека, а если я откажусь, он убьет меня». И ребе ответил: «Лучше пусть тебя убьют, но не убивай сам; неужто ты полагаешь, что твоя кровь краснее, чем его кровь? Возможно, это его кровь краснее»» (Pes. 25b).  
А «Иерусалимский Талмуд» наставляет: «Группа евреев шла по дороге и некие неевреи встретили их и сказали: «Отдайте нам одного из вас, чтобы мы могли его убить, или мы убьем всех вас!» Но даже если и все они были бы убиты, они не могли выдать одну из



душ Израилевых». Что же касается тех случаев, когда враги сами называли имя определенного человека, которого они хотели наказать, мнения правителей не были единодушными. Но даже и в таких случаях Талмуд советует поступать в свете следующей истории: «Правительство требовало выдать Уллу бар Кошева. Он бежал и нашел прибежище у Рабби Иешуа Бен Леви в Лоде. Правительственные войска окружили город. Они сказали: “Если ты не выдашь нам его, мы разрушим город”. Рабби Иешуа пришел к Улле бар Кошеву и убедил его сдаться. Прежде рабби Иешуа являлся Илия, но с этой минуты он перестал перед ним являться. Рабби Иешуа голодал много дней, и в конце Илия предстал перед ним: “Разве должен я появляться перед доносчиками?” – спросил он. Рабби Иешуа сказал: “Я следую закону”. Илия ответил: “А разве закон для святых писан?”» (Trumot 8:10).

23. Quoted after: *Trunk*. Judenrat. – P. 423.
24. Quoted after: *Trunk*. Judenrat. – P. XXXII.
25. Quoted after: *Trunk*. Jewish Responses to Nazi Persecution: Collective and Individual Behaviour in Extremis. – New York: Stein & Day, 1979. – Pp. 75–76.
26. *Mark Edelman*. Ghetto walczy. – Warsaw: C. K. Bundu, 1945. – Pp. 12–14.
27. *Hilberg*. The Destruction of the European Jews. – Vol. III. – P. 1036.
28. *Wladyslaw Szlengel*. Co czytalem umariym. – Warsaw: PIW, 1979. – Pp. 46, 49, 44.
29. Цит. по: *Trunk*. Judenrat. – Pp. 447–449.

## ГЛАВА 6

1. *Stanley Milgram*. The Individual in a Social World. – Reading, Mass.: Addison and Wesley, 1971. – P. 98.
2. *Richard Christie*. “Authoritarianism Re-examined”, in Studies in the Scope and Method of ‘The Authoritarian Personality’, ed. Richard Christie & Marie Jahoda. – Glencoe, 111.: Free Press, 1954. – P. 194.
3. *Stanley Milgram*. Obedience to Authority: An Experimental View. – London: Tavistock, 1974. – P. XI.
4. *Milgram*. Obedience to Authority. – P. 121.
5. *Milgram*. Obedience to Authority. – P. 39.
6. *John P. Sabini & Maury Silver*. “Destroying the Innocent with a Clear Conscience: A Sociopsychology of the Holocaust”, in Survivors, Victims, and Perpetrators: Essays on the Nazi Holocaust, ed. Joel E. Dinsdale. – Washington: Hemisphere Publishing Corporation, 1980. – P. 342.
7. *Milgram*. Obedience to Authority. – Pp. 142, 146.
8. *Milgram*. Obedience to Authority. – P. 11.

## I ПРИМЕЧАНИЯ

9. *Milgram*. Obedience to Authority. – P. 104.
10. *Milgram*. Obedience to Authority. – P. 133.
11. *Milgram*. Obedience to Authority. – P. 107.
12. *Milgram*. The Individual in a Social World. – Pp. 96–97.
13. *Craig Haney, Curtis Banks & Philip Zimbardo*. “Interpersonal Dynamics in a Simulated Prison”, *International Journal of Criminology and Penology*. – Vol. I (1973). – Pp. 69–97.
14. Cf.: *Amitai A. Etzioni*. “A Model of Significant Research”, *International Journal of Psychiatry*. – Vol. VI (1968). – Pp. 279–280.
15. *John M. Steiner*. “The SS Yesterday and Today: A Sociopsychological View” in *Survivors, Victims, and Perpetrators*. – P. 431.

## ГЛАВА 7

1. Cf.: *Zygmunt Bauman*. *Legislators and Interpreters*. – Oxford: Polity Press, 1987. – Ch. 3, 4.
2. Среди последователей Дюркгейма широко признано, что парадигма «социального производства морали» неприменима лишь к Обществу с большой буквы, то есть к тому, которое подразумевает полностью оснащенное общество национального государства. В таком «великом обществе» признается присутствие более одной авторитетной системы морали; некоторые из них могут даже противостоять системе морали, поддерживаемой институтами «великого общества». Для нашей проблемы, однако, интерес представляют не нравственный монизм или плюрализм, или «великое общество», но тот факт, что, с точки зрения Дюркгейма, любая морально обязывающая норма, пусть даже самая второстепенная в своем применении, должна обладать социальным происхождением и гарантироваться принудительными санкциями общества. Исходя из данной перспективы, аморальность всегда, по определению, является антисоциальной (или, наоборот, асоциальность по определению аморальна); действительно, язык Дюркгейма не позволяет сформулировать другого, кроме социального, происхождения морального поведения. Альтернатива же социально регулируемому поведению порождается нечеловеческими, животными импульсами.
3. *Richard L. Rubenstein*. *The Cunning of History*. – New York: Harper, 1978. – P. 91.
4. *Richard L. Rubenstein & John Roth*. *Approaches to Auschwitz*. – San Francisco: SCM Press, 1987. – P. 324.
5. *Арендт Х.* Эйхман в Иерусалиме. Банальность зла. – New York: Viking Press, 1964. – Pp. 294–295. Германия проиграла войну; поэтому убийства, совершенные по приказу Германии, были определены как преступления и нарушения моральных норм, которые

простираются выше авторитета государственной власти. Советский Союз был среди победителей; а потому и санкционированные его правителями убийства, едва ли менее одиозные, чем немецкие, все еще ожидают подобного рассмотрения – несмотря на беспримерную исследовательскую работу, проделанную в эпоху гласности. Хотя лишь немногие из ужасных тайн сталинского геноцида были раскрыты, мы знаем теперь, что массовые убийства в СССР были не менее систематичными и методичными, чем те, что практиковались позднее немцами, и что техника, использовавшаяся *Einsatzgruppe* изначально и в широком масштабе была опробована грандиозной бюрократией НКВД. В 1988 году, например, в белорусском еженедельнике «Литература и мастацтво» были опубликованы результаты разысканий З. Позняка и Е. Шмыгалева («Куропаты: дорога смерти», позднее переизданные «Советской Эстонией» и «Московскими новостями») о массовых захоронениях, обнаруженных вокруг всех больших городов Белоруссии. В 1937–1940 они были заполнены сотнями тысяч трупов, у каждого из которых были пулевые отверстия в шее или черепе. Рядом с местными «врагами народа» лежат польские граждане, депортированные из недавно аннексированных восточных территорий Польши. «Большинство объектов, найденных в захоронении № 5, скорее всего, принадлежали к интеллигенции. Среди них в больших количествах были найдены туалетные принадлежности, очки, монокли и медикаменты вместе с высококачественной обувью, часто сделанной на заказ, модная дамская обувь, изящные перчатки. Судя по описи найденных предметов и по тому, что во множестве случаев они были аккуратно сложены (как и по другим признакам – наличие запасов еды или чемоданов), можно заключить, что жертвы покинули свои дома незадолго до убийства и не содержались в тюрьмах на пути к смерти. Можно лишь предположить, что их “ликвидировали” (выражаясь популярно) без суда» (цит. по Польскому отчету “Strzelano w tym gtowy”. – Konfrontacje, November 1988. – P. 19). Насколько мы можем судить, результаты исследований двух предприимчивых журналистов – это всего лишь вершина айсберга.

6. *Alfred Schutz*. “Sartre’s Theory of the Alter Ego”, in *Collected Papers*. – Vol. I. – The Haag: Martinus Nijhoff, 1967. – P. 189.
7. *Emmanuel Levinas*. *Ethics and Infinity: Conversations with Philippe Nemo*, trans. Richard A. Cohen. – Pittsburgh: Duquesne University Press, 1982. – Pp. 95–101.
8. *Hans Mommsen*. “Anti-Jewish Politics and the Interpretation of the Holocaust”, in *The Challenge of the Third Reich: The Adam von Trott Memorial Lectures*, ed. Hedley Bull. – Oxford: Clarendon Press, 1986. – P. 117.
9. *Arendt*. *Eichmann in Jerusalem*. – P. 106.

## I ПРИМЕЧАНИЯ

10. *Martin Broszat*. "The Third Reich and the German People", in *The Challenge of the Third Reich*. – P. 90.
11. Cf.: *Karl A. Schleunes*. *The Twisted Road to Auschwitz: Nazi Policy Toward German Jews 1933–1939*. – University of Illinois Press, 1970. – Pp. 80–88.
12. Cf.: *Ian Kershaw*. *Popular Opinion and Political Dissent in the Third Reich*. – Oxford: Clarendon Press, 1983.
13. *Dennis E. Showalter*. *Little Man, What Now?* – New York: Archon Books, 1982. – P. 85.
14. Цит. по: *Joachim C. Fest*. *The Face of the Third Reich*. – Harmondsworth: Penguin Books, 1985. – P. 177.
15. *Kershaw*. *Popular Opinion and Political Dissent*. – Pp. 275, 371–372.
16. *Kershaw*. *Popular Opinion and Political Dissent*. – P. 370.
17. *Mommsen*. "Anti-Jewish Politics". – P. 128.
18. *Raul Hilberg*. *The Destruction of the European Jews*. – Vol. III. – New York: Holmes and Meier, 1987. – P. 999.
19. Cf.: *Helen Fein*. *Accounting for Genocide: National Response and Jewish Victimization during the Holocaust*. – New York: Free Press, 1979.
20. *Mommsen*. "Anti-Jewish Politics". – P. 136.
21. *Mommsen*. "Anti-Jewish Politics". – P. 140.
22. *Philip Caputo*. *A Rumour of War*. – New York: Holt, Rinehart & Wisdom, 1977. – P. 229.
23. *John Lachs*. *Responsibility and the Individual in Modern Society*. – Brighton: Harvester, 1981. – Pp. 12, 13, 57–58.
24. *Christopher R. Browning*. *Fateful Months: Essays on the Emergence of the Final Solution*. – New York: Holmes & Meier, 1985. – Pp. 66–67.
25. *Christopher R. Browning*. "The Government Experts", in *The Holocaust: Ideology, Bureaucracy, and Genocide*, ed. Harry Friedlander & Sybil Milton. – Millwood, NY: Kraus International Publications, 1980. – P. 190.
26. *Browning*. *Fateful Months*. – Pp. 64–65.
27. В своих беседах с Шарбонье Клод Леви-Строс определил нашу современную цивилизацию как антропоэмическую (в отличие от антропофагических «примитивных» культур); они «пожирают» своих противников, в то время как мы «выблевываем» их (отделяем, изолируем, изгоняем, исключаем из нашего мира человеческих обязательств).
28. Когда оправдательный миф западной цивилизации относит все естественные (то есть досоциальные) побуждения (а также «ответственность за другого» в условиях близости) к категории «животных инстинктов», а бюрократическая ментальность относит их к категории иррациональных сил, это совершенно не случайно напоминает о диффамации всех местных и общинных традиций во время культурной кампании, сопровождавшей укрепление сов-

## I ПРИМЕЧАНИЯ

ременного государства и поощрение его универсалистских и абсолютистских претензий. Cf.: *Zygmunt Bauman. Legislators and Interpreters.* – Oxford: Polity Press, 1987. – Ch. 4.

29. *Raul Hilberg. "The Significance of the Holocaust", in The Holocaust: Ideology, Bureaucracy, and Genocide.* – Pp. 98, 99.

## ПОСЛЕСЛОВИЕ

1. Цит. по: *Камю А. Бунтующий человек / Пер. Ю. М. Денисова и Ю. Н. Степанова.* – М.: Политиздат, 1990. – С. 120.
2. Цит. по: *Ницше Ф. К генеалогии морали / Пер. К. А. Свасьяна // Ницше Ф. Сочинения в 2-х томах. Том 2.* – М.: Мысль, 1990. – С. 427.
3. *Roberto Toscano. "The Face of the Other: Ethics and Intergroup Conflict," in The Handbook of Interethnic Coexistence, ed. Eugene Weiner.* – New York: Continuum Publishing, 1998. – Pp. 63–81.
4. *Joachim C. Fest. The Face of the Third Reich.* – Harmondsworth: Penguin Books, 1985. – P. 177.
5. См. главу "Essentialising the Other Demonisation and the Creation of Monstrosity", in *Jock Yang, The Exclusive Society: Social Exclusion, Crime and Difference in Late Modernity.* – London: Sage, 1999. Цитируется по рукописи.
6. *Zygmunt Bauman. Legislators and Interpreters.* – Cambridge: Polity Press, 1987.
7. См., например, главу "What Comes after Postmodernity? The Conflict of Two Modernities" in *Ulrich Beck, Democracy without Enemies.* – Cambridge: Polity Press, 1998. – P. 19–31.
8. *E. M. Cioran. A Short History of Decay, trans. Richard Howard.* – London: Quartet Books, 1990. – P. 71.
9. Как подчеркивала Джиллиан Роуз, возвышенный философ и специалист по иудаике, в своей последней публичной лекции, опубликованной в *Modernity, Culture and the Jew*, edited by Bryan Cheyette and Laura Marcus (Cambridge: Polity Press, 1998), «Талмуд – иронический, наиболее иронический священный комментарий в мировой литературе, поскольку ни один человек не может спасти мир». Роуз говорила о «беспощадности спасения одного или одной тысячи» и отмечала, что если книга Томаса Кеннели «Арка Шиндлера» «высвечивает безжалостный имморализм этого в этом контексте», фильм Спилберга «Список Шиндлера» «зависит от нее как приветственная речь».
10. *Elias Canneti. Crowds and Power, trans. Carol Stewart.* – Harmondsworth: Penguin, 1973. – Pp. 290–293, 544.
11. *Luc Boltanski. Distant Suffering.* – Cambridge University Press, 1999. – P. 192.

## I ПРИМЕЧАНИЯ

12. *Ariella Azoulay & Adi Ofir*. 100 Years of Zionism; 50 Years of Jewish State. – *Tikkun*, 2 (1998). – Pp. 68–71.
13. *Nechama Tec*. When Light Pierced the Darkness. – Oxford: Oxford University Press, 1986.
14. *Frank Chalk & Kurt Jonassohn*. The History and Sociology of Genocide: Analyses and Case Studies. – New Haven: Yale University Press. – P. 23.
15. *Norman Finkelstein & Ruth Bertina Birn*. A Nation on Trial: The Goldhagen Thesis and Historical Truth. – New York: Henry Holt, 1998.
16. Как цитирует *New York Times*, 10 Jan. 1998.
17. *Daniel Goldhagen*. Hitler's Willing Executioners. – New York: Knopf, 1996. – Pp. 416, 279, 269.
18. *Haaretz*, 15 May 1998. See *Dominick Vidal*. Nouvelles polémiques autour d'un livre sur la Shoah. – *Le Monde Diplomatique*, Aug. 1998. – P. 58.
19. *Cristopher R. Browning*. "Victims" Testimony. *Tikkun*, Jan.-Feb. 1999.
20. *Robert Johnson*. Deth Work: A Study of the Modern Execution Process. – Belmont: Wadsworth, 1998; *Nils Christie*. Crime Control as Industry. – London: Routledge, 1993.
21. *Stephen Trombly*. The Execution Protocol: Inside America's Capital Punishment Industry. – New York: Anchor, 1993.
22. *Götz Aly & Susanne Heim*. Vordenker der Vernichtung: Auschwitz und die deutsche Pläne für eine neue europäischer Ordnung. – Hamburg: Hoffman & Campe, 1991.
23. *Enzo Traverso*. L'Histoire déchiré. – Paris: Cerf, 1996.
24. *Giorgio Agamben*. Le Povoivre souveraine et la vie nue. – Paris: Seule, 1997.

# ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>От автора</b> .....	7
<b>Глава 1</b> .....	16
Социология после холокоста .....	16
Холокост как испытание современности .....	21
Смысл процесса цивилизации .....	28
Социальное производство морального равнодушия .....	35
Социальное производство моральной неразличимости .....	41
Моральные следствия цивилизационного процесса .....	45
<b>Глава 2</b> .....	49
Современность, расизм, истребление-I .....	49
Некоторые особенности отчуждения евреев .....	51
Несовместимость с евреями: от христианства до современности .....	55
По обе стороны баррикад .....	60
Призматическая группа .....	61
Современные измерения несовместимости .....	66
Ненациональная нация .....	72
Современность расизма .....	76
<b>Глава 3</b> .....	82
Современность, расизм, истребление-II .....	82
От гетерофобии к расизму .....	83
Расизм как форма социальной инженерии .....	87
От неприязни к истреблению .....	94
Глядя вперед .....	101

<b>Глава 4</b> .....	106
Уникальность и нормальность холокоста .....	106
Проблема .....	108
Исключительный геноцид .....	111
Своеобразие современного геноцида .....	118
Последствия иерархического и функционального разделения труда .....	123
Дегуманизация объектов бюрократических операций .....	127
Роль бюрократии в холокосте .....	130
Банкротство современных гарантов безопасности .....	132
Заключение .....	138
<b>Глава 5</b> .....	144
Склоняя жертвы к сотрудничеству .....	144
Игра «Спаси то, что еще возможно» .....	158
Индивидуальный рационализм на службе коллективного уничтожения .....	165
Рациональность самосохранения .....	173
Заключение .....	178
<b>Глава 6</b> .....	180
Этика послушания (читая Милгрэма) .....	180
Бесчеловечность как функция социальной дистанции .....	184
Соучастие по факту действия .....	187
Морально оправданная технология .....	189
Блуждающая ответственность .....	192
Плюрализм власти и власть совести .....	194
Социальная природа зла .....	197
<b>Глава 7</b> .....	201
По направлению к социологической теории морали .....	201
Общество как кузница морали .....	202
Вызов холокоста .....	208
Досоциетальные источники морали .....	212
Социальная близость и моральная ответственность .....	218
Социальное подавление моральной ответственности .....	223
Социальное производство дистанции .....	227
Итоговые замечания .....	234



<b>Вместо заключения</b> .....	237
Запоздалые мысли: рациональность и стыд .....	237
<b>Приложение</b> .....	244
Социальное манипулирование нравственностью: морализирующие акторы, адиофоризирующие действия <i>Текст речи автора на церемонии вручения     премии Амальфи по социологии     и социальной теории за книгу «Актуальность     холокоста» в 1989 году</i> .....	244
<b>Послесловие</b> .....	261
Мы должны помнить – но что? .....	261
Социальное продуцирование вины и невинности .....	263
Категориальное убийство .....	267
Геноцид и наведение порядка .....	269
Жить с памятью о холокосте .....	272
Самовоспроизводство жертвенности .....	278
Бытие в одномерном мире .....	283
Социальное продуцирование убийц .....	287
Современность против homo sacer .....	291
<b>Примечания</b> .....	294

Серия «Политучеба»

Зигмунт Бауман  
**АКТУАЛЬНОСТЬ ХОЛОКОСТА**

Директор *В. Глазычев*  
Главный редактор *Г. Павловский*  
Ответственный за выпуск *Т. Рапопорт*  
Научный редактор *А. Олейников*  
Технический редактор *А. Монахов*  
Обложка *С. Ильницкий*  
Корректор *В. Кинша*

Подписано в печать 31.05.2010.  
Формат 70×90 1/16. Гарнитура Charter  
Печать офсетная. Бумага офсетная. Усл. печ. л. 23,1.  
Тираж 1000 экз.

Издательство «Европа»  
Тел./ факс 625-69-96  
e-mail: [info@europublish.ru](mailto:info@europublish.ru)

Отпечатано с оригинал-макета  
в «Типографии «Момент»